

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№ 10 (669) • 2011

«ЮНОСТЬ» © С. Красавская. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: unost-contact@mail.ru
<http://unost.org>

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Валерий ЗОЛОТУХИН
Елена ИСАЕВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Валентина ЛАНЦЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,
заведующий отделом поэзии
Валерий ДУДАРЕВ
главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ
заведующая отделом критики
Анна КОЗЛОВА
ответственный секретарь
Ярослав ЛИТВИНЕНКО
заведующий отделом культуры
Александр МАХОВ
заместитель главного редактора,
заведующий отделом прозы
Игорь МИХАЙЛОВ
главный консультант
Эмилия ПРОСКУРНИНА
заведующая отделом
духовного наследия
Марина РЫБАКИНА
заведующая отделом
публицистики
Екатерина САЖНЕВА
консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ
директор по развитию
Светлана ШИПИЦИНА

ПОЭЗИЯ

Игорь КОХАНОВСКИЙ.....	3
Любовь НОВИКОВА.....	17
Дмитрий МИЗГУЛИН.....	41
Дмитрий КОРЖОВ.....	51

ПРОЗА

Валерия НАРБИКОВА	
СКВОЗЬ Роман. Начало.....	22
Ян МИЩЕНКО Рассказы.....	56
Андрей ИВАНОВ	
БОНАПАРТ В ЕГИПТЕ Исторический роман. Продолжение.....	69

ЧТО ВОЗМУТИЛО ВАС? / ТЕМА НОМЕРА

Сергей ШУЛАКОВ	
УЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО ЭТНОСА Адажио.....	10

РАЗНООБРАЗИЕ СЛОГА

Геннадий КРАСНИКОВ	
ИВАН КРЫЛОВ — АНЕКДОТ И ЧЕЛОВЕК ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ.....	44

20-Я КОМНАТА (ОТ ПЯТНАДЦАТИ И СТАРШЕ)

Лев АННИНСКИЙ	
СЕРАПИОНОВА ДЩЕРЬ Из наблюдений над творчеством молодых.....	48

БИБЛИОТЕКА ПЕРЕВОДА

Александр ЧЕТАТЬЯНУ Румыния — Канада.....	65
---	-----------

ШУМ ВРЕМЕНИ

Михаил ЛИВЕРТОВСКИЙ	
ПАРТИЯ ДЛЯ КЛАРНЕТА	
Воспоминания. История о «забытом Гоби-Хинганском походе».....	83

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Михаил ФИЛИППОВ	
«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...»	108

Юлия ГИАЦИНТОВА	
ПРАВДИВЫЕ НЕБЫЛИЦЫ	109

ПУТЕШЕСТВИЯ

Феликс ШВЕДОВСКИЙ	
ИНДИЙСКИЙ ДНЕВНИК Продолжение.....	110

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Мариам ГЛЕКЕЛА Латвия, г. РИГА.....	114
Сергей ПЕТРОВ г. Москва.....	115
Галина ПИЧУРА Нью-Джерси, США.....	122
Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга.....	123

В КОНЦЕ КОНЦОВ

// ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ //

Валерий ИЛЬИЧЕВ	
ПОХОЖДЕНИЯ «ПОДМИГИВАЮЩЕГО ПРИЗРАКА»	
Повесть. Продолжение.....	132

// ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ //

Владимир ЯКУШЕВ	
АЛЬТЕРНАТИВА	140

// «До востребования» //

Галка ГАЛКИНА	
В ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ВАЖЕН САМ ПРОЦЕСС	141

// VERIORA VERIS //

Шалун ГЕО, человек за оркестром	
ЧМОКИ-ЧМОКИ!!!	142

НА ВСТРЕЧУ ДНЯ

ГАЗФЛОТ + «ЮНОСТЬ» = ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РОМАН!	
ДИВЕРТИСМЕНТ	143

Заведующая редакцией

Лидия ЗЯБИКИНА

Заведующий отделом информации

Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент

по Белгородской области

Нила ЛЫЧАК

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Наталья СЫСОЕВА

Секретарь-референт

Анастасия АХРОМЕЕВА

Дежурные по редакции

Аврора КОТОВА

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Людмила ГУДКОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: **+7 (499) 251-31-22,**

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: **+7 (499) 250-40-60**

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Авторы несут ответственность

за достоверность представленных

материалов. Мнения автора

и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка

на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в типографии

ФГУП «ПИК ВИНТИ»

140010, Люберцы, Московская обл.,

Октябрьский пр., 403

Тел. **+7 (495) 974-69-76**

Тираж 6 500 экз.

Формат: 60x84/8

Заказ №



Игорь КОХАНОВСКИЙ



Игорь Кохановский родился в 1937 году в Магадане, где его отец работал в компании «Дальстрой». Через год семья возвратилась в Москву.

Окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Первая публикация стихов состоялась летом 1964 года в газете «Московский комсомолец», и в это же время началась его работа в этой газете в качестве внештатного корреспондента. Через год он уехал в свой родной город, чтобы работать в газете «Магаданский комсомолец».

В 1968 году в Магаданском книжном издательстве вышел первый сборник стихов И. Кохановского «Звуковой барьер». Весной 71-го его приняли в Союз писателей СССР, тогда же он поступил на Высшие литературные курсы. В это же время начал активно работать в песенном жанре, сотрудничая с такими известными композиторами, как Оскар Фельцман, Давид Тухманов, Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин и другие. Вышли еще два сборника его стихов — «Штрихи» в издательстве «Молодая гвардия» (1972) и «Подстриженные кроны» в «Советском писателе» (1986).

В 1988 году И. Кохановский начал внештатно работать на радиостанции «Свобода», базирующейся в то время в Мюнхене. В 1993 году в издательстве «Физкультура и спорт» вышел его сборник «Письма В. Высоцкого и другие репортажи на радио “Свобода”».

ОТ ПРИЛИВА ДО ОТЛИВА

У каждого поэта, наверное, бывали периоды, которые можно сравнить с морскими приливами и отливами. Последние — это когда не пишется, а это, в свою очередь, всегда связано с временами, когда душа нема, молчит и ничто ее не тревожит. И это не какой-то духовный кризис, нет, это просто некое состояние души, зачастую необъяснимое. Но вот настает время прилива, мгновение — «и стихи свободно потекут»... Вот почему для меня поэзия — это пробуждение, это отклик на красоту, на боль, на тревогу, на все то, что принимает в себя душа,

готовая откликнуться образом, рифмой, мелодией строк.

Да, конечно, «душа обязана трудиться». Но «трудиться» — это не всегда то состояние, когда рождаются стихи. Это, как говорят математики, необходимо, но недостаточно. А что «достаточно» — поди знай... Поверяй «алгеброй гармонию» хоть сотни раз, а чуда поэзии не будет... Когда же «чем случайней, тем вернее стихи слагаются навзрыд», происходит нечто, что позже этот поэт назовет «чудотворством».

Игорь Кохановский

**Из цикла «Стихи к Дженни»**

Я люблю из горничных делать королев.

Александр Вертинский

* * *

Рыжеволосая Дженни, ирландка,
молча связавшая Дублин с Москвой,
немногословная, как иностранка,
гордого нрава, красы записной,
юная леди с балетной осанкой
сходу решилась на близость со мной.

Русский язык ваш весьма ограничен,
но мы друг друга поняли враз,
не преступая правил приличья,
лишь уступая вызову глаз.

Вы из другого туманного мира,
наш диалог — это мой монолог,
но ваши реплики, словно рапира,
колют так точно, что мне невдомек.

Все, что случилось меж нами в отеле,
так походило на вздорный фантом...
Было ли это на самом деле,
я сам себе не ответил потом.

Может быть, вас я лишь выдумал, Дженни,
но этим вымыслом ныне живу
и неосмысленных сердца движений,
к вам устремленных, навряд ли пойму.

Не представляю, чем все это кончится,
видно, плачу за былые грехи...
Хочется видеть вас, слышать вас хочется,
вот и текут в ваш адрес стихи.

* * *

Наши встречи редки, как праздники
среди обыденности тупой.
Мы — нечаянные отказники,
так наказанные судьбой.

Нам отказано видеться чаще —
обстоятельства выше нас...
Потому и тоской щемящей
не один разукрашен час.

Как из правила исключение,
наши встречи на краешке дня...
Жаль, для вас этих встреч значенье
не такое, как для меня.

Да, часы свиданий — как вычеты
из обыденности тупой...
Пусть те вычеты увеличены
до блаженства одним лишь мной.

* * *

Видел сон, где я — садовник,
весь в заботах по весне,
и апрель, тревог виновник,
деревце вручает мне.

Это деревце — березка
с вешней кроной без листвы,
из ветвей портрет неброский,
на портрете этом — вы...

Этот облик ваш заветный,
этот гибкий, тонкий стан
мне нарисовали ветви,
предрекая наш роман.

Вы как деревце-подросток,
так милы и так стройны,
точно юная березка
в ожидании весны.

Не видны на ветках почки,
в мерзлой почве корни спят,
но уже поодиночке
корни почву шевелят.

Словно их торопят сроки
да и неба синева,
чтобы забродили соки,
чтобы вспыхнула листва,

чтобы ветви, словно руки,
одичавшие во сне
и озябшие в разлуке,
потянулись бы ко мне,



чтоб березка, молча скинув
лик зимы, как сухостой,
и к садовнику привыкнув,
новой вспыхнула листвою.

* * *

Вы были по-детски скупы
на трепетные слова.
Вы молча дарили губы,
но так, что дышал едва.

Вот почему, взбудоража,
восторг взлетел до небес,
когда вы ночью однажды
прислали мне эсэмэс

о том, что событий не густо,
настрой — где-то возле нуля,
но вам этой ночью не грустно,
потому что есть где-то я...

Слова эти, словно допинг,
бросали то в жар, то в транс,
и я среди немецких штрасс
бродил, твердя «was ist das»,
и весь мой безумный шопинг
куражился ради вас.

Соря деньгой беззаботно,
хотел, чтобы были вы
девочкой самой модной
в кругах театральной Москвы.

Но что-то за время разлуки
стряслось, словно пыл остыл,
и стали руками руки
вместо вчерашних крыл.

Русским владея не очень,
ту фразу — мой лучик во тьме —
бросили вы между прочим,
не с тем смыслом, что дорог мне.

Я же счел ваше посланье
в невидимом визави
робким началом признанья
рождающейся любви.

Доверчивость близорука,
словно душевный недуг...
Вы просто вспомнили друга,
свой коротая досуг.

Я клял себя, бестолкового,
за глупость мечты своей...
Вы вспомнили просто знакомого,
каким был я несколько дней.

* * *

Рыжеволосая девочка Дженни,
милого вымысла воплощенье,
что-то забыла дорогу ко мне
и не является больше во сне.

Где вы, ирландская фата-моргана,
не обрывайте шального романа,
вновь появитесь, пусть не наяву,
дайте закончить романа главу...

* * *

А близость в эту ночь была
не так отвязна,
и вас смущали зеркала,
где обнаженные тела
смотрелись классно.

Как непогасшую свечу,
гася свой пламень,
прижавшись к моему плечу,
вы говорили: «Не хочу
расстаться с вами».

Но интонация, как сном,
дышала фальшью,
сулившей некий перелом,
что и аукнулось во всем,
что было дальше.

А дальше — темная стена
непониманья,
как будто нас вел сатана
в тупик, где лопнула струна,
прервав звучанье.



Ах, мне бы вас переспросить:
«Так это правда —
свиданий спутанная нить
продлится завтра?»

Но нет, я не переспросил,
боясь ответа,
который хоть и не грозил
кончиной света,

но я был явно не готов,
боясь, как лавы,
как раскаленной лавы слов
пустой неправды.

* * *

Впервые женщина, делившая со мной
улеты, вдохновляющие близость,
осталась и холодной, и чужой,
отстаивая вздорность и капризность.

Впервые муть бессонниц, как юла,
всю ночь кружит по замкнутому кругу,
где память, закусивши удила,
не хочет знать забвения науку.

И боль досады, словно в горле кость,
бесчинствует, перехватив дыханье,
и память снова, как незванный гость,
почти насильно требует вниманья

и вновь воссоздает передо мной
извивы упоительного тела,
бросавшего меня шальной волной
в блаженством покоренные пределы,

лицо мадонны, грустной от похвал,
восточных скул славянскую пригожесть,
спокойный взгляд, таящий гнева шквал,
и губ капризных чувственный овал,
и облик весь, внушавший непокорность,

терзавший сумасшествием тревог,
что заполняли дни мои и ночи...
Таких тревог не знал я, видит Бог,
и никогда так не был одинок,
хоть одиночество — мой твердый почерк.

Вот этих дней печальные штрихи,
где пыткой памяти измучен и изранен,
но за случившиеся из-за вас стихи,
да и за все я вам лишь благодарен.

* * *

Сука-память хваткой бульдожьей
держит наших встреч канитель,
где гостиниц казенное ложе
было космосом наших тел.

Лекарь-время тянет резину,
не спешит забвению сдать
вашей нежности неотразимой
поднебесную благодать.

Сука-память и лекарь-время
в схватке тягостной — кто кого:
сука сгинет, как ночи темень,
иль добьется бульдог своего,

загрызет аж до полусмерти
душу, сросшуюся с душой
той, что с первых встреч я заметил
и повел в никуда за собой.

В никуда, ибо некуда деться —
я отчаянно старше вас...
Да, связался, как черт с младенцем,
но как сказочна эта связь.

Задержаться бы хоть на годик
нам в полете рука в руке,
но мы вдруг, срываясь, уходим
в безвыходное пике...

Что творит, что творит сука-память...
Лекарь-время сдает в схватке с ней,
так умеющей душу ранить,
чтобы было душе больней.

Ах, как хочется отстраниться
и увидеть, как в свой черед
лекарь-время романа страницу
недописанного
перевернет...



Сергей ШУЛАКОВ



Сергей Шулаков родился в 1970 году.

Журналист, критик. В 2003–2005 годах — главный редактор журнала и интернет-сайта «Сельская молодежь» издательства «Подвиг». В 2005–2006 годах — руководитель пресс-службы Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), заместитель главного редактора журнала «Вестник МАГ». С 2009 года — литературный редактор исторического альманаха «Кентавр» издательства «Подвиг».

Лауреат премии журнала «Юность» 2009 года в номинации «Литературная критика».

От редакции

Можно было бы поместить представленный ниже материал в разделе критики или предварить им очередной книжный обзор, если бы масштабные размышления Сергея Шулакова не вставали в один ряд с признаками печального угасания великой русской литературы. Что за признаки? Книжные магазины страны забиты «глянцем» и «чтивом»; неопознанные субъекты выпускают том, в котором пытаются

убого рассуждать о русской классике, хотя пока не забыты труды Бухштаба, Марченко, Аннинского, Золотусского, Вайля и Гениса (список имен еще можно длить); всякий журналист вкладывает свои мысли в уста Пастернака и Скрябина; бывший представитель советского НИИ, дорвавшийся до хлебных государственных постов в 90-е, сегодня разъезжает по стране и дурит головы молодым, якобы организуя лите-

ратурный процесс; главная молодежная литпремия пропагандирует мат и богохульство... Продолжить?

Да где же те писатели, к которым можно пойти с вековечным вопросом «Как жить?»? Пожалуй, к старенькому Валентину Распутину только и можно...

Так вот: в такой ситуации труд литературного критика новой волны Сергея Ивановича Шулакова приобретает особое звучание.

УЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО ЭТНОСА

АДАЖИО

Чем современная наша литература может взять, так это широтой охвата. В стране имеются большие группы людей, ощущающих свои очень разные инстинкты, коллективные мифы, надежды и намерения. Произведения, созданные их представителями, об этих, назовем их национальными, группах или для них, могут быть художественными достижениями или идеологическими перформансами, но всегда несут групповые признаки.

Ирину Муравьеву можно назвать представительницей русского зарубежья, о нем и новый роман писательницы «День ангела». Году в 60-м (XX века) де-

вятнадцатилетний студент Сорбонны Митя Ушаков шокировал семейство, сделав предложение Маше Дюфи (Дежневой), домашние звали ее Манон, которую первый раз встретил в русской церкви; ей было четырнадцать, а Мите пятнадцать. Их эмигрантские семьи были различны: Митина держалась вывезенных дедом и бабушкой из России быта и традиций уважаемых классов, а отец Манон Габриэль (Григорий) — «ты только подумай!..» — «опубликовал этот жуткий дневник, где во всех подробностях описал, как он любит *faire une partie des jambes en l'air* (проводить время в постели с кем-то. — франц.), не

только сообщил, какие тяжелые лиловые груди были у его любовницы-негрятки — тьфу, господи! — но он еще... какая прелесть эти маленькие худенькие девочки, а ну же того — худенькие мальчики!»¹ [24]. Шестидесятые годы... Папаша сбежал с любовником, мать — в Италию, и прекрасная, уже замужняя Манон часами лежала в кровати с сигаретой «и молча смотрела в потолок равнодушными глазами, на дне которых, подобно водорослям в холодной воде, плавали чужие замерзшие мысли» [34]. А потом шагнула из окошка, прижав к груди икону, которая вместе с прекрасной головкой Манон раскололась о парижскую мостовую. Митя, исследователь в области философской антропологии — к нашим дням под пятьдесят, — получив в наследство дом в Вермонте, вышел однажды на речку, а в ней в мареве летнего вечера — Надежда... Два старших поколения семьи присутствуют в дневниках и письмах, они, как и сам Митя, люди из прошлого в настоящем, и судьбы их ничуть не менее обыденно-трагичны.

Трудно поместить Ирину Муравьеву в какой-либо контекст. Как ни еретически это прозвучит, таковым может стать, пожалуй, Набоков. Та же манера языка. Тот же четкий до механистичности психологизм деталей: «Окна в доме были открыты, комнаты переполнялись пестрой мошкаррой и маленькими белыми мотыльками, напомиравшими ему море на юге Франции, куда его иногда увозили летом и где в легком тумане на горизонте дрожали от слишком сильного синего моря и слишком прозрачного воздуха белые паруса, которые казались похожими на мотыльков... и эта взаимная похожесть лесных мотыльков и лодок на морском горизонте с их белыми парусами вдруг обрадовала его, как будто на глазах совершилось двойное подтверждение подлинности и тех и других» [146]. А вот «Другие берега», момент, когда Набоков вспоминает иллюстрацию из детского своего издания «Безглавого всадника» капитана Майн Рида: «...два-три койота, кактусы, колючий мескит — и вот, вместо той картины, вижу в окно ранчо всамделишную юго-западную пустыню с кактусами, слышу утренний, нежно-жалобный крик венценосной Гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград»². Та же внетекстовая тоска по невозвратно ушедшему прежнему русскому ощущению жизни. А описания природы — один в один. Есть у Муравьевой и филологический юмор: русские люди в Вермонте ошеломляют Митю, говоря ритмизованной прозой, даже в диалогах. «С кадушек? — С катушек! — взвизнула Надежда. — Кадушки — с капустой! А это — катушки! И я говорю: просто съехал с катушек! Хотел на чужбине

стать чернорабочим! А сам — режиссер! Постановщик балетов! Поставил у нас здесь четыре балета! И лучше намного, чем Эйфман, намного» [162]. И даже в трагических обстоятельствах: «Студент наш! Матюша! Ну, Мэтью, ну, Смит же! Попал под машину. Ах, господи, боже!» [241].

Ирина Муравьева литературовед. Окончила МГУ, преподавала русскую литературу в Гарварде, получила известность благодаря статьям о Пушкине. На страницах «Дня ангела» мелькают и Солженицын, и «Кроткая» Достоевского. Не только, впрочем, классики, но и иные, встреченные, видно, лично: «Поэтесса по имени Мориц, поэты Коржавин и Найман, художник Комар...» [62]. «Вы знаете Вайля и Гениса?.. Прекрасную книгу о пище они написали...» [267]. «Русская кухня в изгнании» действительно хороша, а главное, по ней можно как следует готовить. Однако интересно, входило ли создание подобной атмосферы — немного декадентного модерна, немного возможности почувствовать себя дома, в традиции, — в первоначальную задачу Ирины Муравьевой? Содержание «Дня ангела» послушно, даже ласково ложится в ее стиль, атмосферу стерильной чистоты, ухоженности языка, что в наше время великая редкость, — не стало ли это самостоятельной целью создания сравнительно нового направления, некоего возвратного вектора в русской прозе? А с содержанием-то все очень серьезно: разрешающее семейные несчастья рождение Надеждой не Митино ребенка — и цитата из Евангелия от Марка: «...и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (10:6–8) [315].

Другая книга, «Холод черемухи», для Ирины Муравьевой необычно жесткая. Об этом предупреждает первый же абзац: «Ни одна живая душа не подозревала о том, что ее ждет. Да и как заподозрить, что с каждой сдерут ее тонкую кожу, подвесьят внутри пустоты, и, окровавленная, обгоревшая, разъятая на куски, душа будет мерзнуть, чернеть и гноиться?»³ [5]. Дерзкая Дина, вышедшая замуж за актера, возвращается из Берлина в голодную Москву первых лет советской власти. Необычная жара сменяется лютыми зимними морозами, грабежи и расстрелы — мандатами на отлов на улицах «чистых» барышень для матросов. Семья большая — сестра с маленьким сыном, старуха-нянька, немка-гувернантка, отец, давно не живущий с матерью, а еще знакомые... Это, конечно, женская проза, но с четкой человеческой позицией, соотношенной с конкретным временем, что для жанра, в общем, нетипично.

Дина встречает академика-эзотерика Барченко — при автомобиле с шофером, с пайками, и вспыхивает

¹ Муравьева И. День ангела. — М.: Эксмо, 2010. — 352 с.

² В. Набоков. Собр. соч. в 4 т., т. 4. — М.: Правда, 1990.

³ Муравьева И. Холод черемухи. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с.



меж ними странное чувство. «У вас опять истерика, Дина... — Пусть у меня истерика, пусть! Вы же говорите, что истерика — это самое высокое состояние! Вон вы шаманов любите, потому что они все время в истерике! Вы опиум курите! Вы и на Тибет собрались, чтоб только проверить, как там у них с истерикой, на что они способны, китайцы эти! — Они не китайцы...» [231]. Стильный, классичный, не без юмора текст. Пайки помогают поднять заболевшего ребенка, его связи — спасти вернувшегося с фронта юношу, арестованного чекистами. Подробности расстрелов даны точно, но без смакования, даже с какой-то иронией страдания, жалостью к погубившим свои бессмертные души. Чекист Петр Иванович Магго, взяв подручного своего Головкина, «совсем молодого и с рожей такую невинной и нежной, что только цветы собирать по полянам... вытащили... двадцать пять человек. У Петра Ивановича от сердца отлегло. Почувствовал: вот еще час — и начнем. Рядком — прямо к стеночке: р-р-раз! И готово. Потом снова: р-р-раз! И готово. Пока всех положишь, с души-то черви сползут, развиднеется... Выведены были во двор и притиснуты к ровным и аккуратным штабелям дров... Мозги залепляли дрова... чем-то жемчужным и белым... В тот день (ну, к вечеру, правда!) Петр Иванович перестал отличать своих от чужих. Встретил в коридоре... соратника верного Берзина и вдруг выхватил револьвер, как приставит его к груди пламенного революционера: “А ну, гад, к стенке!” Хорошо, успели наброситься и отнять боевое оружие. Берзин так и остался стоять как приклеенный, пока вяло выкрикивающего чепуху Магго Петра Ивановича вводили к доктору» [194, 197].

Как филолог и историк литературы Ирина Муравьева дает любопытные портреты, составляющие отдельную ценность ее книги. Вот писатель-народовец Степняк-Кравчинский, на балу зарезавший шефа жандармов Мезенцова и уехавший в Швейцарию. «Погиб, как Каренина, под паровозом, однако же был увековечен: многолетняя привязанность судьбы его, Этель Войнич, которую неутомимый Степняк прямо в присутствии жены своей Фанни и Фанниной кроткой сестры Маргариты обучал русскому языку... посвятила ему роман. Запутанный, правда, немало, но мощный. Название: “Овод”» [23]. Пьяный Сергунька Есенин — коньяк, икра, спит на коленях у матроса, а проснется — и читает свои великолепные стихи; еще один друг Блюмкина философ и знаток европейского средневековья Яков Карсавин, брат Тамары Карсавиной... По качеству фактов и манере подачи — истинный Вересаев. Но есть портреты и более определенные. Ленин с Зиновьевым в шалаше своем не увидели будущего, «того, как один в параличной каталке, смотря на луну, будет выть диким

волком, а также того, как другого, в рубаше, с раздробленным черепом, ночью зароят. Да разве такое увидишь?» [61]. То же, но более подробно, — о Дзержинском, раскрыто мрачное безумие этого деятеля. Чудовищные стихи Лациса: «Нет большей радости, нет лучших музык, / Как хруст ломаемых жизней и костей...» [190].

Барченко-то свою судьбу видит хорошо. Перед отбытием в экспедицию вручает Дине документы на поездку в Берлин на все семейство, но няня слегла, и они остаются, рассуждая: «На их стороне знаешь кто? Но если совсем не противиться, Саша, то значит, что все — слуги дьявола. А так хоть: попытка. Какой у нас выбор-то, Господи?» [106]. Финал открыт. Ирину Муравьеву можно упрекнуть в использовании, мягко говоря, не новых, мифологичных сюжетных ходов — больная няня, голодный ребенок, внезапная любовь, в выговаривании собственных обид и печалей, в использовании «без предупреждения» ритмизованной прозы в самых, казалось бы, неподходящих сценах, да и Александр Барченко не такая уж идеальная фигура. Но ритм парадоксальным образом не мешает, а все прочее искупается надежностью конструкции и достоинствами текста. В котором можно найти ответ на серьезные вопросы. «Что делать во времена, когда пятнадцать миллионов человек сперва были брошены убивать и быть убитыми, а нынче те, кого не убили... брели по земле, и эта земля перестала кормить, и дом стал не домом, жена не женою, а руку подносишь к ноздрям, и рука не телом твоим пахнет, а кровью?.. Попробовать спрятаться от бесноватых, которые выползли из шалашей, вернулись из сливочных, сытых швейцарий и — чу! — сразу к вилам своим, к топорам, поскольку то воли им нужно, то крови...» [65]. Возникновение современного массового общества, которое предчувствовали в начале XX века, в России стало кошмарной явью. Современное общество при эффективных технологиях, в том числе и медийных, есть саморазвивающееся целое, не нуждающееся в конкретном индивидууме. Вот это реагирование на угрозу исчезновения индивидуальности — а в России ее уничтожали одномоментно и жестоко — попытка ее сохранения, и есть мотивы, которые движут героями «Холода черемухи». Спрятаться от бесноватых получилось не у всех, и от этого наше общество не отмоется никогда. И все же Ирина Муравьева приводит цитату из Псалтыри: «Ибо перед очами твоими тысяча лет, как день вчерашний...» [24].

В сборник, озаглавленный по названию самого известного текста Дениса Осокина «Овсянки», вошло, кажется, все, что им написано. Автор суеверно сторонится классической подачи текста — абзацев, прописных букв, знаков препинания. Это лишь

провокационная наивность, а в текстах, имеющих этнографические истоки, — стилевой элемент фольклорного камлания. От точек отказаться не хватило мастерства — нелегко так построить предложение, чтобы оно читалось законченным. В русском языке — почти невозможно. «я живу в нее»¹ [574] — в кого? Больно споткнувшись, соображаешь, что автор имеет в виду городок Нея. Денис Осокин родился в 1977 году в Казани, филолог — окончил Казанский университет, защитил диссертацию на кафедре фольклора университета Сыктывкарского, работал на телевидении. «Фигуры народа коми», сверстаные столбиком — «*одя / ромпоштанъяс ворын / мамб мунис турунла / сана лкто...*» [293], — читаются как стихи, таковыми и являются. Только каждая строчка разворачивается далее в историю. Оде тринадцать лет, она живет в доме одна после трехлетнего пребывания в лесу; ромпоштанъяс ворын — лесные зеркала, в которые нельзя смотреть, лес заберет глаза и даст глаза мертвого зайца. Мамо мунис турунла — мама пошла за травой. Сана лкто — россоха идет...

Вот «Анемоны»: «*анемоны — это поцелуи в спину. ну или в ключицу. или в плечо — только долго... анемоны — поцелуи в спину иногда через белый свитер. иногда через черное пальто. а так бывает — обнимешься в толстых куртках и ну целоваться, иногда попадая в лицо. тут уж определено имеешь дело с анемонами. и руки в перчатках или в варежках. встретились — нечего сказать*» [13]. Проскочившая здесь запятая, видимо, опечатка из тех, о каких говорится на осьмушке-вкладыше: «Мы готовили эту книгу к Лондонской книжной ярмарке 2011 года... верстали в очень сжатые сроки... она содержит теперь определенные технические погрешности... решили не уничтожать тираж...» Как бы то ни было, осокинские анемоны действительно нежны, точны, эстетичны. За эти стороны одаренности прощается многое, но не все.

«Овсянки», исчезающие люди меря. «народ странноват тут — да. лица невыразительные как сырые оладьи. волосы и глаза непонятного цвета. глубокие тихие души. половая распушенность» [575]. Обычай велит покойнице сжечь. Муж Тани и герой-рассказчик Аист Всеволодович привязывают к интимным волосам мертвой разноцветные нити, едут в глухое место на берегу реки. По мерянскому обычаю мертвую надо сжечь, и даже гаишник из местных удовлетворится этим объяснением, когда ему рассказывают о трупе на заднем сиденье. «мы не материмся по-русски. это непро-

стительно. но кто-то привез давно это слово — манянь — от вологодских коми... манянь — это слово-женщина. это под животом» [593]. Опять же по обычаю в дороге о покойнице рассказывают такое, что хоть лексика вполне печатна, а не процитируешь. Сжегши Таню, герои приглашают в гостиницу областного города ночных дев — и снова описания интимно-физиологического свойства. Инфантильная самоотверженность — ну и пусть глупцы считают меня порнографом! — мешается здесь с отчаянным высокомерием избранности — только я не боюсь нарушать условности! Проблема лишь в том, что условности, границы в прозе — одна из основополагающих вещей, они определяют принадлежность, смысл и стиль. Блестящий коллега автора этих строк Данила Давыдов говорит, что в текстах Осокина «сплавляются эротические, некротические и мистические мотивы»². Автор этих строк выразится проще. «юрьевец мы прошли верхом. он желал нам счастливого пути. мы не видели, но прекрасно знали, что внизу за спусками — вереницы уютных домов, магазины с ивановскими и костромскими настойками, с продавщицами, похожими на таню. против юрьевица — устье нашей унжи. юрьевицкая колокольня на площади как белый маяк» [590]. Да, эта проза и поэтична, но уже в следующем абзаце — отбитом двойным интерлиньяжем куске текста — вы встретите некрофилческий пассаж, например, запись в мобильном телефоне звуков развязного полового акта, которую вдовец дает послушать герою, труп так и лежит на заднем сиденье. И перечисление покупок с указанием названий сетевых гипермаркетов — как апофеоз мертвечины.

Дофантазированная мифология малого народа приводит в восторг лишь западных «интеллектуалов», посмотревших одноименный — в европейском прокате *Silent Souls* — фильм Алексея Федорченко (Денис Осокин — автор сценария, почти дословно повторяющего текст книги) и осыпавших его лавиной артхаусных наград. Шон Данильсен, обозреватель *Indiwire*: «Я смотрел... в состоянии восторженного оцепенения. Через два дня, не в силах выбросить его из головы, я пошел посмотреть его еще раз... Герои фильма, строго говоря, — не русские, но меряне, — странный народ, ведущий свое происхождение скорее от финно-угорских племен, чем от славян». Однако нам здесь виднее и нет смысла лукавить. Проницательный Евгений Васильев заметил, что в фильме присутствует «комедийная основа, тонкая стилизация в духе предыдущей сенсационной работы Федорченко “Первые на луне”... Мокью-

¹ Осокин Д. Овсянки. Рассказы, повесть. — М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2011.

² «Книжное обозрение» № 44 (5 октября 2003 г.).



ментари (псевдодокументальный фильм. — С. Ш.) — не самый популярный жанр в России. Зато он имеет славную традицию, уходящую своими корнями в параллельное кино. Пудрить мозги зрителю с выражением глубокомыслия на лице в разные годы продолжали братья Алейниковы, Дебижев... Громкий успех с подобным блефом, но уже... в телевизоре имели в свое время Курехин, Шолохов, Кнышев. Прелесть же «Овсянок» заключается в том, что мистификация здесь изысканна и малозаметна».

Режиссер оторвался, ну и славно, хотя от мыслей о том, в надежде на какие западные гранты, выплачиваемые с какими целями, рассчитано это литературное и кинотворчество, никуда не денешься. Проза же писателя Осокина словно выстужена, протерта, как наждаком, собственной инерцией, попытками уйти от внешней благопристойности. А в прорехах расплзающейся ветоши смыслов скалится убожество. В интервью одной из татарских газет Денис Осокин говорил: «Я занимаюсь глубоко личным исследованием мира и никого не пытаюсь ни в чем убедить. Постоянно делиться своими художественными открытиями хочется — но не спорить». Позиция по меньшей мере сомнительная: пишу *«танюша закусывала угадайте чем? прямо мной. рюмку выпьет, — я ей сразу же [censored]. а потом уже с ложки салат дам какой-нибудь»* (завернутая в одеяло покойница все еще рядом), считаю это художественным открытием в исследовании мира и спорить не хочу. Это уже не экспериментальная проза, это распушенность и почти дегенерация, доходящая до прямого уродства и ужаса. Печальный жребий — безразличие к собственной девиантности.

Эффекта пронзительности можно добиться иными способами. Книгу Анатолия Крыма, секретаря Союза писателей Украины, составили семь полнообъемных рассказов, герои которых — по национальности евреи. Книга издана на русском языке, ее (и автора) в Украинском культурном центре в Москве представил Виктор Ерофеев. Герои живут в СССР во все характерные эпохи существования Союза — до и во время войны, при Хрущеве, Брежневе и перестройке. Их жизнь — сущий ад. Их дом — страшной тюрьмы. Однако автору удается рассказать об этом с тем особенным трагическим юмором (с каким человек, чтобы сохранить рассудок, относится к фатальным явлениям), по которому и узнается попытка сближения времен, нивелирования их до безнадежного «так было, есть и будет».

В филармонии — годы примерно 60-е прошлого, XX века, место действия — западная Украина («...а с гостиницами у нас, слава богу, всегда был полный по-

рядок благодаря австро-венгерской монархии»¹ [6]) — Борис Абрамович служит заместителем директора. Городские и областные, партийные и советские начальники вынуждены с ним считаться — звезды мировой величины здороваются за руку и в концертах не отказывают. Чтобы устроить достойные поминки старому другу Моне, конферанс которого неизменно приводил в восторг весь город, замдиректора вместе с бухгалтершей воспользовались, как водится, кое-какой неучтенной наличностью. Бухгалтер Берта Соломоновна положила в гроб Моне письмо для покойного мужа Яши. А когда стало известно о ревизии, вспомнила, что вместо письма Моне унес с собой в могилу черную бухгалтерию. Ночью некий юноша видит на кладбище привидение. *«Моне, — говорит привидение, — слушай внимательно. Как только увидишь Янкеля, немедленно отдай ему блокнот, что у тебя под подушкой. Забудь про свои штучки и сразу же беги искать Яшу»* [27]. Янкель часто приходит к жене в снах, и та надеется выведать у него содержание ошибочно попавшей к нему тетрадки. Парня едва отпоили спиртом, *«пахнувшим формалином»* [26]. А Яша посетил вдову в ближайшем сновидении и добросовестно зачитал ей все бухгалтерские записи.

Когда читаешь начало рассказа «Письмо богу», охватывает давно забытое ощущение озноба от самых мощных по воздействию образцов советской литературы — Фадеева, допустим. Описывая акцию гитлеровцев в украинском местечке, Анатолий Крым не боится эмоционального пережима. Случайно оставшийся в живых отец семейства — украинский крестьянин буквально вбил его в навоз в хлеву, заставив молчать, тем и спас ему жизнь — теперь, уже после войны, стал вроде бы городским сумасшедшим, торгует на базаре иголками для примусов. Но приближается праздник, и *«полоумный Лемарес»* [169] после тяжких раздумий пишет письмо: что-де не мог бы *«дорогой товарищ Бог... выслать... 50 рублей, чтобы... отпраздновать Пейсах, как все люди»* [183]. Когда с почты конверт принесли начальнику милиции, тот вызвал Лемареса к себе, достал из кармана четвертной билет и внушил, чтобы бога он больше не беспокоил. Следующее письмо гласило: *«Конечно, если бы я в тот раз получил все, что просил, тогда мне хватило бы на два Пейсаха... Прошу повторно исполнить мою просьбу. Только, пожалуйста, не передавай деньги через капитана Побойню, потому что он хотя и хороший человек и герой войны, но половину всегда оставляет себе»* [196].

«Рассказы...» Анатолия Крыма — удивительный по нашим временам образчик прозы: у него непри-

¹ Крым А. Берл, Берта и другие. Рассказы о еврейском счастье. — М.: Зебра Е: АСТ, 2010. — 320 с.

вычные грани. Одна лежит в плоскости, совмещающей «немодный» стиль и настоящий, не телевизионный юмор, другая — в плоскости метафизики, а третья — современного украинского либерализма.

Как и обещает название, новая книга Германа Садулаева «Шалинский рейд» снова, как и «Я чеченец», впрямую посвящена событиям недавних конфликтов в Чечне. Формально повествование привязано к захвату боевиками селения Шали 9 января 2000 года, по существу целью автора является объяснение кровопролитных событий в Чечне как таковое, посему в книге много публицистики: даты, сходное с политической журналистикой хроникальное изложение событий.

Америк не открыто: все эти жертвы, оказывается, — от беспросветной, крошечной бедности. *«Мы были и остались нищими. Это было нищее государство, Ичкерия, вот в чем правда, брат»*¹. Рассказ ведется от имени человека, волею судеб ставшего на сторону вооруженных сторонников независимости, точнее, взаимоотношений с Россией, напоминающих свободу от уз при наличии брака. В судьбе героя есть много автобиографичного. *«Тамерлан Магомадов — единственный из Шали, кто поступил на юридический факультет самого лучшего, Ленинградского университета. По окончании университета ему, то есть мне, были гарантированы место в следствии или прокуратуре и быстрый карьерный рост, опережающий продвижение выпускников менее значимого, “регионального”, института в Ростове-на-Дону»*. Это «ему, то есть мне» маскирует внутреннее противоречие — когда необходимы достоверность и психологизм, автор сливается со своим героем, а когда становится опасно — дистанцируется от него. Опасно становится часто, например в случае с объяснением захвата Басаевым роддома в Буденновске. *«Во время боевых действий... [российские] бойцы вошли в селение Шатой и оказались в окружении боевиков. Тогда офицер передал противнику, что если чеченцы будут стрелять, они вырежут всех женщин и детей... Подразделение федералов вышло из окружения почти без потерь, офицер стал прославленным героем»*. Ясно, что первыми начали российские военные. И скупая приписка: *«Потом был Буденновск. Счет сравнялся — 1:1»*. Но от публицистики мы наблюдаем быстрые скачки к художественной прозе: *«Доктор, мне тяжело об этом вспоминать! Если бы вы знали, как тяжело... Мне говорят, что у меня конфабуляции, что я грежу наяву»*.

Отец-бедняк радовался: *«Шер де ма валла, Тамерлан! — говорил он, хлопая меня по плечу. — Пусть*

*все знают, что Магомадовы не погибли, что с Магомадовыми нужно считаться!» Отец был партийным и хозяйственным руководителем, был в номенклатуре. И в одночасье рухнул с олимпа, попал в тюрьму за припаянные ему “хищения собственности”». Не найдя работы в воюющей республике, Тамерлан зажил во втором принадлежавшем семье доме. «Наш старый дом был далеко, вверх по течению реки Басс. Простая мазанка из саманных кирпичей, крытая позеленевшим от времени шифером... Он стоял на родовой земле моих предков... Отец переехал в кирпичный коттедж после моего рождения... Вишни поспели, черешня, смородина красная и черная, малина. Тутовника было три дерева разных сортов: черный, белый и розовый. А еще поспевали абрикосы, курага, яблоки, груши, виноград, сливы и алыча». Столь же невыносимо бедны и другие чеченцы, настолько, что иногда автор даже забывает о стиле. Мальчишка-боевик рассказывает о девятнадцатилетней невесте: *«Я строил дом, чтобы привести ее в новый дом»*, но Седу, «звезду», увезли для проверки, *«может, она снайперша»*. Дядя, бывший уголовник, взял молодого юриста в шариатскую госбезопасность, где платили настоящими, не фальшивыми долларами. Но там герой не сошелся с непримиримыми ваххабитами, постепенно оттеснявшими Масхадова от реальной власти. Договорились, что Тамерлан вернется в Питер для организации финансового потока в Ичкерия. Ехал через Сочи, заодно отдохнул и подлечился. *«Я начал бизнес. Деньги взял из фонда Масхадова... Остальные, работавшие в фирме, не знали, куда идет чистая прибыль от нашего бизнеса, кто и зачем вообще начал это дело»*. Но нищета так глубоко укоренилась в подсознании, что Питера было мало. *«Я хочу жить в Париже, на берегах Сены... На бульваре Монпарнас»*. Герой сдал чекистам убежище Масхадова и вычислил котировку серебряника: *«1 сруб = 10 000 евр.»**

Выговариваясь остро-болевыми эпизодами, Герман Садулаев гасит их исповедальной интонацией. Заливая обезжженный сюжет о бедности как первопричине конфликтов потоками обвинений в адрес регулярных войск (мы привели лишь малую часть эпизодов, свидетельствующих о героизме чеченцев и низости федералов), он впадает в односторонность, заведомо не способную на ниспровержение основ. Все книги Садулаева о Чечне пронизаны почти неприкрытой субъективностью, но упрямое следование затверженным принципам превращает каждый новый его текст этого рода в нечто косное, одряхлевшее, неживое. Однако и такое, «оно» является частью общей палитры.

В последнее время стало заметно, что авторам литературных произведений, героями которых яв-

¹ Садулаев Г. Шалинский рейд. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2010. — 304 с.



ляются представители национальных групп, проживающие внутри России или так или иначе соотносящие себя с нашей страной, по умолчанию разрешено четко определять свои этнические признаки и современный менталитет, высказываясь при этом с разной степенью радикальности. Всем, кроме тех, кого принято относить (или тех, кто сам себя относит) к русским. На первый взгляд это кажется неестественным: ведь книги пишутся на русском и ориентированы не только на читателей «своей» аудитории, но и вовне, то есть на представителей иных национальностей. Многим кажется противоестественным, что, если попытаться создать текст, в котором действуют условно русские герои по конструкции, например, писаний Германа Садулаева, неминуемо попадешь в маргиналы: в лучшем случае в авторы боевиков, то есть массовой литературы, в худшем — запишут в провокато-

ры. Трудно сказать, насколько Ирину Муравьеву волновала именно «русская» тема, по некоторым признакам (по главному герою, его окружению, ментальности, ориентации на сравнительно недавнюю классику) видно, что волновала. Однако и Муравьева располагает свой текст, подвешивая его между двумя измерениями: советским прошлым и зарубежьем, то есть избегая конкретного времени и места — современной России.

Но все это только на первый взгляд. Такова участь культуры государствообразующего этноса. Она, эта культура, должна считаться с тем, что чувства других этнических групп обострены. Всегда, а в периоды перемен особенно. Представляется, что эстетическая правда — здесь не избежать определения «русских» авторов — в том, чтобы заниматься собственно художественной стороной вопроса, обогащая условно свою и условно другие культуры.

P. S.

Игорь МИХАЙЛОВ

Купеческий размах отечественной словесности

Сергей Шулаков в силу своей мягкости и интеллигентности лишь обозначил симптом той болезни, которая поразила отечественную словесность. Литература расходуется по региональным комнатам коммуналки, в которой уже никто не живет. Единственное, что еще удерживает литераторов в одном пространстве, — это язык.

И вроде бы радоваться надо, что носители языка, региональные пассионарии (включая Муравьеву, которая живет в Бостоне) владеют им лучше, чем те, кто обитает и творит в центре. Но радоваться особенно нечему.

Повесть Дениса Осокина «Овсянки» — довольно бесцветная и невзрачная, выдвинутая на передний план силою финансовых возможностей организаторов премии под названием «Дебют» и не бедного издательства.

Вот уже одиннадцатый год, как эта премия тщательно унавоживает почву отечественной словесно-

сти детскими шалостями своих двадцатипятилетних питомцев, потом развозит оных по миру, глядя на недоуменные взгляды тамошних издателей, читателей тем более.

Одиннадцать лет — время формирования поколения. И что? Купеческий размах, обильные застоля, еще более масштабные обещания и — ничего! Ни одного сколько-нибудь значимого имени, ни книги, которую можно хотя бы поставить в один ряд с «Тихим Доном»!

Может быть, все дело в жюри? Оно выбирает лауреатов по себе. Каков поп, таков и приход. Единственный положительный момент тот, что Денис Осокин из Казани. Будем радоваться хотя бы этому. Правда, Сергей Шулаков, надо отдать ему должное, отыскал в «Овсянках» какое-то вкусное зернышко. Будем радоваться и этому.

Так что там у нас на завтрак, Бэрримор?
— «Овсянки», сэръ!



Любовь Новикова родилась в 1959 году в селе Надежда Ставропольского края. В 1979 году, по окончании Ставропольского строительного техникума, приехала по распределению в Ярославль. Работала мастером на заводе стройконструкций, библиотекарем в Ярославском педагогическом университете имени Ушинского, корреспондентом газеты «Городские новости», с 2001 года — корреспондент областной газеты «Золотое кольцо».

В 1988 году окончила заочное отделение Литературного института имени Горького (поэтический семинар критика Валерия Дементьева). В этом же году в Верхневолжском книжном издательстве вышла первая книга стихов «Сирени цвет». Стихи появлялись в журналах «Наш современник», «Звезда», «Волга», в коллективных сборниках издательства «Современник», в нескольких поэтических антологиях центральных издательств. В 1993 году была принята в Союз российских писателей. В 2000 году вышла в свет вторая книга стихов «Лицом в ладони», в 2004-м — «Молитесь обо мне», в 2009-м — «Я зажгу свечу». С 1998 года — руководитель молодежного литературного объединения «Третья пятница».

В КАЖДОМ БРОШЕННОМ ОКУРКЕ — ПОЭЗИЯ!

Поэзия для меня — это образ жизни. В данном случае под словом «образ» я имею в виду не процесс. Парус — образ моря, звезды — образ ночи, поэзия — образ жизни. Только если поэзия становится судьбой, тогда можно ждать чего-то настоящего. Тогда каждый шорох, каждое движение, каждый взгляд, каждая смятая бумажка, каждый брошенный окурок тоже становятся образами жизни, поэзией. Я не сразу это поняла, а потому потеряла несколько лет, пытаюсь вписаться в общепринятую среду обитания, где жилось мне неласково, а главное — некомфортно. Я тут какой-то лишней была, чужой. Но, видимо, для того, чтобы что-то найти, надо неминуемо что-то потерять. Теперь я не жалею о потерянном. Это были даже и не потери, а то лишнее, что требовалось сколоть для того, чтобы наконец-то проступила суть. Она проступила. И последние десять лет я живу в полном согласии с судьбой. Если раньше я мучилась тем, что стихи мои не нужны никому, то теперь мне это не мешает. Теперь мне интересен сам процесс, посредством которого я могу выразить свое отношение к миру. Да еще в рифму, да еще в размер. До сих пор удивляюсь, что я это в какой-то мере

все-таки могу. Из обиходных, стершихся от долгого употребления слов создать некое подобие гармонии.

Стихи станут поэзией только тогда, когда поэзия для тебя станет жизнью. Я человек крайних суждений и действий, между «да» и «нет» у меня мало оттенков. Уж если отдавать, то отдавать надо все, не торгуясь. А уж тем более, когда ты чувствуешь отдачу. Недавно один из моих подопечных сказал, что был у него талант, да он его пропил. Твердо убеждена, что если у человека действительно есть талант, то его не пропьешь, не проиграешь. Скорее он пропьет, проиграет тебя. Он подчинит и перетрет все невзгоды, болезни, отчаяние и вылетит в ту единственную форму, которую способна творить на земле твоя душа. Он отберет у тебя все, чем живут другие, чем счастливы другие, а ты еще за это ему спасибо скажешь. И будешь счастлив тем, что он у тебя всю эту мелочь принял, а в благодарность отдал тебе весь мир и возможность иногда находить слова для его отображения.

Об этом я могу долго, потому что я только об этом и могу. А если же плохо могу, то о другом я не могу совсем.

Любовь Новикова

*Сохранены особенности авторского стиля*

* * *

Лет 30 прошло. А точнее сказать — 28.
Тогда начиналась дождливая поздняя осень.
Не то чтоб со смыслом, скорее, наверное, в шутку,
Ты мне подарил свою тонкую белую трубку.

Она ни к чему мне, давно я курю сигареты.
Они — моя слабость. Хоть, в общем-то, я не об этом.
Хорошая трубка. Она бы тебе пригодилась.
Ты можешь забрать ее. С ней ничего не случилось.

Что может случиться с обычною трубкою белой.
Ну, чуть пожелтела. Так я подбелю ее мелом.
Почищу ее, и опять она станет как новой.
Что может случиться с обычною вещью грошовой.
Ведь лет миновало всего ничего — 28.
Забыл? Я напомним: стояла дождливая осень.
Что ты говорил мне и что я тебе отвечала —
Я все сберегла, сохранила и не потеряла.

На черный денек твой. На тот непредвиденный случай,
Когда ты забьешься в тяжелой тоске, как в падучей,
Когда от тебя отворотятся, как от чумного.
Ты вспомни меня, позови. Я приму и такого.

Такого. Любого. Любовь — она сраму не имеет.
Она приголубит. Она твои плечи обнимет.
Она пожалеет. Она тебя примет, как милость.
Ты можешь забрать ее. С ней ничего не случилось.

* * *

Не пересохнет горло родника,
Не оскудеет щедрая рука,
Пока есть ждущие воды и хлеба.
Дорога ляжет в ноги беглеца.
А мне — лишь небо. Небо без конца.
Пока я есть, на свете будет небо.

Здесь мой приход. Здесь Богу я молюсь,
Когда строкой горячею давлюсь,
Свою судьбу переплавляя в чудо.
И если ты взойдешь под этот кров,
Чтоб дать мне новых мук для новых слов,
Я и тебе тогда молиться буду.

Да будет праведен мой всякий грех.
Ведь я сюда пришла не для утех.
Не просливы мои мольбы и требы.
Я у земли ни слова не спрошу.
Я только небом на земле дышу.
Я буду жить, покуда будет небо.

* * *

Наплакалась — и снова петь.
Огню — гореть, траве — шуметь.
А птице, ей — летай да пой.
У птицы нет судьбы другой.

Ее гнездо на всех ветрах,
На всех снегах, на всех дождях.
В нем вряд ли кто найдет приют —
С чужими птицы не живут.

Крыло с крылом, как с тьмою свет.
Другой судьбы у птицы нет.
А вскинешься о том жалеть,
То не летать тебе, не петь.

Все — радость, горе, боль, тоску —
Все — в Слово. А потом — в строку.
Потом — в размер.
Потом — в судьбу.
Все — перекладиной к столбу.

И столб уже не столб, а крест.
От сердца к сердцу благовест.
А если Слово — не в судьбу,
Пойдешь к позорному столбу.

Другой судьбы у птицы нет.
Все, что не в Слово, — под запрет,
Коль два крыла тебе в судьбу
На перекладину к столбу.

* * *

Изгнанница из алтаря любви,
Избранница небесных песнопений,
Живу как церковь Спаса на Крови —
Себе — погибелью, другим — спасеньем.

Откуда мне приходят силы — жить,
Я и сама еще не понимаю.



Отдать себя. И о себе забыть.
И не искать потерянного рая.

Жить так, как будто я — нездешних мест.
Как будто не из плоти, не из крови.
Как будто я одною из невест
Христовых избрана служить при Слове.

Не для объятий руки мне даны.
Хоть руки мне даны и для объятий.
Но я их вырву из своей спины,
Когда меня захочется предать им.

Я размозжу их до живых костей,
Коль им захочется тепла земного.
По этим пальцам из души моей
Сочится Слово.

* * *

А больше ничего не получалось.
На темный стол я уронила руки.
Какая-то мелодия качалась.
Вернее — не мелодия, а звуки.
Не то чтоб очень я того хотела,
Чтоб у меня хоть что-то получилось
Но очень уж душа моя болела,
Когда она со Словом не сходилась.

Когда она опять не совпадала
Ни с рифмой, ни со знаками вопроса.
И как немая, жестами кричала.
И снова оставалась безголосой.

От моего бессилия слабея,
Она была то кроткою, то дикой.
И проклинала жалкого Орфея,
Не выведшего к свету Эвридику.

И свергнутая ею с пьедестала,
На темный стол я уронила руки.
А боль ее передо мной лежала,
Изорванная ключьями на звуки.

* * *

А вышивка пошла легко, красиво.
Игла порхала ветрено и просто.
Я поднялась сама себе на диво

Чуть выше человеческого роста.
И как-то сразу научилась думать
Не так, как все.
Да, видно, не на пользу.
Рожденную летать мой век угрюмый
Все гнет к земле и заставляет ползать.

Пигмеи всеплетей и всеязычий
Диктуют, кем мне быть и что мне значить.
Такая, видно, моя доля птичья.
Такая, видно, жизнь моя собачья.

Но я не стану петь под ваше ухо.
Мне не по нраву ваш размер метровый.
Не вашим вычурным медвежьим слухом
Судить мое неласковое Слово.

Я — не для вас. Мой час еще не пробил.
Мой век еще не зачат Мирозданьем.
Я здесь одна. Не в славе, но во злобе.
Сама себе — закон и наказание.

Слову

Всему, что не Оно, я отвечаю — нет.
И словно прорвалось молчанье долгих лет,
Не знающее речь лукавых средин
Из глуби всех глубин,
Сквозь щели всех плотин.

Оно мне и под рост. Оно мне и под стать.
Мне с Ним ночей не спать. Пиров не пировать.
Разгадчицею стать небесных теорем.
Оно подскажет мне — откуда и зачем.

Оно — по душе. Оно мне — по рукам.
Мне без Него весь мир — не более, чем хлам.
Пусть изношусь до дыр.
Пусть проиграюсь в прах.
Пока Оно со мной, я — князем во князьях.
Оно мне — Бог и Дух. И мой насущный хлеб.
За то, что, как в чертог, Оно в мой душный склеп
Доверчиво летит синицею в ладонь.
Меня хоть разорви. Ну а Его не тронь.
Я сроду не была ходящей в поводу.
А перед Ним при всех я в ноги упаду:
Благодарю за честь — сгореть в Твоем огне.
Спасибо, что ко мне. Спасибо, что по мне.

г. Ярославль



Валерия НАРБИКОВА



Валерия Нарбикова — известный российский прозаик, лауреат премии журнала «Юность» родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького. Автор десяти романов, выходящих на английском, французском, немецком, японском и других хороших языках. С 1978 года занимается живописью. У нее было несколько персональных выставок в музеях и галереях, она принимала участие и в масштабных биенале.

О романе «Сквозь» некоторые критики говорят, что, читая его, нужно смаковать отдельные детали и образы. «Это, конечно, тоже способ прочтения», — говорит Валерия, но советует прочитать роман запоем. «Это мой первый роман, написанный в двадцать лет в 80-м году. Я хотела бы, чтобы этот роман читатель проглотил, как в детстве, когда именно так читают книжки — залпом, потому что это — с к в о з ь. Там есть все сразу — и про Москву, которую я обожаю, где памятники ходят, и про Париж, в котором

я еще не была, когда писала этот роман; а оказалось, когда оказалась в Париже, что все это правда — и про моих любовников, и королей, и герцогов, и памятники там тоже ходят, как в Москве, потому что это — с к в о з ь». Если говорить о плоти романа, то, как считает сам автор, — это акварельная техника, это написано прозрачными мазками — это просвечивает, это — с к в о з ь.

В прошлом году роман был переведен на французский язык и вышел в Париже.

СКВОЗЬ

РОМАН

Иллюстрации автора

Публикуется в авторской редакции

Часть первая

I.

Большой квадратный стол, пестрый, яркий, как детский калейдоскоп. Меняющиеся блестки — это блюда и гости.

Лера встала, перекинула сумочку через плечо и пошла за черным Квадратом к двери. Он похитил ее просто: за порогом их не ждал, не кипел конь, они закрыли одну дверь и открыли другую. Разделась и позвала его к себе. У нее летняя, у-у-у, звука дудочки шея... за окном фонари — ямы, увядшие к желудку, бросаешь медь — звенит стекло, фонари, склоняющие кобровые головки и лижу-

щие пятна собственного света, о, это не лампочки, хрупкие и раскачивающиеся от ветра. Оду — лампочкам! Села к нему на колени, взбила бумажные редкие волосы.

Они ласкали друг друга, и на подоконнике зимой пророс зеленый лук. Колени ударялись, как деревянные молоточки, на подносе стоял стакан с чаем, и лежала горка сахара. Оранжевый, словно веснушки, шел снег.

Они поцеловались, из деревянной конуры вышла собака и стала грызть миску с супом-льдом.

Поллукс и его смертный брат кинули сестер на одно седло и втокнули коня в круг. Круг — это единственное, что Рубенс угадал, потому что не было на животиках сестер тулупных ватных складок. Преградами коню служили закрытые окна. Окна не бились (пример из жизни птиц: комнатный голубь долетает до окна, его линию от окна продолжает голубь уличный — стекло цело). У дома смертный натянул уздечку, конь с девичьи стройных ног скинул сабо.

Мои Глазки, лежа среди бархатных черных подушек, похлопывал по высунутым языкам собачек и Малышку. Малышка дул в складки-трубочки муслиновых фрез, оставляя на них красные пятна от своих напомаженных губ. «Противная, преступница!» — и Мои Глазки легонько шлепнул Малышку по щеке, потом приподнял на ноге жужу, которая пискнула и легонько укусила его в чулок. Поцеловав в мокрые губы графа, король велел Розочке принести новые чулки.

Мои Глазки надулся, когда вместо Розочки увидел незваную Катрин Медичи. На ее восклицание: «Нужно действовать!» — он улыбнулся, пощекотал брюшко жужу, вспомнил о герцоге Алансонском и спокойно ответил: «Брата нужно просто убить». Когда же вошел Розочка с чулками, король лежал на подушке, отдав ноги Малышке для переодеваний.

Что дальше? Анри приказал принести платье, расшитое жемчугом, крупными белыми зрачками, которые он прокалывал и укреплял сам, он разделся, и миньоны трогали его фиолетовые ребра — плавниковые кости рыбы-петуха. Потом он надел фрез и поманил к себе Саломею. Тот подошел, пританцовывая, покачивая бедрами-качелями, взял блюдце с головой короля и впился ему в губы. Накрашенные ресницы слиплись, когда король закатил глазки; когда же он, в дамском платье, с голыми ногами упал в руки Малышки и Розочки, а те проворно поволокли его, куртизанку, в постель, — Саломея воскликнул: «Ваше величество, вы прекрасна!»

Ночью король, заснув с сережкой и крестиком, подарком Мари, увидит в «ушко» сон-быль. Ушки-ракушки, выброшенные океаном и вправленные в стены Лувра, приоткрывают подводные тайны.

У пятнадцатилетнего принца одна из подсланных шпилек, потасканная, как музейные тапочки, похитила невинность и получила от Екатерины алмазный перстенок. После этого кукла-Анри был выпущен на сцену.

К малюскам служанок, холеным и несочным, Мои Глазки скоро охладел. И тогда по ночам стали устраивать серпантин. Катрин сердилась: «Вредит здоровью!» Но мальчики, все пустые, как бочки, хотели! На серпантин слетался почти весь эскадрон.

Бракосочетание Анри Наваррского и Маргариты, казалось, было устроено только для того, чтобы принц, весь в мелких капельках пота (которые он через три года проколет и вышьет ими по бархату), разорвал невинную гирлянду танцующих и после фейерверка фарандолы вбежал в комнату, соседнюю с залой, чтобы там промокнуть лицо сорочкой-бизе (кожица ткани прилипнет к его векам, талия кружев изогнется, и Анри припадет к грудям фетиша, как заговоренный).

Эта сорочка в пору была только одной женщине, ее имя узнали в тот же вечер; и жена принца Конде стала являться ему то в образе теплой воды, когда он ополаскивал руки, то со склоненной головкой чайной ложечки, то все ее подплатьевое открывалось ему в щипчиках для сахара.

Катрин Медичи натянула поводок — двадцатилетняя Рене де Рье сделала реверанс: при поклоне ее груди наклонились, как от ветра. Куртизанка из летучего эскадрона должна была отвлечь принца.

Ушки-ракушки Лувра не украшались сережками — прикрывались вуальками: это завитки кресел, ширм, локоны девиц. Но все эти густые водоросли не скроют того, что два бильярдных шара: Мои Глазки и Рене — Катрин столкнула длинными и крепкими, как кии, руками. После чего Мои Глазки заказал поэту Депорту любовное стихотворение; м-ль де Рье ответила тем же — Депорт, почтовый голубь, проворковал.

Утро. «Его величество проснулась», — объявляет Розочка. И мелкой крупной раскатываются миньоны по комнате. У них в руках платочки, губки с маслами, щетки. При виде падающей струйки воды Анри напрягается и никак не может вспомнить: кто это? Из рук в руки передают сорочку. Каждый хочет коснуться живота, ноги короля — причаститься. Конечно, натягивать чулки будет Розочка. Мои Глазки просит неаполитанские красные.

Они поцеловались зубами (в миске суп-лед), и он пальцами, сложенными расческой, провел по ее груди.

Ее мысли — стрелка указывали на постель, его один мысок — на суконный стол. Отнес туда, где через минуту кричала водопадом, бьющим в барабан.

В стеклянном полу не отразилась мышка, майский сон Леонор Фини в девятилетнем возрасте — но град крупный, ледяной из ее глаз, не слезы — град.

Лысая гора. И Лера вырвала бумажную прядь волос, чтобы та принялась на его лысой капле.

Целовались зубами. Кто-то ходил под окнами и ломал лед.

Мягкий живот, на нем голова — лицом в пупок, в эту надежную пробку, которой закрыта ее легкомысленная там-там-там жизнь. Он хочет открыть



пробку и все погладить там-там. Поэтому ждет, когда она встанет и пойдет под душ, чтобы подставить ладони (сь-пъ-б-з-з-пъ-сь). Подает мягкое полотенце. Они оставят дверь в ванную приоткрытой, но никакая сила: плеч, ног, тарана — не захлопнет и не распахнет ее, ни на полкапли света щель не изменится. Положение двери примет строгую форму сенега — лошадиная сила тут ни при чем.

Анри встал, опираясь, как водяной жук, на сотню ручек и ножек миньонов. «Его величество встала!» Он скользит с их помощью по полу. На одно плечо впереди — его высокомерие, неповторимое, как скальп.

Вдруг Мои Глазки отрезал тысяченожки и подъехал к молодому человеку. Тот поклонился низко, сняв голову с фрез. «Сегодня, сударь». — Король отъезжает, тысяченожки снова вырастают.

Этот новый заяц понравился королю на маскараде: его худые осиные ляжки, выступающий лоб. Анри заметил его взгляд, когда хлестал себя по голеникам... голые ноги короля, венецианские штанишки...

С зайцами Мои Глазки поступал просто — брал за воротник. Книга уже открыта, ловушка готова.

Дурным вкусом считались м а л ю с к и. Слово абрикосы без косточек, они высыхали, морщинка на морщинке и целый мешок кураги, кислой-прекислой, сухой, мешок перевязан туго-натуго, стоит — никому не нужен.

Книга открыта — ловушка готова. Ловушка — сундук. Крышку захлопнут ловчие.

— Сударь, — заяц наострил уши, — не желаете ли взглянуть (Анри что-то зацепил взглядом на дне сундука). — Заяц подошел, перегнулся через край сундука, ловчий х-хло-оп! Заяц взвизгнул, лягнулся... но Розочка, как самый опытный уже стаскивал о-де-шосс... шапочка-ток соскочила с головы зайца и заслонила все буквы в книге — читать он не смог, он только слышал тонкое, как шнурок, Розочкино пение.

— Сир, поглядите! — И Розочка запел еще тоньше: «Dentro — fiero, Dentro — fuero».

Но когда он ускорил ритм и как один припев зазвучала:

«Dentro, dentro, dentro!», — король откинул крылышки крамвуази и заткнул своим длинным холеным кляпом задний рот миньона.

Спустя час зрачки короля передвигались только с помощью костылей.

Сестры танцевали на тонких, как хоботки комаров, каблуках, вертелись — это мазки кисточки. Два брата — босиком. Продев руки, танцевали все вместе: уставом, готическим шрифтом и скоропи-

сью. К взмокшим телам сестер прилипли майки, и сквозь ткань торчали твердые, как вишневые косточки, соски. Касались друг друга спинами, слышны были звоночки, наверное, звонил тот, кто подглядывал в игольное ушко. Из брюк, порвав пуговицы, всплывали, как поплавки. Им хотелось разучиться плавать; и тонуть, но не в мелководье шейных впадинок и подмышек, а в засасывающих, всхлипывающих, хлюпающих воронках сестер, не дочерей Левкиппа.

Анри понадобились бы перчатки, если бы ему, как в детстве, вздумалось взять сестру за ошестинившийся Herisson. Это сокровище Маргариты третий месяц по его приказу охраняли придворные лучники. По ночам королева Наваррская бредила; она рвала простыни, хрипела, плакала, поднималась на руках. Анри слышал, как поют, вожделя по узнице, коты. Слушал и молчал.

Хотя Мои Глазки и забавлялся с придворными зайцами, все же он помнил детские галопады, круглый мягкий животик Марго, ее большого ежика, с которым она научилась обращаться уже в одиннадцать лет и охотно давала в руки обоим братьям: и ему, и Франсуа.

Узница, видя, как приоткрывается дверь, вывалилась, словно леденчик из обертки, Анри подобрал ее, положил за щеку и причмокнул. Чувствуя, что еще минута и ее раскусят, она заговорила сама. Мои Глазки слушал мольбы леденчика и нежно обсасывал его. Наконец, устав от этого излияния, он выплюнул Марго и посоветовал ей серьезно заняться музыкой и чтением.

Иголки е ж и к а прокололи платье.

Она взмолилась, прося разрешения присоединиться к мужу. Анри, крепко заворачивая ее в фантик, окончательно объявил: «Мы с мамой заботимся о вас. И пока ваш муж остается гугенотом, вам лучше быть здесь. Эту мерзкую религию я должен истребить».

Ночью в Лувре собрались неприличные сны, беспризорные, как кошки. Они вели себя разнузданно. Сон Катрин подцепил где-то сон узницы, и они развалились перед Анри. Грязные и отвратительные, лежали перед королем вповалку и перемигивались.

Во сне Катрин с грудями навывкате стояла у окна. Она следила за крестьянином, подходившим к пушке. Тот озирался: туда-сюда. Но вот достал свой огромный ствол, кулеврина выстрелила, из дула крестьянина полилось. Анри сморщился и перевернулся набок. На боку увидел Екатерину, садящуюся то на пушечное дуло, то на крестьянское. Солдаты орали: Да здравствует кулеврина — королева-мать!»

Потом Мои Глазки увидел громадную голую улитку, выползающую из-под панциря, и вдруг ока-

залось, что это Марго выползает из-под плаща герцога де Гиза.

Сон Марго встал в полный рост, ему уже не мешала пушка. Теперь королева была в костюме мадам де Сов, то есть обнаженная по пояс, о, эта солдатская манера — выставлять свои доспехи. Из толпы долетали смех и возгласы: «C'est la plus grande putain du gouaume!», отчего Марго делалась все веселее, чувствуя, что народ ее обожает.

Сон самого Анри, выгнанный с насиженного места, направился не куда-нибудь, а к Маргарите де Лоррен, и несколько часов подряд бедняжке снился королевский заяц. Ее же собственное виденье — к узнице, и Марго неожиданно для себя обнаружилась среди ночи в ладошке годмише, это противное чучело, которым так часто утешалась мадам де Лоррен. Скоро чучело вырвалось, стало летать и воровато проникло королеве в рот. Там оно медузно каталось и щекотало. Потом раздвинуло ключики е ж и к а и стало подражать мизинцу, но это у него выходило вульгарно — Марго разрыдалась и проснулась.

И НеФебея вдруг проснулась. Она поцеловала спящую сестру и стала легонько трогать младшего брата. Он что-то зашептал во сне и открыл глаза.

— Иди ко мне, — позвала его не дочь Левкиппа. Они обнялись, на потолке зажглась лампочка, и полился, как из перевернутой чашки, свет. На любовников опустилось фиолетовое пятно целующихся Мунка.

Итак, Депорт, почтовый голубь, проворковал. Мои Глазки обнажал Рене, вырывая ее из ножен, и напарывался на нее. Портрет м-ль де Рье нетрудно вообразить, выбрав из трех работ — Лекюрье, Жака Белланжа и ван Донгена — несколько деталей. Конечно, она на желтом легкомысленном фоне, как Бриджитт, без ожерелий, с растрепанными волосами — их набросает карандашом Белланж — глаза большие, как открытые рапаны, — это кисть ван Донгена. Вся одежда — вуаль из штрихов, накинутая на Даму с розой... и шляпка Лекюрье. Рене — носил всегда при себе, защищаясь ей от нападения других дам. И только при встречах с женой принца Конде опека м-ль де Рье была ему не нужна. Мари была единственной женщиной, не носившей имя Всеравно, имя, приходившееся в пору всем фавориткам.

Когда же между посольскими рапортами король нашел письмо, а в письме зайца, а в нем селезня, а в



Гоголь

селезне щуку, а в щуке — яйцо, а яйцо выпало и разбилось — Мои Глазки сам завил волосы Луизе и повел ее в церковь. У аналоя на реплику режиссера: «Сир, головку немного выше!» — он только улыбнулся, а спустя несколько дней Анри публично осаждал Франсуа Люксембургского просьбой: «Кузен, я женился на вашей любовнице — женитесь на моей!» — потому что в письме был заяц, а в нем селезень, а в селезне щука, а в щуке — яйцо, а яйцо выпало и разбилось, короче, Мария Клевская, жена принца Конде, умерла.

Утро-утро-утро — пробежали три часа назад мышки, полдень-полдень-полдень — удалился последний толстый кот. Он, почтен-

ный: всю ночь был в хозяйской спальне и лежал у Розочки в ногах. И Розочка видел во сне пышную свадьбу в Лионском соборе. Венчались его сын Бернал с Габриэль-Анжелик, оба преступные: Бернал по отцу, Габриэль по матери.

Тик-так, тик-так — миньон перед королем, тик-так, тик-так — Мои Глазки попросил неаполитанские красные. А еще Анри попросил оградить свое высочество от присутствия во дворце мадам Всеравно. Малышка и Саломея обобрали мадам: взяли помаду, румяна, сережки, чулки и выставили несчастную.

В коконе она не утешилась ни с чучелом, ни с подружкой. Играм Леонор Фини она так и не научилась. Игры: несколько катушек самых простых ниток, и главное, отпустить на волю кончики. Все рисунки Леонор Фини если и подражание, то танцующим ниткам. Мадам Всеравно, жена Малышки, Розочки, Саломеи — внутри катушки, как в коконе; три ее мужа — перед королем.

Сев недалеко от спящих, разложили перед собой акварель. Она сделала нежный мазок с противорочкой, смешав охру с ультрамарином, он обнял его черным полукругом. Она взяла губку и размыла си-неву. Тогда он, смочив бумагу, заскользил к полукругу, оставляя кадмиевый след. Резким движением замкнула дугу и встала на стражу, укусив точкой лист. Его кисточка описывала круг за кругом, уходя все дальше и дальше от ее первого мазка. Как вдруг резким штрихом порвала дугу, положив густую персиковую черную, а ее, растерянную, с кисточкой в руках перевернул в воздухе, как рыбу, и поставил на четвереньки. Увлажнив свою ладонь, провел по ее рту, краснота губ проявилась, волосы черным мазком легли на спину — персиковым черным.



Из Малышки, накачанного, резинового, сначала вынул пробку Мои Глазки, а потом Саломея. Малышка сдулся. Розочка встряхнул миньона — спектакль окончился.

Собака, как белая поземка, вьется по лесу — ищет. Нашла! Легла на землю и забила лапами, как заяц в барабан.

Он подошел к Лере, ему понравился запах ее кожи. Взял за подбородок, открыл руками рот и подул в него. В глазах Леры пробило два пополудни. Посмотрела на него так, словно она не его жена. Откинул полы пальто, поднял и посадил Леру на себя. Собака взвизгнула, из поземки обернулась волчком. Лера съехала с громадной ледяной горы, такой длинной-длинной и холодной, как дамский ноготь, покрытый лаком, и пошла по реке между прорубями, разбросанных, словно медяки, по дну долговой ямы. На другом берегу ее встретил Черный Квадрат. «Это я, — сказала Лера и прижалась к левой стороне Квадрата, к тому месту, где было сердце. — Король жестокий, у него за ночь вырастает ядовитая щетина, на нее накладываются такие бабочки, как Линьроль».

II.

Два глаза встретились взглядом: зрачок в зрачок, преодолев кратчайшее, всего в одну переносицу расстояние.

В одном зрачке отразилось лицо, морщинки имели такой рисунок: они повторяли полет мошек и комаришек; в другом — затылок императрицы. Жозефин сидела с прялкой — арфой, играла-пряла.

Вот два веретена пряжи, а в двух коробках ссыпанные с листа ноты, мелкие, как цветочные семена.

В Мальмезоне у Жозефин есть бук, камелии, живет вместе с карликами и попугаями бородатый орангутанг, но есть и уголок роз, куда она приходит пошептаться, это ее тотемы: Пурпурный плащ, Ляжечка взволнованной нимфы, Церковная люстра, Бенгальская вишня, а среди них Двойной султан, Вакханка, Император и Приятный друг.

Стоит провести кисточкой по окаменевшим в лупанариях: отколоты пальцы, отбиты уши и носы, выщерблена временем-оспой кожа, но целы самые уязвимые места: его рука у нее под грудью, а твердый и без того (причина не во времени, не в материале: гранит или мрамор) ключ поворачивается в ее каменной там-там-там скважине — открыта: «Да, мой Ипполит, вся моя ненависть — к ним. Тебе же одному — моя нежность, моя любовь. Я ненавижу их за то ужасное состояние, в котором нахожусь последние дни. Ипполит, я убью себя, да, я уйду из жизни, которая станет бременем, если не будет тебе посвящена. Что я сделала этим чудовищам?»

Ветер, такой предатель, донес это до другого уголка цветника; стебель Императора согнулся, толстые маленькие колючки наострились. Император обращается к Гектору, к Бенгальской вишне, к Пурпурному плащу: «Вы ко мне совершенно не привязаны. Женщины! Жозефин!.. Если б вы были ко мне привязаны, вы бы сообщили мне все, что я только узнал от Жюно. Вот истинный друг! Жозефин! Вы должны были мне сказать. Жозефин! Так меня обмануть! Она!»

Это правда, что она любила индийский муслин и собрала целую коллекцию, это правда, что только двое панталончиков обслуживали все собрание платьев, а любимые украшения изготовлялись самыми модными мошенниками-ювелирами: пожалуйста, пожалуйста — ожерелье из укусов, в каждую ранку вправлен поцелуй, подвески, зализанные алмазом, и на прощанье — чмок в ручку.

Но диадема Флоры — подарок Императора; и Приятный Друг здесь ни при чем. Бедный-бедный Кот в сапогах, он оцеловывал головку, он прикасался к ней с воздушностью кудряшек, но она рычала по Ипполиту. Тот же разбрасывался ее драгоценностями: в Милане подарил мадам Ламберта запястья из красных, как бычьих глаза, засосов; сережки миланезка меняла без конца.

Не верится в то, что подарок от Мюрата был принят креолкой тем более в постели, тем более в Париже, где она едва успевала перевести дух благодаря щедростям Приятного Друга, но брошка на лету, за портьерами, да, да, было... Хотя Баррас, первый ювелир, в кругу гостей говорит: «Нет».

Три султанши Барраса обожали морскую пену, и место каждой было на гребне волны, и поэтому чуть стоило пене спастись на одном гребне, они весело переходили на другой. Морские качели — это раскачивается Тереза: от Фонтене — к Тальену, от Тальена — к Уврару, от Уврара — к Караману. И только Баррас не подставлял им свой гребень, он ждал на берегу, само море прибывало их. И это чистая случайность, что фанты распределились именно так: Нотр-Дам де Термидор — Тальену, прелестная креолка — Бонапарту, мадам Шатороно — маркизу де Майи. Поэтому у себя в цветнике Жозефин фанты-розы пересадит.

Круг гостей был еще уже, чем юбки сестер Долли.

Баррас, как ручного мышонка, поглаживал на щеке свою мушку из черной тафты.

— И женщину нужно уметь разнашивать, как сапоги. Пусть сначала жмет, ничего, пусть натирает, ее мягкость не всегда нам быстро дается, — и тихо; чтоб не повредить швы юбки, и чтоб ни-ни! за нее, — вдова Боарне, я бы сказал, восхитительный галстук с белой подкладкой и синей лицевой сто-

роной — старый и новый режим сочетаются в ней одной. Она для меня бесценная находка.

Потом устроили спектакль. Партнеры Барраса опорожнялись с легкостью наклоненных бутылок. Держали друг друга за барабанные палочки и выбивали ими дробь. Не вышивали взглядами, как это любил Мои Глазки.

Круг гостей был еще уже, чем юбки сестер Долли.

Жозефин, обессиленная от ласк Ипполита, лежала, разбросав ноги. Ее шейный мешочек вздрагивал, словно у ящерицы, перегревшейся на солнце. «Ипполит! Ты любишь меня? Видеть тебя каждый день и не быть твоей. Я измучилась. Но теперь эти дни наши. Ипполит!»

В замке Момбело, где Жозефин казалось, что родственники ее мужа как мыши прогрызли все стены, и ей некуда деться от их глаз, в Момбело — Ипполит, кажется, был доволен. Все его тщеславие трещало, как перезревший арбуз. Брату: «Приезжай в гости, е...й лентяй из Маврикия, приезжай взглянуть на республиканцев... Если ты приедешь ко мне, обещаю вернуться с тобой». Арбуз лопнул, как только Приятный Друг подписался: Капитан-адъютант. Мало: Шарль обвел свое новое звание жирной чертой.

— Вот сюжет полнолуния, он повторяется с точностью худобы месяца, потом полнения и ожирения луны.

— Сколько ж ты это носила в себе! — говорит Черный Квадрат Лере и обнимает ее. — И натекло много крови?

— Да, я быстро побежала в ванную, чтобы смыть... а он приоткрыл дверь и смотрел.

— Почему именно с ним?

— Так...

— Но а как же у нас еще раньше: лед, собака? Ведь тогда все было!

— Не до конца... просто растянули.

— А помнишь, как ты разделась и в свою рубашку-юбку нарядила елку. Я подошел, не коснулся ни тебя, ни елки, а все у меня произошло.

И свет полнолуния повторился с точностью худобы месяца, потом полнения и ожирения луны: спустя пять недель после замужества Жозефин отдалась Ипполиту. Сославшись на беременность, отказалась ехать с Мюратом в действующую армию к мужу. На улице Шантерен каждый день ее ожидал Приятный Друг: у него был поднят вверх указательный палец и такой же твердый и настороженный, как указательный, — палец мужской.

«Так меня обмануть! Женщины... Жозефин! — слова стаптывались. — Развод! Я истреблю эту породу блондинчиков. Что касается ее — развод. Да, развод публичный, шумный!» — Но потом уже, ког-

да она была рядом с ним и плакала, он только клялся — вбивая новые и новые слова, чтоб те никогда не стоптались, и едва-едва успевал нанизывать крупные чудесные слезы Жозефин.

Не было и не могло быть одной-единственной улики — капельки крови.

Когда Лера говорит Черному Квадрату: «У тебя же тоже было!» — он ломается и повисает на Лере, как часы Дали.

Потому что на его белых трусиках Лера видела маленькую капельку крови, не свою, а другой женщины.

Когда же Лера разгибает Квадрата, время опять идет, и она гладит его по голубой складке, которая образовалась, пока он висел, и спрашивает:

— Это у тебя было впервые?

— Нет, но впервые не опасно. — Квадрат мнет, затирает до дырок углы, но потом сворачивается конвертом, и Лера вся помещается в нем, и он носит ее по дому, укачивая.

Танцевавшие дамы походили на бабочек, насавшихся ядовитого нектара. Их партнеры, не рафинированные — на сахар, вымоченный в чае.

Все общество составляли юные девушки на выданье, породистые вдовы, желающие вновь выйти замуж, и молодые люди из сословия овощей, только что взошедшего на кормах Директории.

На дамах были платья тонкие, как целочки, были невесты с приклеенными ресницами, были с губами, подкрашенными менструальной кровью. Туника одной девушки была настолько прозрачной, что многие мужчины сошлись во мнении: «Ее мысок действительно напоминает молодой початок кукурузы».

Сюсюкали, залпом проглотив все согласные алфавита, из которых можно приготовить жаркое. Говорили во вкусе желе: «До'огусенька! П'афта, он мн'. Хотю его!»

Один из овощей рисовал на клочке бумаги и попутно объяснял зрителям только что пришедшую ему в голову фантазмагорию: «Это любой из желающих сажает на упругий, как прут, всех невест сегодняшнего бала. Прут пронизывает их насквозь — выходя через рот. Они помещаются на нем все. Они иссыхают и, как вы видите, напоминают сушеные грибы, другие сочатся. А вот и фонтан, утоляющий жажду всем сразу».

Дамы хохотали. Кто-то полюбопытствовал:

— Почему только прут, как вы выразились, такой тонкий?

— Это из-за его необъятных размеров... и еще чтоб не разодрать желудочки дамам.

Рисунок прикрепили между двумя копиями с греческих барельефов Скопаса.



На одном nereида, изогнувшись, обнимала козла, в уши которого продеты полукруглые серьги-рога.

На другом — Леда впускала в себя лебеда. Тот, разбросав крылья, заглядывал в тайники через ее плечо. Его мраморные перья походили на чешую гигантской рыбы.

Танец «Леда» был их любимым.

НеФебея повязывала на шею косынку из мягких перьев куропатки, на бедра — поясок. Вот и весь ее костюм. Так она танцевала Афродиту, превратившуюся в орла.

НеЛаира — в костюме Леды держала ляжечками золотистый пучок остро пахнущих кудрявых стружек.

Смертный брат танцевал Тиндара, смачивал губкой ступни ног. Его шаги вдоль стены напоминали птичьи треугольники.

И бессмертный брат танцевал лебеда.

НеФебея-орел вонзалась когтями в спину голого Зевса. Расцарапанный, он падал, взлетал. Забросал Леду взглядами — хрупкими яичными скорлупками. И тогда она раздвинула ляжечки — золотистый пучок не выпал, но поделился на два розовым скользким пробормом. По этому проборму Лебеда вошел огромным некаястым клювом, вдыхая запах единственной ноздрей. Потом Леда брала клюв в рот, и, не обращая внимания на Тиндара, всасывала семя, которое в нее отрыгивал Лебеда.

Вторая часть танца посвящалась возвращению Зевса к Афродите, которая уже успела скинуть костюм орла и белым, вычищенным до одного волоска холмиком встречала победителя.

И последняя часть — allegro: Тиндар острыми, резкими движениями атакует жену. Она подчиняется ему, и они весело, по-птичьи, укалывают друг друга. Последний укол — и Тиндар уносит ее на себе.

Сломала сухую академическую линию, которой обвел ее ученик Давида, и во вкусе Греза сжала пальчиками маленькую грудь, словно желая выдавить из нее сосок.

Кроме красных шелковых перчаток на ней не было ничего. В ее кулаке он двигался с виртуозностью внутренностей червя. Перчатка взмокла. Клятва Горацийев была забыта ради садов Армиды. Раздавлен. Внутренности на шелке.

Размазала их по груди и животу.

Он собрал ее в букет и выкинул на улицу.

Экипаж, двигаясь ровно, как станок, вернул невесту на бал.

В Мальмезоне подошла к Императору, села на корточки и стала щекотать прутиком лиловые, круглые, как глаза нежащейся лягушки, росинки.

«Я не провел и дня без любви к тебе, я не провел и ночи, не обнимая тебя. Когда я окружен де-

лами, нахожусь во главе войск, прохожу по лагерю, только моя обожаемая Жозефин занимает мой ум. Если я удаляюсь от тебя со скоростью потока Роны, то лишь для того, чтобы скорее обрести тебя. И тем не менее ты жалуешь меня “Вы”. Сама ты “Вы”! Гадкая, как ты осмелилась! Да, это “Вы” побуждает сожалеть о моем старом спокойствии. Горе тому, кто является причиной! Да испытает он в наказание и как пытку то, что испытал я. В аду нет мучений! Нет ни фурий, ни змей! Но “Вы”, “Вы”!»

— Ах-х! — она слегка ударила прутиком, слезник лопнул, в обе ладони Жозефин покатались капли.

«Прощай, женщина, мука, радость, надежда и душа моей жизни, кого я люблю, кого я боюсь, кто внушает мне нежные чувства, приближающие к природе, и бурные движения, вулканические, как гром. Не прошу у тебя ни вечной любви, ни верности, но только... правды, безграничной откровенности. День, когда ты произнесешь: я люблю тебя меньше, станет последним днем моей любви или последним днем моей жизни. Жозефин! Вспомни, что я порой говорил тебе: природа создала меня сильным и решительным, тебя же она сделала из кружев и газа. Прощай...»

Газовое платье все-все промокло. Совсем в другом уголке сада — Приятный Друг. Острыми шипами, не как цветок, а терновник, он уцепился за платье своей покровительницы. Ему всегда что-то нужно: чтоб окопали землю вокруг, пригласили пчел, полили. Но не надо так больно цепляться, она сама наклонится и потрется губами о торчащие тычинки.

«Я не потеряла времени, так как уже через час написала к консулу и министру юстиции. Я тем острее переживаю неудачу, что мои чувства к Вам прежние, что меня не заставят перемениться, что я Вас люблю с нежностью и постоянством».

Слизнула пыльцу и ушла.

Овальная спальня, две лошадки и его дешевенькая комната в отеле Шербург, вся завоеванная Италия и Египет поместились в картонной коробке для игрушек. Все спуталось: Италия посыпана конфетти, а в его меблированной комнате на полу густо-густо лежат елочные иголки. Немного потемнели зеркальные стены спальни, но Египет все тот же. И только не помещаются в коробке и торчат из нее огромные рога.

— Я думаю, что она заставляла носить их?

— Так говорят, сир.

III.

Группу появившихся в комнате актеров возглавляла кошка, слепая на один пуговичный глаз, который болтался на шелковой нитке. За кошкой шли:

Квадрат, Лера, Человек-Час, Кровь... о, как я соскучилась по его человеческому имени.

Актеры поклонились. Бьющий в окно свет фонаря осветил низкий топчан. На него сели Лера и Черный Квадрат. Остальные остались в тени. Квадрат дотронулся до Лериной оранжевой изнанки, изнаночной петлей было связано платье, и Лера, снимая оранжевое, вывернулась на лицо.

Говорить они еще не умели, поэтому Лера просто смотрела, как спокойно парят зрачки Квадрата, он же следил за ее кистями рук, они висели, как мертвые рыбки. Если бы хоть до рассвета так посидеть, то глаза Квадрата опустились бы, словно ласточки перед дождем, но были зрители, перед которыми приходилось играть.

Вдоль линии горизонта — железная дорога, движутся по ней крошечные вагоны, похожие на гробики, движутся по кругу.

В летних сумерках из окна троллейбуса между белыми блочными домами хочется видеть прогуливающих в белых платьях.

Невидимая с земли тысяченожка задергала лапками, серебряные подковки звезд засверкали. Словно чистой водой, они поливают сцену через каждый час.

Квадрат: И я тебя попросил надеть в следующий раз, когда ты придешь ко мне, какую-нибудь старую рубашку, чтоб не жалко было порвать. А ты пришла в новой. Как же мы теперь ее порвем, сказал я тебе, — такую новую? Ничего, она старая, — сказала ты, — я ее не люблю. И я понял, что она твоя любимая. В тот день мы играли, помнишь?

Лера: Да, в матроса. Ты говорил: я буду невинным матросом, а ты — развратной женщиной, а я говорила: нет, лучше я невинной, а ты смейся и делай со мной, что хочешь. Это просто, я тебя научу. Повали и все порви на мне! — Но на тебе же новая! — Это ничего, я ее не люблю.

Квадрат (интонация идет вверх): Подними руки, я тебя потрогаю.

Лера: Только чуть-чуть, хорошо.

Звезды полили сцену. Холодно.

В Раю шел сильный дождь, и как волки выли пароходы. Дверь в ту-ту жизнь была плохо заперта, и за ней все время гремели какими-то ведрами и огрызались.

Квадрат: Ты давала мне себя гладить, и ты плакала, ты обнимала меня за шею, и пароходы гудели, как голодные. Ты правда думала, что стала женщиной, и поэтому плакала? Но ведь я только подушечкой пальца трогал твою целочку.

— Я в Раю тебе сказала, что поэтому?

— Да, так сказала.

— Я обманула тебя в Раю. В пятнадцать лет у меня был костюм с кармашками и металлически-

ми пуговицами. И в одном кармане лежал адрес, написанный на троллейбусном билете. Тебя еще тогда не было, но был тот (о, как я соскучилась по его имени) по имени Кровь. В первый раз, когда я к нему приехала, он закрыл шторы, положил руку мне на плечо, и я ее не убрала, потому что подумала, что это просто так. А потом я сопротивлялась семь часов подряд, прежде чем он поцеловал меня в губы, когда же он все же поцеловал, они покраснели и надулись, как у негритянки. И я попросила у него одеколон, чтоб протереть их. И не все... В ванной он стянул с меня юбку и потрогал там-там-там. Все.

Квадрат: Я люблю тебя, мое стеклышко (дальше с орфографическими ошибками, дальше некрасивые слова, плохо одетые, плохо поставленные, все неряхи... и все станционные лампочки в ночи, все худышки в коротких юбках, все голубые наволочки)... Подковки плавятся, клеймят.

Квадрат склеил белком осколки луны и встал, будь все проклято, под проливной дождь звезд.

Человек-Час вышел на середину сцены.

Декорацию задумал еще Ропс. Лера и ее тень были сложены вместе, как крылья. Раскрывались — это значило, что Лера под тяжестью волос падает на пол, закрывались — то есть Лера со своей тенью кружатся, взявшись за руки.

Вытолкнутая дверь, пройдя немного вперед, упала навзничь.

Человек-Час: Она казалась мне очень беззащитной: ни местечка в роговой оправе, по-черепашьи. Жили мы в доме, который стоял ни на левой стороне улицы, ни на правой, поэтому номер его был -4. Лера встряхивала полотенце, стелила его кверху звездами, и мы садились на него, как на коврик. Она заваривала чай из крупных темных листьев, он настаивался — всплывали водяные знаки. Когда она плакала — две точки акварельных глаз расплывались, и появлялись крупно-зернистые, цвета светлой охры подтеки под глазами, но я так тщательно промокал их, что они исчезали. Ее коленки были чувствительней спины.

— Почему ты не смотришь на мое лицо, — спрашивала она.

— Я смотрю, — отвечал, все глубже заглядывая под платье.

Ей необыкновенно шли дешевые вещи. У нее была такая детская байковая ночнушка, короткая и просторная, под ней особенно косили и без того раскосые груди. Когда я куда-нибудь уезжал, ее охраняли не евнухи дверные замки, а белые зебры-минареты. Мы их написали сами. Кисточкой, чувствительной, словно кошачий ус, она ставила блики, я же гладил ручную белку, и та кончиком хвоста водила по влажной бумаге. Когда жаворонки дрожали синими пружинками, соба-



ки дышали так тяжело, как рыбы в ведре, ласточки летали стальными серпами и потом вдруг крыльями фр-р-р, словно отряхивались, — я называл ее Аквалерией, потому что уменьшительным именем Лерочка звал мой близнец свою подружку по играм, когда пробирался к ней в окошко, отодвигая занавеску на резинке тугой-тугой, такой что оставалась красная полоска от трусов. Мы с ним оба любили Лерочку, но он, поднимая крайнюю плоть века, мог заглядывать в нее, я же без зависти к их перемигиваниям брал ее в обе ладони. Тогда глаза Аквалерии вытягивались и по форме подходили на знак бесконечности.



Птица

Лера, кругло упав, легла в позе «Ой».

Квадрат: Что? Что ты?

Лера: жизнь болит, больно...

Квадрат: Живот?

Лера: Ой, как болит жизнь.

(родник от слова «родная»)

Квадрат: ну-ну, ничего, пройдет сейчас, прошел?

Лера: еще не прошла, погладь здесь.

Кровь: Можно, я поглажу?

Лера: Не надо, пусть он.

Рассвет, и у двери встали два билетера, как два солнечных луча.

Контроль утра надорван, пенятся мыльные головки одуванчиков.

— Ваши билеты (двум девушкам, одна пропускает другую вперед, как часовая стрелка минутную).

— Это моя невеста.

Человек-Час: Пропустите их. Фаллус у Аполлона — в руке! Однажды, услышав меня своей игрой, она куда-то ушла...

Кровь: Дайте мне сказать!

Звезды вылили все до последней капли, отряхнулись, как кошки, и исчезли.

Кровь: Дайте сказать!

Билетеры: Билет!

Кровь: Она ушла ко мне. Она сбежала ко мне. Она сбежала ко мне, я целовал ее, я делал с ней все, что хотел, я видел, что она меня любит, я прокрался к ней в рот языком, я гладил ее десны, я видел себя в ее зрачках.

Человек-Час: Послушайте, замолчите.

Билетеры: Билет!

Человек-Час: ...и мы увиделись только на следующий день, столкнулись случайно в подвале у гипсового Аполлона. Посмотри, — сказал я, — на его жалкий обломок. Она рассмеялась и поправила

меня: это не обломок, свой фаллус он держит в руке.

Билетеры: Ваш билет?

Человек-Час (Лере): Не уходи, дай я на тебя еще чуть-чуть посмотрю.

Лера: Нам всем уже пора...

Человек-Час: Подожди, я только расскажу о прятках. Когда играли в те прятки, мне было десять лет. Играли одни взрослые, но я осмелился подойти к незнакомой женщине и сказал: можно мне тоже. Она крикнула в темноту: вот, здесь мальчик, он хочет с нами играть. Из темноты ответили: пусть играет. Женщина села в кресло и стала считать. «В той комнате не прячутся, беги куда-нибудь, ну!»

Я знал, что в доме много удобных мест, я их открывал сам, когда мы играли с мальчиками. Побегал в мою излюбленную кладовку, но там уже кто-то был. Раздался шепот: сюда нельзя. Кинулся за маленькой фигуркой, но она зашипела: не ходи, мальчик за мной, и юркнула в комнату. Я открыл соседнюю дверь: там стояли двое; он прижимал ее к стене и целовал. Я так и не смог хорошо спрятаться, всем мешал. Конечно, все удобные места были заняты, и меня сразу нашли. Я видел, как выручались другие, как боролись у кресла. Мне тоже хотелось бороться и трогать подбегавших к креслу женщин, не давать им дотронуться до сиденья первыми. У меня ничего не получалось, ни прятаться, ни выручать. Я уже отчаялся и хотел уйти. Забрел в какой-то угол, открыл дверь и никого там не увидел. Но потом за шторой увидел женщину. Она улыбнулась и сказала: не бойся, спрячемся здесь вместе, нас не найдут. Когда же в комнату влетел мужчина и встал посередине, она сказала ему: ты не видишь, это место наше, уходи! Потом нас нашли, и мы побежали к креслу, в дверях комнаты устроили возню с водящим. И я трогал и защищал ее от водящего, она не сердилась, она смеялась, и я поцеловал ее.

IV.

Прятки — шупальца!

Луна налилась, как брюшко комара, напившегося крови.

Огурцы покрылись мурашками.

Кузнечики боялись отбить о камни ноги и прыгали невысоко.

Из окон второго этажа недостроенного дома доносилось пение лягушки.

Море блестело, как открытая мидия.

Раскачивались пальмы, ощетинившись ежами.

Посчитались: первым водит Человек-Час. Лера и Кровь прячутся. Он водил в доме -4, они же не соблюдали правил и прятались совсем на другой улице, и он не мог их найти.

С Лериного тела еще не сошел загар. Слоится загар, слоится время. Когда Лера станет совсем белой, все повторится:

Человек-Час откроет окно в купе,

Цикады все вместе заведут свои ручные часики,

Комары, как из тюбиков, выдавят жальца,

Лера будет слоненком, если слоненок от слова «слоняться», Человек-Час, глядя на проноссящихся мимо поезда слепых, похожих на дома с закрытыми ставнями, скажет: «Женское наслаждение — это письмо маслом, наслаждение мужчины — акварельное письмо. Вот почему, когда ты шепчешь: “Больше не могу!” — я прошу тебя еще чуть-чуть. Акварельный мазок прозрачен, если наносится один раз, и я собираю все силы, чтобы его оттянуть, тебе же легко добиться своего оттенка, а число мазков может быть бессчетным».

А там, где они прятались, конечно, не было ни постели, ни стен, но место это освещалось апельсинами, и бабочки в черном носили по кому-то траур. Смотрясь в круглый пруд, поставленный ребром, Лера сама стягивала с себя колготки, ложилась на зеркало. Кровь стоял в стороне. «Иди ко мне, — говорила она ему, — иди». Он не двигался. И тогда она называла его по имени, и он подходил решительный, отрешенный, решето, орешек, склонялся над ней и начинал смеяться. «Смейся еще больше надо мной, я люблю это!» Больше всего у него светились глаза, на них летели мошки и красные стрекозы. Влетел один жук, но испугался и встал в кокуцу-дати. Рядом в доме играли в нарды, и гуси, находясь в медитации, не решались войти в треугольную лужу.

Человек-Час взял перо, обмакнул его в чернила осьминога: «Аквалерия, помнишь, ко мне жались твои купальные трусики, когда ты снимала их под водой и укладывала ко мне под плавки. Помнишь, мы стояли перед банкой изабеллы на коленях, а потом ложились на камни и видели, как целые стаи светлячков летят к луне, но, обессилев, синими блестками падают в море.

На берегу у нас был зонт, под ним ты делала себе бусы из мимозовых семечек, рядом под мандариновым деревом мы стелили одеяло. Ты ложишься в легком открытом платье, ты в нем еще больше была раздета, чем без него. Моя рука под подолом ласкала местечко, еще не успевшее загореть — эту белую, нетронутую загаром полоску, островок между чулками и трусиками, которых нет. Ты закидывала го-

лову, моя самочка!» — Человек-Час обмакнул перо в чернила, которые видны только в Лерином провизителе.

«Однажды на твой обильный сок, блестящий на моем пальце, прилетели два мотылька, зацепились лапками за ноготь и окунули усики в вязкую пленку. Аквалерия, когда мне было пятнадцать лет, я не знал, что тебя мне нужно искать за оградой детского сада, и я блуждал в тех местах, в которых водиться ты еще не могла. Ты играла в мячик — я уже был измучен Слабаной Передок. Вот передо мной ракушки из нашей рапановой рощи: женщины с розовой травой на спине, мужчины — с булыжниками в приросках. Слоится эвкалиптовая кора и сгорает, слотится твой загар, и ты прячешься. И пока тебя нет, я наполню стакан изабеллой и зарою егси по самую кромку в землю; и когда ты наклонишься к нему, то увидишь острые ногти солнца, разбивающиеся Икарами брызги, тебе легко будет пройти взглядом через весь мякиш земли, только приблизь свой карий узкий глаз...»

Кто-то невидимый почистил все апельсины, и стало темно. «Проводи меня, — попросила Лера, — я хочу домой».

По улицам шли разноцветные люди и держали на нитках-шеях собственные головы. Если голова отлетала слишком далеко, ее подтягивали. Головы вертелись в небе и болтали между собой, а на самой улице было тихо-тихо. Но вот какая-то женщина не удержала нитку, голова вырвалась — и полетела, как воздушный шар. В глазах улетевшей головы был ужас: они выпучились, как у мертвой рыбы, они позеленели. И многие головы посмотрели сверху вниз на свои туловища, а многие заплакали, и пошел настоящий соленый дождь.

— Зайдем в подъезд, — сказал Кровь, — переждем.

Там Лера прижалась к теплой батарее и тихонько запела. Кровь взял ее руку, поцеловал. Но потом сел на корточки, пробрался под чулки и потрогал голые ноги.

— Не надо, я не хочу, — и Лера отстранилась.

— Нет, ты сегодня моя! — Кровь сжал ее и раздел на лестнице. Мимо проходили жильцы, они спотыкались от смущения и теряли головы, которые вылетали в открытое окно.

— Я не люблю тебя, но сделаю все, что ты хочешь, только скорей, — Лера застеснялась и прикрыла рукой груди.

— Но ведь это я научил тебя всему. Вспомни, как ты раньше скакала, не могла высидеть и пяти минут. Вспомни экзамен у моря: проходившие мальчишки хотели подобрать ракушку, которую ты выставила сама, встав на мостик и зарывшись в песок. Ракушка не поддалась.



— Я же сказала, что сделаю все... только, пожалуйста, скорей.

— Скажи, что ты меня любишь!

— Ты очень хороший, и я для тебя подолгу стояла на мостике ракушкой кверху, это правда, но никогда мы с тобой не ели из черных чашек рапановый суп и не плакали вместе, глядя на совсем простые вещи: камни, угли, лампочки...

Кровь прижал Леру к ступенькам, развязал запасные мешочки, и две пригоршни не влажных, а сухих мужских семян высыпал ей в волосы: «Вот так ты любишь, ну, кричи, кричи, скажи, что ты меня обожаешь!» — «Я тебя обожаю».

Квадрат водил в лесу, березовом прозрачном, как у берега вода, и все-все было ему видно: кто где прячется, и не нужно было ходить искать, а просто крикнуть: «Выходите, я вас видел!» И тогда Лера выбегала и звонко смеялась: «Пусть, пусть водит опять, он нас не видел, это мы сами вышли!» И тот, кто с ней прятался, тоже кивал: «Да, да это мы сами, придется вам опять водить». И Квадрат поворачивался к белому из берестяных лент стволу и считал до десяти.

На счет раз он слышал Лерин шепот: «Сюда, сюда!» На счет два — как они падали то ли споткнувшись, то ли нарочно. И потом на три, четыре, пять было тихо. На шесть, семь и восемь он догадывался по звуку, что они целуются. На девять открывал глаза, и на десять раздавался ее веселый голос: «Как же ты быстро считал, мы еще не успели спрятаться, води опять!»

Дорога ведет к дому, Лера забегает вперед и спрашивает у Квадрата: «Ты ведь всегда-всегда меня искал, когда я пряталась, правда, это правда?» Дорога узкая и неровная, как кольцо с зернью.

— Пока ты пряталась этой зимой, ко мне в наш лесной дом приходила девочка. В первый, самый холодный месяц ты пряталась недалеко, и я только сажал девочку на колени. Потом ты стала находить более укромные места, и девочка совсем привыкла ко мне и разрешала себя трогать. В самый теплый из трех зимних месяцев ты как-то не вернулась, и я не поставил девочку сзади себя на лыжи, как это делал прежде, а спросил ее, хочет ли она сегодня остаться у меня. Она не побоялась и кивнула. Я раздел ее сам, и постель приготовил сам: постелил чистую простынь, наволочку, потому что это была девочка. Я не загонял огненных лис наслаждения, не натравливал ни укусы, ни щипки. Я подпустил к ней его, сдерживая на девяти ремнях, но он сорвался и успел вцепиться в нее несколько раз, пока я снова подхватил ремни. Потом я сам помыл девочку: все смыл с ее ног, живота, лица, а рано-рано утром, когда еще было темно, отвез ее на лыжах домой и с тех пор больше никогда не видел.

Прятки — шупальца!

Анри терпеть не мог, когда прятки превращались в глупости. Мадам де Рье вместо того, чтобы водить, уткнувшись в подушку, предпочитала однажды спрятаться вместе с Линьролем. Анри, не услышав мелодичного щелканья ее маятника-языка: двадцать один, двадцать два, двадцать три, — извинился пред женой принца Конде, оставил на минутку столь приятное место, выбранное ими обоими для прятков, апартаменты герцогини Неверской, и, столкнувшись с Линьролем, который возвращался, успев вдоволь наводиться с Рене, подставил ему несколько ядовитых иголок своей щетины. На следующее утро преподнес эту сушеную бабочку своей любовнице: «Оставьте это себе на память и впредь не нарушайте правил. Свой е...рий советую вам больше не пополнять».

Прятки — шупальца!

Решила перенести назавтра поездку в Кремон, а на ночь остаться в Бричия. Амлен, спустившись с верхнего этажа, увидел перед постелью мадам Бонапарт столик, накрытый на троих. «Третий, — пояснила ему Жозефин, — бедный Шарль, закончивший свою миссию в Бричия». Шляпа и оружие, забытые адъютантом в салоне перед спальней, подсказали ему, что прятки в самом разгаре, что он — водящий, но ни к чему было считать или выкрикивать громко: «Пора?» — потому что комната, где пряталась Жозефин, охранялась гренадером, который не принимал участия в игре, на вопрос Амлена: «Кто вам отдал такой приказ?» — просто ответил: «Горничная мадам Бонапарт».

Ипполит вертел Жозефин, как заморскую диковинку, загадочность которой манит, но отталкивает бесполезность. Мягкость любовника совсем разволновала мадам Бонапарт.

— Ты меня не хочешь, — заплакала она, — я вижу, что ты меня не хочешь.

Слезы размочили Ипполита окончательно. Он всегда наступал «Свиньей», с торчащим вперед рылом. Сейчас эта комбинация не годилась. Боясь потерпеть поражение, Приятный Друг прилег и нацелился на спину, которая так возбуждала его во время ужина, но от ее холеной белизны замерз, как в снегу. Он хотел выждать минуту, а потом повести наступление с тыла, то есть со стороны груди. Замысел рухнул, как только Жозефин села и вопросительно посмотрела. И тогда ее приоткрытый рот, провалившийся в пышную прическу пробор, закрытые глаза — напоминали ему п...у недавней подружки. Всунул рыло и дососал. И вещи затеяли игру в прятки.

Трусики НеЛаиры спрятались в пояс сестры и загородились резинками. Туфли НеФеbei заверну-

лись в брюки Поллукса, выставив лишь узкие мыски. Но два платья сестер, задрав легкие подола, лежали открыто. К ним устремились рукава рубашки смертного брата. И мокрая зимняя шапка Кастора как-то очутилась на комбинации НеФебеи. Уткнулась в ляпочки, промочила их, втерлась ворсом в кружево. За чашечками лифчика сидели два парадных костюма. Сзади на юбку навалились сапоги и всю ее измяли. И только одно пальто неловко висело на вешалке и загоразивалось воротником — водило. Прятки — щупальца! Море расстегнулось, откинув полы-волны, и пуговицами в разные стороны полетели камни.

Малюски загородились щитами.

Небо ободралось о самолет, и красная царापина не заживала несколько минут.

Цикады выбрали патрульного, и он до утра наигрывал на свистке.

Пальмы наточили о солнце ножи и резали на куски влажный воздух.

Лаяли гуси.

V.

И кто-то бубновым голосом всю ночь бубнил до утра.

Человек-Час вытер ноги о коврик, но тот был вспльчивый, и красное облако поднялось вверх. Прошел в комнату, лег на диван и накрылся одеялом.

— Хочешь? — услышал он хорошо знакомый голос.

— Нет, уходи.

Полумертвая Слабана Передок прижалась к его ногам грудью и потерялась.

— Ну, хочешь, все будет, как раньше: возьми книгу, подложи под себя подушку — я готова.

— Нет.

Человек-Час закрыл глаза и вспомнил первую ночь со Слабаной, совратившей его в двенадцать лет. Родители спали. Он лежал и трогал себя, натягивал кожу, нашел необыкновенное сходство его с пустым шприцом. Потом перевернулся со спины и подложил под грудь подушку. «Ты моя женщина, — шептал он ей, — я тебя люблю». Вдруг внутри что-то засмеялось и потом дернуло. Нечаянно излился на ее втянутый белый живот. Днем, когда никого не было, застирал наволочку. В следующую ночь Слабана была предупредительней: все осталось в кулаке.

Он разговаривал с ней, рисовал ее. Не заметил однажды вошедшего в комнату отца — и наутро получил брошюру: «Прививки от Слабаны». Скрепленные листы разлетелись в тот же вечер, когда из шприца брызнуло.

Слабана легла корешком кверху, раскрывшись посередине: «Я на сто семидесятой, загни страничку». Сто семидесятая начиналась так: «В руках вертелась ставридка, и старик проводил ладонью против ее чешуи. Когда он открыл ей рот и стал показывать собравшимся вокруг зевакам ее мелкие зубки, какой-то толстяк воспользовался, всунул кукурузу и стал требовать, чтоб она ее сосала. «Соси, — хохотал он и шлепал ставридку по щекам. — Соси!» Когда же она выпятила губы, два мальчика впились в них, а потом оплевали. Остальные дергали за плавники, водили по ее гладкому животу — старику в шляпу бросали мелочь». Человек-Час захлопнул Слабану и закричал: Лера! Лерка! — Ор. Оргазм. Кровь, с минуты на минуту ожидая Леру, принес фотоаппарат.

Первая фотография получила ожог первой степени. Произошло это потому, что Кровь остановил Леру в дверях, не помог снять ей шубу, но сам спустил колготки и велел стоять так. Вторая получила ожог, но меньший, когда Лера раздвинула полы шубки и опустила голову. На третьей появилась только легкая краснота, независимо от того, что Лера, как примерная школьница, взяв тонкую указку, сосредоточенно направила ее в самую непроходимую от дикой растительности точку.

Квадрат пришел на свидание с зеленым молотком, чтоб вбить несколько гвоздей в порвавшиеся Лерины туфли.

— Будем жить, — сказал он и застучал.

— Мне еще не исполнилось семи лет, когда мы с одним мальчиком посмотрели «Хижину дяди Тома». Там была такая сцена — плантатор грубо потянул негритянку за платье, порвал его, обнажилась грудь. Мы приехали домой, и я предложила: давай играть — ты будешь белым, а я — той черной рабыней. Он долго не мог понять, что я от него хочу, но, наконец, когда в сотый раз я подошла, он стянул обеими руками с меня трусики. Я надела их и подошла еще раз, по правилам, помню, не должна была сопротивляться, а только чувствовать свое полное унижение. Я подходила, он стаскивал, я натягивала и опять шла к нему.

— Готово, — Квадрат протянул туфли, на них засеницами задралась кожа.

Согрел во рту руки и поднес теплые пальцы к Лериному лицу.

— Покажи язык, — взглянул на карту, начерченную на языке, и увидел крошечную проекцию печени, сердца и рядом с легкими большую область, нагнулся, стал зализывать и выправлять линии.

— Пойдем.

Он повел ее домой мимо заборов, с надетыми на кольца дешевыми коронками, мимо канав, мимо-



мимо качелей, окающих, будто бабы-волжанки, и у темного окна остановился.

— Это наше, — посадил Леру, и они очутились в комнате, было слышно, как впотьмах работают мастера.

— Ничего, они нам не помешают, они за стеной. — Квадрат снял пальто. — Упрись руками в дверь, спусти брюки, стой так.

За их спиной, закатав что-то на себе сиреневое, семенила луна, и на осемененную дорожку падал снег. В окладе вместо лика святого была шляпка гвоздя.

— Я не любила стричь ногти, и поэтому Слабана отрастила на среднем пальце острый и длинный и поцарапала меня, когда в двух шагах от сидящей под деревьями мамы с целой компанией взрослых, в машине с плотно закрытыми стеклами, чтобы спастись от комаров, — прикоснулась. Потом я долго ерзала, потом стала смотреть на свернувшуюся клубочком девочку, дочку знакомых, и тихонько засмеялась, догадавшись, что нужно достать спичечный коробок и пойманных за день жучков выпустить в трусики спящей. И потом, как кругло открыв рот, пела луна, а один сучок встал между ее губами распоркой, и у той от напряжения весь лоб покрылся морщинами, когда на крик девочки прибежали родители, зажгли свет и стали обирать плачущую и чешущуюся, и рядом со мной валялась улика — открытый спичечный коробок, к доньшку которого прилипла одна околевшая букашка.

— Ты спишь? Ну почему-у! Ну почему-у-у!

Две струйки из прохудившегося крана бежали наперегонки.

Чья-то звезда сверкала напротив окна.

Слабана начала: «Веер из крыльев летучей мыши — любимая игрушка моей подруги. Я же предпочитаю плетть. Плеть надо заслужить. Порки в прошлое воскресенье удостоилось всего четверо — трое юношей и я. Иметь собственного экзекутора — удовольствие слишком дорогое. Как правило, его нанимают. Но терпеть не могу, когда берут хлысты на прокат. Нет, я не уподобляюсь этим нищим, у меня есть свой, фамильный, с наконечником из собачьих когтей. Юноши флагеллировали обезьяньими хвостами. Гадость! От них только потеешь, хотя мои одноклассницы на площади сходят с ума. Потом не могут успокоиться, принимая яички муравьев.

Когда начались спортивные состязания — скачки с совокуплением в прозрачных мешках, я стала следить за одной парой новеньких: сначала они никак не могли устроиться: стоило партнерше чуть шире развести ноги, мешок натягивался и мог порваться, партнер же толкал бедняжку, как

ядро. Я ужасно хохотала, когда они, задыхаясь, начали показывать знаками, чтоб их развязали, ведь воздуха в мешке хватает на минуту и сорок семь секунд, максимальное время до финиша. Зато другая пара, — они уже тренируются вместе больше года, — опоздала на какую-то долю секунды. Я стояла у самого барьера, и мне хорошо было видно все-все. У финиша осветитель направил на них красный прожектор, и в этот момент партнер забрызгал мешок. Теперь столько развешено объявлений — новый набор. Скачки в мешках — самый популярный вид спорта. Неплохим результатом считается оргазм партнера на сороковой секунде. Но рекорд прошлого года — одновременный оргазм партнеров у финишной черты на тридцать четвертой секунде — все еще не превзойден. Правда, последствия были неприятные: спортсмены перегорели, мешок лопнул, как электрическая лампочка. Для участия в соревнованиях необходимо пройти комиссию. Хорошенькая фигурка, конечно, не последнее достоинство, но главное влажность, какой капризный этот прибор... Один тренер мне рассказывал, что некоторым новичкам стыдно входить голыми, и на первых порах они пользуются резиновыми масками. Также партнеров стимулирует, если девочка проворными пальчиками натягивает ему маску сама».

— Хватит, хватит, проснись! — Лера стала комкать углы Квадрата.

— Я что, спал?

— Да, ты уснул, там стучат мастера, мне страшно.

— Ну, не бойся, сейчас пойдём.

— Как ты весь истрепался. И волосы нужны новые, и брови...

— А по-моему, так тоже хорошо...

Над городом висели мощи телеграфных проводов, блестели мокрые птицы.

VI.

Дождевые капли клевали на подоконнике.

На бельевых веревках вертелись прищепки.

Красные и растрепанные, у прилавок давились облепихи.

Двое из глубоких рапанов только пригубили вино.

Собаки, служаки, писаки грызлись в очереди; очередь разлагалась с головы и плодилась с хвоста.

Потягивая из устья вино, она стояла лицом к колодцу, он — перед натянутым, как экран, письмом.

Над колодцем в небе появилась самая знакомая родинка, в письме были такие слова, что лучше бы закричал петух. Строчки болели падучей, запятые

торчали, как ложки, и не хватало носилок-тире, чтоб все это перенести.

Очередь метала икру. Выходящие яйца, оплодотворенные руганью и плевками, намазывались на ее бородавчатую спину, раздражали кожу, и складки принимали форму шестиугольных ячеек, вроде пчелиных сот. Когда они сверху закрывались крышечками, очередь замолкала. Это длилось недолго: скоро, прорывая ячейки, показывались руки и ноги новорожденных. Младенцы осматривались и становились в хвост. Тогда очередь переворачивалась, ложилась на спину и терлась об асфальт, стирая остатки ячеек. После линьки обретала свой привычный цвет: темно-бурый со спины и светлый с брюха.

Также глубина колодца не равнялась глубине письма, оно было мелкое и мутное.

Также посреди стола лежала поджаренная рыба, с пастью, застегнутой на ремень.

Человек-Час взял Лерину руку и через ее линию жизни перешел вброд. С левого берега ему хорошо был виден весь план, оставалось только уточнить масштаб, но он ничего не спросил. Указав на письмо, пожаловался, что оно не горит. От школьницы, дурочки, оно обжигало: «Ну, что, нашел себе подходящую самочку, если нет, желаю успеха!» — так начиналось. — «Вот тебе! хочу, чтоб ты истекал малофейкой и барахтался в ней! а меня Саша целовал в грудь!» — эти последние слова были бы самой дешевой ложью, но из-за гадкого, вполне человеческого имени Саши их не брали ни спички, ни газовая горелка. Середина — безобразная была про то, что Саша пришел к ней в гости, как раз когда дома никого не было, затащил ее в ванную и то ли на полу, то ли на табуретке, в общем... а когда она стала обзываться, то дал пощечину.

Ночью, когда устыца, смоченные вином, пересохла, Лера и Человек-Час устроили ложе из книг, которые больше не читали, вместо белья постелили писчую бумагу, легли и стали говорить друг другу:

— Ты сегодня на меня напяливался, как мой детский свитерок.

— Я люблю подробности твоего тела, твоей попки, живота, пупка...

Я не хотела об этом говорить, но расскажу, потому что больше не могу. Он — грузчик в любви, но я его ужасно захотела, особенно после одного вечера, когда в какой-то компании читала детские беспомощные стихи. Потом я о нем забыла, и вдруг он мне попался опять.



Стиль

Мы поехали в лес и там ходили босиком. На подстеленной куртке могло бы все произойти, если бы нас не спугнули.

— Мы вышли на солнце. А через час уже были дома, и его жена расстегивала легкий халатик, и я снимала туфли, и он снимал брюки. У нас с ним были одинаково грязные ноги. Я целовала его жену в губы, в лоб, в грудь, он называл нас то сестричками, то б... Воздухом он надул меня через рот, ее бил ладонями, она тихонько выла. Все, что он отдал мне, мы вместе раскатали животами, так тонко, как тесто. Потом он как-то рассказывал, что на

многих подружек жены сажает кляксы, но у нас было не так.

Человек-Час: Аквалерия. Я называю тебя полным именем, потому что вспоминаю, как в первое наше лето ты тихонько, чтоб не разбудить меня, вышла ночью в сад, оглянулась и села под кустик. И когда ты зашуршала, я положил тебя на ладонь, как ежика, и погладил, я положил тебя за пазуху, как щеночка, и погладил. Я перенес тебя через громадное шоссе, полное машин, и отпустил. Когда же ты вернулась из кустиков и мы легли, молочная река размыла твои кисельные берега.

Лера: У меня к и с е л е к , потрогай!

Человек-Час: потом ты уже не стеснялась, и я слышал твои задорные струйки, бьющие в тазы и ведра... Я пойду немного прогуляюсь, лучше всего мне пойти на вокзал.

Он достал из бельевого ящика белую майку, скомканную, словно снежок.

По пути к вокзалу увидел распухший, искусанный мухами глаз фонаря.

Солнечные лучи свили под крышей вокзала гнезда. Часы тикали рысцой.

Человек-Час: Экватор моего мозга, нарывающий шов, распоролся, и два полушария медленно, как льдины, стали отплывать друг от друга. Я провалился в пропасть и вместе со мной провалились: гамма до-минор, нога с порезанным большим пальцем, шея с накрахмаленным бинтом, ревность, бездонная пиз...ная женщина, каша с ошибками; из реки Конго, из двух разодранных половин червя, закапала в пропасть мутная жидкость. И когда все это провалилось, полушария вновь стали сближаться и ударились. Индийский океан больше не выкипал, и экватор стал заживать и покрываться коркой, и я запустил пальцы еще глубже, чем корни волос, чтоб эту корку расковырять. Солнечные зайчики хватались за что попало. Люди линяли.



Человек-Час: Я очень тебя люблю, Лера. Я знаю, когда зажигаются твои грудки-фонари, я знаю о местечке перед входом, оно такое мокрое, что даже лунатик проснется. Я никогда не спал под копирку, и я знаю, что говорить правду, значит без конца линять. Лера, на детских фотографиях твоя рука постоянно устремлена туда. Если ты заснешь, пока я вернусь, осторожно открою одеяло и увижу, что ничего не изменилось — твоя рука по-прежнему там. Я подглядывал за тобой в ванной сегодня и видел, твои губки были как две помятые тряпочки. Впервые за долгое время ты надела белую рубашку и, положив мне на плечи ноги, спрашивала смеясь: Кто я? Скажи, кто я сейчас? Ты немилосердно приставала ко мне, желая, чтобы я ответил что-то такое, что тебя сразу захлестнет, но я мог сказать только одно: Ты моя белая рубашечка. И когда у тебя с обоих плеч скатились лямки, я еще яростней зашептал: Ты моя белая рубашечка! И впервые все длилось недолго. Открыв окно, ты уткнулась мне в плечо и стала тихонько со мной болтать. Ты спросила, признавались ли мне в любви другие женщины. Когда я кивнул, но ничего не ответил, ты успокоилась, но потом я вспомнил, что одна девочка говорила про мои глаза синие-зеленые, я это сказал тебе, и ты загрузила.

И то, что твои трусики так легко поддерживали всегда, выпало вдруг и разбилось. И ты вскипела, а потом остыла, а потом у тебя на лице появилась пенка. И катились костлявые колесницы, из выхлопных труб машин выкатывались велосипеды.

Лера, когда ты несколько лет назад уехала, и я, проводив тебя, возвращался один, мне попадались кошки с глазами — электронными часами, с зелеными прыгающими двойками и восьмерками.

Линять, линять, линять!

Ты рассказала как-то, и я вынес, как вынес, впрочем, и сетку удушливых сушек, и прививки от Слабаны, все-все содержимое маленького гостиничного номера: ключ с деревянной грушей и твою наспех брошенную одежду на кривляющемся стуле и Его, человеческое имя которого ты почему-то скрываешь, но, собрав из всех пробирок, из всех луж, ран — кровь для него, — зовешь Кровь. Перешагнув, как через убитую, через свою юбку, очутилась в чужой семье сбитых вместе долек паркета.

— Иди скорей, — услышала его голос, — иди ко мне. — И подошла, и села на край постели. Если и хотела его, только с переносом. Хо — это открытый рот, это шерстяной звук, это где-то там, не на диване, а далеко-далеко, за границей подушек. А на подушках Чу! Значит тихо, значит нельзя, осторожно — Чу! А вместе Хочу, без переноса не сложилось, не составилось. Но все произошло, и я вынес, как

уже говорил, все под- и поверходеяльное. И не только... даже возвращение из гостиницы, когда в метро мальчик, сидящий напротив, расстреливал вас из ручного фонарика кругляшками света.

VII.

Лунная дорожка, острое лезвие пилы, перепиливала океан — луна раскачивала пилу.

Люди-палоло, присосавшиеся к берегу: женщины — губами, красными, мокрыми, распространяющими запах икры, мужчины — присосками, скорее походившими на грибы с коренистой ножкой и крепко сидящей шляпкой, — казалось, ползли на коленях.

Прилив смыл их в воду, и присоски стали всплывать на поверхность, собираясь в громадные розовые стаи, а тела, лишенные их, были выброшены на берег. Океан с розовыми островами напоминал обожженную кожу. Острова были подвижны: присоски палоло то выпрыгивали из воды, как рыбы, то ныряли, то всасывали друг друга. Наутро рыбаки, выловив эти полчища, соскабливали их с сетей и поедали прямо на берегу.

Квадрат сел на постель и перечеркнул одеяло, под которым лежала Лера.

«Зебб и Целочка жили. У Целочки были тоненькие ножки, короткое платье, смех, смех. Зебб — не готический, а с луковицей-вершиной обожал Целочку. Однажды она вошла без стука, задрала платье и упала на пол, он надавил на нее своей луковицей, полился сок, но Целочка не только не заплакала от луковичного сока, но засмеялась смехом: ах-хим-химмах. Зебб затвердел и опять надавил, но у Целочки там все было целостно, и она опять засмеялась. И так было всегда, потому что он ее любил, и она никогда не плакала от его луковичного сока, и глаза ее не были красными. Но однажды Честолюбие со стеклянными глазами, бешеное, укусило Зебба, и он захотел вместо норы из мха, огненных стружек — все бассейны, все мраморные полы, всех рыб, все глаза. И он позвал к себе в нору всех земных царей и лгал каждому ложь большой ложкой: “Для тебя, царь, хранила она чистоту, не было черной чесотки-похоти-хохота у входа”. И по желанию Зебба Целочка отдавалась всем готическим, всем заборам, всем разваренным макаронам, и цари озолотили Зебба. И Зебб на мраморный пол, где, как немые, открывали рты рапаны и выплевывали жемчужины, повалил Целочку, но теперь пленка у нее была из тонкого золота! И он бился своей луковицей, пока она не расплющилась, и впервые от луковичного сока Целочка заплакала. И тогда мужчина разбил стены, зажарил рыб, растоптал жемчуг. Он скитался много-много лет, пока из всего на-

копленного золота не вылил себе золотую луковицу, и только тогда пришел к Целочке и разбил ее щит, и ей было больно, и она плакала от боли, и было много крови. И когда он окреп и вновь стал наступать, он не встретил сопротивления — вход был свободен, и он попробовал еще раз — дверка сбита с петель».

— Расскажи мне что-нибудь страшное, только самое страшное, — попросила Лера.

В доме напротив, там, где светило окно, немец набивал своих тряпичных кукол металлическими стружками, гвоздями и булавками. Подводил им глаза, потом слюнявил красный карандаш и мокрым грифелем рисовал губы. И вся немецкая нация размалеванная, набитая валялась вокруг стула.

— Хорошо. Расскажу тебе о том времени, когда я дул на воду, и от моего дыхания, как от брошенного камня, расходилось только пятнадцать кругов. Срез на воде, срез на дереве. Но мне давали больше лет, кто семнадцать, кто двадцать, считая, что у меня не дыхание, а метла. Один друг пригласил меня к себе на дачу читать стихи. Было так много народу, что даже висели на лестнице. И было много женщин, мне тогда казалось, очень красивых и умных. Я читал долго, кажется, тогда хвалили, но это не важно, потом устроили ужин, а потом ко мне стали подходить и спрашивать, где я лягу спать, и женщины тоже подходили, и даже две самые красивые то ли серьезно, то ли шутя сказали: «Он, конечно, ляжет с нами, правда?» И когда меня уже куда-то потащили, ко мне подошел друг и шепнул: «Ну, все решено, ты ляжешь с...» И он назвал имя своей жены. «Как это?» — не понял я. «А вот так, — и он засмеялся своим милым смехом, — мы с ней договорились». И я пошел в комнату, на которую он мне указал. Там стояло две кровати. Я разделся и лег, у меня никогда еще не было женщины. «Неужели, — думал я, — она вот так придет, а я тут лежу...» Но она скоро пришла, совсем чуть-чуть пошуршала и затихла. Я ждал, мы не разговаривали, что же дальше, почему ничего не происходит, как встать и что значит «мы договорились». А вдруг она меня ударит или закричит, или заплачет, или рассмеется, что делать? Это была самая страшная ночь. Так ничего и не случилось. Когда уже стало светать, и я увидел, что она спит, я тоже заснул.

— Подуй сюда (Квадрат дует, срез воздуха наминает мишень). Чайные разводы на чашках — желтые круги под глазами, чашки немые с пьяными, вповалку сваленными тарелками, ножи вспороли, и к лезвиям присохла икра, пиджаки с вырванными рукавами танцуют с разутыми девочками, мужик-медведь положил к себе на колени худышку и бренчит на ребрах, скрутив ей руки-цензурыки.

— Ты никогда об этом не говорила...

— Я — среди лающих, червивых и красненьких маковых, среди поворотов и особенно среди стоп-

танных; я — звено многоугольника, но все идут и идут углы, вписываются в круг комнаты — завтра родительская суббота и на столе коробка с сахаром и свеча, свечка в картошке, свечка в яблоке, свечи — частоколы и верстовые столбы над едой мертвых, говорите тише, сидят-сидят старухи, заговариваются, а на улице скользко, гадко, как в носу. Помогите! Но мужик-медведь и рядом с ним близорукий закатывают брюки и показывают отросты на ногах. У одних похожи на шпоры, у других — на носики для надувания резиновых игрушек. На полу валяется сладкий, в комнатной пыли и в сухарях, и в перьях, сладкий без обертки, вываленный, кому нужен. Это целое племя, поэтому всем тонконожкам и смелым, и синеньким, как молоко, и сливкам они впускают одуряющую — кря-зря-враг-вра-ча! жидкость. Те со шпорами прижмут парочку, вонзятся, и парочке станет так сладенько, климат теплый, лошадки байковые, зубы-па-стила. А те, с наростами-носилками, откроют пробки — из ноги струя: больно, больно, страшно, страшно! Меня взяли трое в корзинку из рук: слюнявили, катали, пекли, пекли и запекли в пирог. И каждый по кусочку от пирога отламывает, и кто мою ногу, кто живот покусывает, а кто мой смех ест, а кто меня с щекоткой вместо приправы, а кто давится бусами моими, не верь никому, кто бы что про меня ни говорил, ни полым, ни полным, половыми щетками причесана, половыми тряпками укрыта, по всем полам ходила, половые доски задирала...

И сосут молочко тли, и распинают стекла на оконных крестах, и живут бритой жизнью, и умирают усатой смертью, и чуть разведенные ноги самой прекрасной с вставленным между ними большим пальцем — это всего лишь фиг... Но ручка той дамы из свиты императрицы Теодоры, мозаичная ручка с квадратом перстня! Я прошу, не гаси свет! Я хочу смотреть на эту ручку. И когда ты начнешь трогать меня, ручка дамы Теодоры отодвинет твою. Причастный оборот причащается всеми буквами главного, у всех ш п и л е к из «летучего эскадрона» есть молочные, есть уже коренные зубки там-там, где у меня их нет, и они отгрызают все корешки ленивые и неумелые. М а л ю с к а без зубов — это у меня. И поэтому ты и Кровь, и все бутылки и дверные ручки вертятся безнаказанно там-там. А ш п и л ь к и широко открывают ноги, разжимают зубы, зажимают в капкан и щ-щ-щелк!

VIII.

У Земли развязался пупок, и потихоньку сдувается Земля. И люди, города проваливаются в складки. Пупок охранялся кратерами вулканов и через них живот Земли дышал, но люди заткнули кратеры,



закатали, устроили аэродромы — пупок развязался. Пупок воздушного шара сторожит нитка, пупок бутылки — пробка. Завяжите, вы! Сдувается! И бегут, бегут, бегут и проваливаются в живот Земли, и тянут, тянут, тянут, и рвется кожа Земли.

И когда все провалились, прилетает вдруг, надувает своим воздухом, роднится с Землей, завязывает пупок на морской узел, на двойной, на простой.

Аппендицит Земли — в Средней Азии воспалился белым днем хлопковым, и вода в арыках загрязнилась и помутнела, арбузы затрещали и разорвались отрывками. Заморозка — месяц — шприц, звезды холодного пота выступили. Режут — разбегаются порезы трещинами-ящерками в полдень. Зашивают — иголка с ниткой бегаёт, орошает. И чистая-чистая повязка после операции — Тянь-Шань.

Лежим в теплой воде и снимаем губами ледяную клубнику с плавающих льдинок. Одними губами бык шлепал-целовал Пасифаю в горячее, и двумя пальчиками ввела Ариадна туда Тезея, но впустила сначала клубок, клубок-проводник раскатывался, указывая дорогу. А по другую сторону реки перекачивались волны океана, как большие белые барабаны, и лежала одежда на берегу всмятку. И при коронации великого подданного, торчащего из кармашка о-де-шосс, пел королевский ложожоп в тональности ля-мажор. Подданный Анри с любопытством вытягивал шею, но после двадцати четырех часов церемонии сморщился, съежился и втянул в себя ох...ю головку.

А на острове играли в карты. Партнеров было четверо: Квадрат, Кровь, Человек-Час и Лера. Квадрат позвал всю колоду, колода пошла. На четвероногих цифрах, похожих на больших насекомых, сидели короли: Анри, Поллукс, какой-то ряженный, непредставившийся и Наполеон. Они сидели на черной масти. На красной двигались дамы: толстушка Марго, НеФебея, Жозефин, НеЛаира. Тузы представляли собой передвижные дома, Было два оборотня.

— Это все надо перемешать, — сказала Лера.

И началась свалка. Восьмерки и шестерки, одетые в доспехи, защищали честь своих дам. Когда, гремя тяжелыми латами, они навалились друг на друга, зрелище напоминало совокупление черепах. Ряженный король плакал муравьиной кислотой, боясь, что его затрут. Широкоплечая семерка поддерживала оголившуюся ножку НеФебеи, которая в точности напоминала шею лебедя на гравиоре Валлоттона. Поллукс от давки так глубоко спустил в НеЛаиру, что та заплакала слезами его семени. В воде, у самого берега, вечные тюремщики-киты сидели за решетками и завидовали.

Квадрат: Ну, хватит. Раздавайте.

Козырь — черный треф крест содранный зарыли в песок.

Кровь: Жуткая картина! Все эти бумажные цветы, какие-то липкие конфеты, знаете, это мне напоминает кладбище. Давайте распустим.

Лера: Нет, нет. Мой ход.

К ней подошла восьмерка, то есть поставленная ребром оправа, через толстые, вправленные линзы которой хорошо был виден материк. Человек-Час нацепил восьмерку как очки и объявил всем: «Вижу человека, он размахивает газетой и указывает на небо». Восьмерка упала, линзы треснули.

Лера: Осторожнее, вы берете?

Человек-Час кивает, восьмерка становится за его спиной, на нее напяливается красный знак бесконечности, который подкидывает Квадрат.

Квадрат: Итак, мой ход.

Он выбрасывает две девятки с тяжелыми зобами. Кровь отбивается валетами: Приятным Другом и Догом.

Колода всколыхнулась. Живые карты были в чехлах, Когда Квадрат приподнял чехол, словно веко глаза, увидел, что там червовая Марго. Улыбнулся ей и снова натянул веко. Послышался ропот: под чехлами было жарко. Кто-то из колоды спросил: можно ли раздеться.

Кровь: Я не согласен, они превратятся в слизняков!

Квадрат: Вы сегодня страшно не сговорчивы. Конечно, разденьтесь.

Вся масса зашевелилась. Казалось, что ее копают. Разделись и успокоились. Из-под каждого чехла выпала кучка тряпочек, среди них были мундиры, парча...

Лера: Ненавижу парчу...

Квадрат позволил Марго отойти в сторону и раздеться, что было исполнено радостно и быстро. Но потом она не захотела по правилам отбиваться от вале-та — но на глазах у всех отдаться ему. Вышел конфуз.

Море у самого берега сделалось черным, как густой хлебный квас. Через несколько ходов «трупам» из кучки «бито» вздумалось загонять друг друга в воду и топить. Еще не сыгранные карты топтались. «Обратите внимание, — сказал Человек-Час, — эти карточные трупы к нам совершенно равнодушны, мне бубновая десятка чуть не отдавила ногу».

Лера: Давайте быстрее играть. Мне кажется, что у них под чехлами сплошные желудки, и они хотят съесть не друг друга, а нас.

Кровь: В колоде кто-то жульничает. Я видел, как одна карта вышла из середины очереди и встала в хвост.

Квадрат: Это вам показалось, ходите, все галлюцинации от жары.

Кровь: Да, нет, я в самом деле видел, идемте, поверим.

Поднимают чехол последней карты, оттуда взгляд злой, вытаращенный, как у креветки, и веки чавкают, как рот. Карта подпрыгивает, шлепается, одновременно со всех падают чехлы, и колода бежит на игроков, крича на своем языке. Они все голые, новые, атласные, они скользкие. В море поднимается пена. Квадрат изо всех сил напрягается и дует на нее, как будто море — это большая кружка с квасом. Кто-то берет щепотку соли и посыпает весь остров. «Пить, пить!» — кричат карты. «Пить!» — кричат игроки. И тут две дамы черной масти, как носилки, хватают Леру и тащат в другую часть острова. Там вповалку лежат с каких-то прошлых игр засаленные мятые карты с оторванными углами, с трещинами. Они смеются, у них порочные улыбки, улыбки разрезанных соленых огурцов, где, как желтые зернышки, торчат зубы. Голые дамы, не стыдясь, подходят ко всему месиву, останавливаются перед каждым, все по очереди прикладываются к их разведенным губам и утоляют жажду. «Не слышим, не слышим! — кричит весь сброд. — Громче!»

— Ну, — поворачиваются к Лере дамы, — говори же!

Лера при виде этой смятой своры: «Я...»

Из колоды выходит атаманша — прелестная пятнадцатилетняя трэфочка в цигейковой безрукавке. Она обнимает обеими руками Леру, а потом грозит пальчиком: «Говори, или мы тебя накажем — отдадим сумасшедшему!»

Свора, предвкушая зрелище, хлопает в ладоши.

Сумасшедший — это джокер, оборотень. Лера смотрит ему в глаза и видит, что они склеены из осколков разной величины и цветов, плохо подобранных, между зубринами есть даже крошечные черные дыры. И когда голый сумасшедший садится к ней на живот и собирает с себя поцелуи, которых не было, раскладывает их по разным отделениям портмоне, Лера смотрит ему в глаза и видит, что это не осколки, а просто намокшая бумага, которая расползается. Потом джокер убегает, но все время оглядывается, боясь, что после него останется в виде следов прилипшая к земле кожа. Потом он кричит: «Кочевники» и трясет дуб, с которого сыплются желуди в низко надвинутых шлемах. И карты перегибаются пополам, давясь от смеха.

— Говори, — визжит атаманша, — ну!

И все может кончиться тем, что она закопает Леру и в свежий земляной кулич воткнет козырь трэф крест, но в небе сначала едва-едва, как на коже, выступает пот, а потом капли обильно летят

на землю, и каждая, если не в песок, как в валежник, то звонко по железным крышам тузов: бл...-ть — бл...-дь-б...я, то есть то, что все хотели услышать от Леры, когда голые дамы-носилки утоляли жажду колоды.

Ночью дождь потрескивал, как поджаривающийся опиум.

IX.

Квадрат: Давай полежим вместе, иди ко мне.

Лера: Хочешь, я тебя причешу?

Квадрат: Не надо, иди сюда!

Лера: Ты не обижайся, что выбрали именно тебя, так нужно, это не смерть, просто в книге о тебе больше не будет ни слова, как будто бы тебя и нет.

Квадрат: Это не имеет никакого значения... Я хочу с тобой лечь.

Лера: Хорошо.

Легли на пыльный диван, жесткий, с пролежнями, похожий на старую лодку. Укрылись пальто.

Лера: Если хочешь, потрогай *меня*, хочешь?

Квадрат: Нет. Лучше бы разбили меня на два слога, и тогда после переноса смерть.

Лера: Я же говорю тебе, что это не смерть, просто ни на одной странице не появится твое имя, и ни один герой: ни я, ни Кровь, ни Человек-Час не вспомнят о тебе, а так ты будешь жить...

Квадрат: Где?

Лера: Смотри, как хорошо принялись мои волосы на твоей лысой капле, я тебя люблю... В том месте книги, где тебе будет необходимо ожить, неожиданно появится жирное пятно, или порвется страница, или буквы станут такими объемными, что их можно будет наполнить водой.

Квадрат: Почему меня не отравят или не задушат, а потом не похоронят, почему я вынужден блуждать, как проем двери, вне стен, вне дома...

Лера: Я не думала, что в этот день ты будешь таким злым.

Квадрат: Прости. Не надо было об этом говорить совсем, раз все уже решили. Я ведь просто хотел с тобой полежать.

Они долго лежали, а потом уснули, и сжатая вода вокруг раздвинулась среди ночи, как теплые длинные ноги Леры, и две волны поднялись, как колени, и между ними он погрузил свое весло, и тут же ноги сжали его упрugo.

Внутри Леры не было ни ветра, ни течения, и все замерло, и слышался только сводящий с ума звук, похожий на легкое шлепанье капель по воде, такой пли-плик.

К утру ее ноги устали, ослабли, и весло выскользнуло с этим капающим звуком.



Х.

— Если бы я была кошечкой, ты бы меня завел?

Зрочки Человека-Часа забегали по кругу и остановились.

— Какой бы я была?

— Только с голубой шерстью и желтыми глазами.

— Когда бы ты гладил меня, я ежилась и смеялась, потому что боюсь щекотки. А ты давал бы меня гладить своим приятелям, сажать на колени и тихонько ласкать?

— Да, мне это было бы приятно...

— А я сама бы ко всем ласкалась, кошечка должна быть ласковой... Посмотри, какой человечек, — говорит Лера, показывая на апельсиновую кожуру, — а если перевернуть, то похоже на кошачью шкурку... И все было бы не так. Ты ревновал бы меня, ревновал, а потом для своего спокойствия сделал бы из меня кошачью шкурку, и все...

Человек-Час гасит свет, склоняется над Лерой, говорит, и только зубы его блестят, как блесна.

«Открой свой словарь, свою в пушистом переплете книжку, с язычком-закладкой посередине, или я открою сам, разлеплю языком у самого корешка две пухлые половинки. И внеси туда на буквы «и», «п», «ш», «р» то, что я тебе еще говорил. Моя милая, как же я тебя люблю во всем старом и рваном, твои тонкорунные подмышки, как я люблю, когда ты задираешь майку, потому что не вставлен у тебя искусственный слоновий глаз, которым щеголяет на осмотре лотрековская рыжуха с Rue des Moulins. Я люблю твои спущенные чулки и заштопанные дырки, посаженную за решетку кожу, и то, что ты со взглядом гейши получаешь оргазм, как только я назову тебя ойран.

Я люблю твои безделушки, например то, что ты красишь ногти, а потом через пять минут соскребаешь лак; твои колготки, пахнущие сухариками, и то, что гумилевского «Жирафа» ты долгое время читала так:

Послушай: далеко-далеко на озере Чад
изысканный бродит журавль, —

и не признавала ошибку, пока я не принес тебе книгу.



Ночь

Я готов изорвать твой словарь, потому что читаю в нем то, что вносил не сам.

Например, я знаю, что Сенная девочка (так ты называешь ту, с которой валялась в Летнем саду и которую подстрекала прыгать голой через костер на Финском заливе), так вот она, лежа в спичечном коробке на Васильевском острове, курит и проектирует на потолок слайды, где ты в дубленке с грязноватыми разводами на рукавах, без шапки сидишь на дереве... сидишь на потолке и болтаешь ногами.

Я бы побил эту грязную девчонку, которая трогала тебя и которая только засыпая нажимает на кнопку проектора, и светящийся кадр соскальзывает с потолка, как оползень.

ХІ.

Ущипнула себя еще раз и проснулась. В длинной оранжевой рубашке выбежала из квартиры и спустилась на лифте.

Вместо привычной улицы увидела узкий, как в подъезде, коридор, который к тому же покачивался. Из-за поворота в короткой юбке, в стоптанных тапочках вышла девочка и сказала: «Подожди, посмотри сюда» — и достала из-за спины большое зеркало. И Лера вместо привычного отражения увидела, как растекается вода. «Это я?» — спросила, но не услышала своего голоса.

Прошмыгнул человек, попал в руку окурком, и рука зашипела. Девочка смеялась и проходила сквозь нее чуть-чуть ежась, не боялась утонуть, захлебнуться, закрывала глаза, а потом отряхивалась. Так они дошли вместе до самого дома. И долго стояли на пороге, потому что никто не открывал. Когда же Человек-Час открыл дверь, у Леры совсем не было сил, и он поместил ее в банку и заплакал.

...Ночь шла очень медленно, по крыше ходили люди, кошки и собаки.

А утром Человек-Час надел перстень и посыпал его снегом. Он поднес банку к губам и выпил Леру почти до дна, и только делая последний глоток — захлебнулся.

Продолжение следует.



Дмитрий МИЗГУЛИН



Дмитрий Мизгулин родился в 1961 году в Мурманске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского и Литературный институт имени Горького. Член СП России. Академик Петровской академии наук и искусств. Печатался в журналах «Звезда», «Литературный Азербайджан», «Молодая гвардия», «Наш современник», еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета» и др. Автор книг стихотворений «Петербургская вьюга» (1992), «Зимняя дорога» (1995), «Скорбный слух» (2002), «О чем тревожилась душа» (2003), «Две реки» (2004), «География души» (2005), «Избранные сочинения» (2006), «Духов день» (2007), «Новое небо» (2008), сборника рассказов «Три встречи» (1993), литературных заметок «В зеркале минувшего» (1997), книжки для детей «Звезд васильковое поле» (2002). Живет в Ханты-Мансийске.

* * *

Сухая и теплая осень.
Последние дни октября.
Сквозь кроны подоблачных сосен,
Дымясь, проступает заря.

Туманное небо высоко,
Но холодом веет уже.
Как тихо. И так одиноко
В осеннем лесу на душе.

Рябины тяжелые кисти
Мерцают в рассветном чаду,
И падают желтые листья —
Последние в этом году.

* * *

*Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.*

И. Бунин

Осенью поеду на охоту.
За окном вагона — ночь, темно.
И о чем когда-то думал кто-то,
Именуя это место — «Дно»?

Холодно. Туманно. Сыровато.
Стынет воздух в синей тишине.
Здесь отрекся русский император,
И помчалось лихо по стране...



Здесь теперь, конечно, все иначе.
Дом — без крыши. Церковь — без креста.
Но все так же птицы горько плачут,
Оставляя милые места.

Вот летят, летят нестройным клином
И курлычут горько журавли...
Господи, ужели нас не минет
Участь этой горестной земли?

Много есть похожего на свете,
Но судьба у каждого своя.
И осенний, однозвучный ветер
Все гудит-поет в стволы ружья.

Как же от беды нам уберечься?
Как же нам родных не растерять?
И ужели надобно отречься,
Чтоб из пепла праведным восстать?..

* * *

Дымится мгла морозного тумана,
И первый снег отяжелил листву.
И то, что было призрачно и странно,
Отныне проступает наяву:
Покатых крыш немые очертанья,
Высокой церкви черный силуэт,
А в небесах, под сводом мирозданья,
Далеких звезд лампадный, тусклый свет.
И на сто верст — ни недруга, ни друга.
И на сто верст — глухая тишина.
И в снежный мрак погружена округа,
Чуть теплится тяжелая луна.
И сколько мне еще в пути осталось
Брести среди заснеженных могил...
Когда-то Русь и пела, и смеялась,
А нынче даже плакать нету сил.

* * *

Привычный путь до отчего порога.
Сложилось так, не знаю почему,
Куда бы ни вела меня дорога,
Я возвращался к дому своему.
К той улице привычной и обычной,
Где тополя чуть слышно шелестят,
Где пьяницы печальные привычно
С утра за пивом в очередь стоят.

И где ветхозаветные старухи
Судачат вечерами под окном,
И где стучит назойливо и глухо
По радио суровый метроном.
Где все уже давным-давно известно,
Где все уже исчерпано до дна,
Где слышится одна и та же песня
Из каждого раскрытого окна.
Где в полутьме устало, неизбежно
Опять гремят ночные поезда,
Где светит, как последняя надежда,
Моя неугасимая звезда.

* * *

Ночью в город приходит весна.
Спят канала свинцовые воды,
Но, очнувшись от долгого сна,
Пробуждаются силы природы.

Тает снег. И светлей вечера.
Суеются веселые птицы.
У случайных прохожих вчера
Просветлели усталые лица.

Отчего же, скажи мне, друг мой,
В эти дни голубого апреля
Я теряю последний покой,
Становлюсь нетерпимей и злее?

Отчего же, скажи, иногда
Больно так от веселья чужого?
Отчего же внезапно тогда
Так бессильны и чувство, и слово?

Но когда заслоняют уже
Все на свете лихие печали,
Тихо музыка в стылой душе
Прозвучит, как в покинутом зале...

Остальное — не все ли равно?
Остального — не вижу, не слышу.
Опускаюсь на самое дно,
Поднимаюсь все выше и выше...

Геннадий КРАСНИКОВ



Геннадий Красников — известный русский поэт — родился в 1951 году в городе Новотроицке Оренбургской области. Окончил факультет журналистики Московского университета. Около двадцати лет был редактором альманаха «Поэзия» (вместе с известным русским поэтом Николаем Старшиновым).

Первая публикация стихов появилась в 1976 году в газете «Литературная Россия», затем в 1979 году — в «Литературной газете». В 1981 году вышла первая книга стихов «Птичьи светофоры». Автор поэтических книг «Пока вы любите...» (1985), «Крик» (1988), «Не убий!..» (1990), «Кто с любовью придет...» (2005). Книга верлибров «Голые глаза» вышла в Канаде (2002). В 2002 году выпустил книгу статей и эссе «Роковая зацепка за жизнь, или В поисках утраченного Неба».

Стихи Г. Красникова публиковались в престижных русских и зарубежных антологиях. Статьи и эссе по вопросам литературы, культурософии, истории постоянно печатаются в центральных журналах и газетах.

Доцент Литературного института им. А. М. Горького.

ИВАН КРЫЛОВ — АНЕКДОТ И ЧЕЛОВЕК

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Классическая и, казалось бы, давно украшенная хрестоматийным гляncем в русской литературе фигура Ивана Андреевича Крылова (1769–1844) на самом деле не так проста и однозначна. Великий баснописец — не такой уж благостный «дедушка Крылов», окруженный лисичками, муравьями, стрекозками, кукушками и петушками... Как всякий гениальный поэт (а таковым его считали и Пушкин, и Жуковский, и Гоголь), он был и остается в центре самых современных споров, когда вопросы касаются судьбы России, судьбы русской культуры, национальной самобытности нашего народа, истории, политики, нравственности.

Он до сих пор является непревзойденным мастером русского языка (неслучайно никто за все двести лет после Крылова не только не повторил его в басенном жанре, но даже и не приблизился к его уровню, можно сказать, он закрыл своим творчеством басенную тему, исчерпал этот жанр, подняв его на такую недостижимую высоту, до которой дотянуться

практически невозможно). По известности и популярности в народе, по бытованию в устной среде с ним, пожалуй, могут сравниться только Пушкин и Некрасов в XIX веке, а в XX — один Есенин...

Кстати, Александр Сергеевич, который писал во всех литературных жанрах, с появлением, например, сказки «Конек-Горбунок» Павла Ершова признал за новым дарованием первенство и сказок больше не писал. Являясь автором замечательных элегий, Пушкин все-таки поставил на первое место мастера элегической формы Константина Батюшкова и решил отказаться от написания элегий. А вот к басенному жанру даже не рискнул прикоснуться, настолько велик для него был непререкаемый авторитет Ивана Андреевича...

При этом Крылов одинаково востребован, одинаково уместен и всегда к слову как среди самого обычного народа, так и среди людей образованных. Крылатые слова и мудрость крыловских сентенций вот уже два века, что называется, ежедневно на язы-



Крыловъ.

Т-во „Просвѣщеніе“ въ Спб.

Крыловъ въ зрѣломъ возрастѣ.

(По фототипии Фишера съ оригинальнаго рисунка Кипренскаго, 1816.)

ке у академиков и государственных деятелей, у простого рабочего и крестьянина, у писателей и журналистов, у студентов и школьников...

Мы привыкли к тому, что Крылов приходит в нашу жизнь в детстве, мы читали в школе и заучивали наизусть знаменитые басни «Квартет», «Мартышка и очки», «Стрекоза и Муравей», «Кукушка и петух», «Волк и ягненок», «Лебедь, рак и щука», «Демьянова уха», «Кот и повар» и другие. Никому и в голову не могло прийти, что безобидный, по своему даже домашний, свойский, добрый «дедушка Крылов», как нам казалось и как его нам преподносили (соревноваться с ним по такой характеристике и наименованию — видимо, по аналогии, — допускали только другого сочинителя басен «дедушку Ленина»), может вызывать идеологическое раздражение и даже суровое неприятие и отторжение. Однако вот

что мы с удивлением и трепетом обнаруживаем в статье о поэте некоей В. Нецаевой (Литературная энциклопедия: в 11 т. М., 1929–1939): «Басни К. в начале XIX века, в эпоху преобладания дворянской критики, встречали сдержанную оценку и иногда даже упреки в грубости и нечистоплотности (Вяземский напр. ставил их ниже басен Дмитриева). Только представители буржуазной критики восторженно приветствовали талант К. и взяли его под защиту от критики аристократической (статья Булгарина, 1824). Позднее Белинский провозгласил К. “единственным”, “истинным и великим баснописцем”. Усмотрев в его баснях “сатиру” и “народность”, Белинский не вскрыл однако консервативной направленности этих произведений. Позднейшая буржуазная критика превознесла басни К. как достижение русской народной мудрости. С такой репутацией басни К. стали обязательным предметом дореволюционного школьного воспитания и обучения и вскоре стали рассматриваться как специфический педагогический материал. К. был отдан школьникам. Историко-социологическое изучение басен показывает всю опасность такого их использования в наше время. Представитель консервативного мещанства эпохи сословно-бюрократического строя, великолепный художник характеров, создававшихся этим строем, и удивительный мастер яз., К. ни в коем случае не может быть привлечен как моралист и воспитатель в стены советской школы».

Следует особо обратить внимание, что эта «комиссарская» по духу статья, с маузером в эстетической кобуре, напечатана в литературной энциклопедии — издании по тем временам официальном, идеологически выверенном, носящем без всяких оговорок директивный характер. Лыком в строку здесь приплетены даже классовые враги — «дворянские критики», у которых басни поэта «встречали сдержанную оценку и иногда даже упреки в грубости и нечистоплотности...». Сгодился для обличения и князь Петр Андреевич Вяземский, который действительно не раз в спорах со своим другом Александром Сергеевичем Пушкиным ставил баснописца Ивана Ивановича Дмитриева выше Ивана Андреевича Крылова, однако это ему не помешало написать самые высокие слова о поэте на его смерть и в том же некрологе объявить о сборе

средств на создание памятника, который и был открыт в Летнем саду 12 мая 1855 года. Да ведь и само крылатое, полное любви и почитания выражение «дедушка Крылов», так уютно и надолго прижившееся в народе русском, пущено с легкой руки того же Вяземского! Даже неистовый Виссарион Белинский, который, как увесистая дубина тенденциозной критики, столь дорог был большевистской пропаганде, не угодил новым идеологам, не посоветовался, видите ли, с товарищем Нечаевой, и «провозгласил К. “единственным”, “истинным и великим баснописцем”», к тому же «не вскрыл... консервативной направленности этих произведений».

Любопытно, что и современные оценщики, теперь уже с иного, казалось бы, прямо противоположного, либерально-демократического берега, никак не могут смириться со всенародной славой и любовью к Ивану Андреевичу Крылову, с тем, что эта слава живет более двух веков и, к их величайшему сожалению, не обещает и в будущем угасания и обветшания. Так, в своей развязно-ернической книге «Родная речь» прямые потомки бывших большевиков, а ныне продвинутые либерал-демократы А. Генис и П. Вайль, десятки лет проживающие вдали не только от «родной речи», но и от самой России, с нескрываемым раздражением пишут: «В безусловной, широчайшей славе Ивана Андреевича Крылова ощущается привкус второсортности. Эта терпкость — конечно, от оскомины, которую набили за два века крыловские басни. Однако и современники не все были в восторге от его произведений: весьма критически, например, смотрел на Крылова саркастический интеллигент Вяземский. Но он и ему подобные находились в явном меньшинстве. “За Крылова” были и Пушкин с Жуковским, и Булгарин с Гречем, и Гоголь с Белинским». Обратите внимание, что система доказательств (и тут сгодился князь Вяземский!) практически совпадает, хотя отрицание идет как будто бы по иной линии, дескать, «перекормили» русский народ Крыловым и только «саркастические интеллигалы» вроде Вяземского вкупе с никому не набившими оскомину «первосортными» Генисом и Вайлем (сообща с комиссаршей В. Нечаевой) могут по достоинству оценить, чего стоит эта слава и любовь народная!.. Генису и Вайлю, специфическим просветителям русских читателей в области знания «родной речи», явно не по нутру, что, как пишут они, «когда Крылов умер, последовало высочайшее повеление воздвигнуть ему памятник. Как сказано в циркуляре министерства просвещения, “сии памятники, сии олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до восточной грани Европы, знаменами жизни и духовной силы населяют пространство на-

шего необозримого отечества”. Крылову предстояло немедленно после кончины стать символом духовной силы, каким до него были признаны только три литератора: Ломоносов, Державин, Карамзин. Компания характерная. Основатель первого университета, реформатор русского языка Ломоносов, величественный одописец Державин, главный российский историк Карамзин. И с ними — автор стишков, по определению Гегеля, “рабского жанра”. Басенник...».

Ах вот, оказывается, что так смущает «характерную компанию» заморских и доморожденных «саркастических интеллигалов» всех политических мастей и окрасов!.. Так бы сразу и сказали! Не «ндрявица» им, понимаешь, что «высочайшим повелением» царской (ну, конечно же, темной для них!) России увековечена память одного из умнейших и гениальных умов Отечества, знаки уважения к которому объявлялись «знаменами жизни и духовной силы». Разумеется, о ТАКОМ нельзя говорить ни в советской школе, ни в сытом зарубежье, ибо «историко-социологическое изучение басен показывает всю опасность... их использования в наше время»... «Но почему же?» — спросите вы. Ответ современные оценщики русской культуры из-за бугра дают очень странный: «Потому что его басни — основа морали, тот нравственный кодекс, на котором выросли поколения российских людей. Тот камертон добра и зла, который носит с собой каждый русский. Такая универсальность Крылова ввергает его в гущу массовой культуры». Вроде как и похвалили «дедушку», но и сей же час бесцеремонно по собственной прихоти «ввергли» бедного старика «в гущу массовой культуры». На ложку лукавого меда у этих господ всегда приготовлена бочка их странного идеологического дегтя... «На языке мед, — говорится в таких случаях в народе, — а под языком лед!»

Думается, разгадка здесь в ином, в том, что никогда не нравилось «клеветникам России» ни в Пушкине, ни в Тютчеве, ни в Некрасове, ни в Есенине... А именно то, что Крылов был русский народный поэт. Неслучайно в культурологическом проекте «Русская цивилизация» одна из значительных работ посвящена именно Ивану Андреевичу Крылову и называется она весьма символично — «Консерватор вечного». То есть мы видим, что самое главное, чем ценен и важен вклад Крылова в русскую культуру, в русскую цивилизацию, — это именно его консерватизм, всегда, как мы знаем, связанный не с застоєм, как считают эстетствующие швондеры от большевизма и либерализма, а с неторопливой и несуетной, не поспешной мудростью народной, мудростью, взвешенной духом Священного Писания, любовью и терпением, милосердием и всемирной отзывчивостью. И тогда понятно, почему со всех нечаев-

ско-генисовско-вайлевских сторон вызывает такую свирепую ненависть именно КОНСЕРВАТИЗМ, почему именно природная и нравственная прочность, фундаментальность во взглядах на жизнь, государство, религию, патриотизм — так раздражают, если не сказать грубее — бесят! — оценщиков Крылова. В том же исследовании — «Консерватор вечного» — находим ответ этим лукавым игрокам на живом и вечном поле нашей «родной речи», которую этим игрокам честнее было бы назвать «чужая речь»: «Крылов (как и Пушкин) стал писать, по сути, новую — уникальную — книгу народного просвещения. И написал книгу вечную и неисчерпаемо-глубокую. Профессор российской словесности и ректор Петербургского университета П. А. Плетнев однажды сравнил басенный эпос Крылова с гомеровским: «Он каждому, и юноше, и мужу, и старцу, столько дает, сколько кто взять может... мудрость, доступная всем возрастам. Но во всей глубине своей она может быть постигнута только умом зрелым...» Как видим, каждому — да не каждому, а тем более где же наберешься на всех «просветителей» нецивилизованной России «зрелого ума»!..

Однако и Запад ведь до поры до времени не одними беглыми «саркастическими интеллектуалами» держался. Как говорится, «Генис brevis, ars longa»! За границей басни Крылова давно получили широкую известность. Уже в 1824 году в Париже вышел двухтомник его басен в переводе на французский и итальянский. А затем поэзия русского баснописца разошлась по свету на большинстве европейских языков. Вот, кстати, достойный образец, как Европе возвращается якобы у нее же и взятое. Только Крылов оказался знаменитей или, лучше сказать, современной своих достойных предшественников — Эзопа, Федра и Лафонтена... Во всяком случае, никто из них не стал народным поэтом. И тут есть загадка и тайна таланта Крылова, как народ принял в себя мудрость книжную, аллегорическую, будучи подготовлен к ней русскими народными сказками, в которых действующие герои тоже нередко взяты из мира животного, где фантастические и этические сюжеты воплощены в образе всех этих с детства знакомых волков, медведей, лисиц, ослов, петухов, ягнят и козлят... Так что все это так хорошо и удачно легло на русскую почву, и философские по сути притчи

и аллегории Эзопа поднялись на высоту народной этики и мудрости. Как писал о Крылове в своем некрологе П. А. Плетнев, «...едва понятно, как мог этот человек, один, без власти, не обладавший ни знатностью, ни богатством, живший почти затворником, без усиленной деятельности, как он мог проникнуть духом своим, вселиться в помышление миллионов людей, составляющих Россию, и остаться навеки присутственным в их уме и памяти. Но он дошел до этого легко, тихо, свободно...».

К слову сказать, на смерть Крылова откликнулись все европейские газеты. Гоголь в это время находился в Германии и о его смерти узнал из местных изданий...

Замечательно, что Крылов — один из немногих русских писателей, образ которого еще при жизни мифологизировался и становился легендой, чему немало способствовали и характер поэта, и его привычки, и внешний облик, и независимость, и популярность во всех кругах общества. Опять же, он опередил здесь и Петьку, и Василия Ивановича Чапаева... Правда, до него тем же путем прошли и Сократ, и Диоген, и многие другие философы, о которых еще при жизни слагались легенды (конечно же, он ближе историческим фигурам древних философов, о жизни которых читал в подлиннике, выучив древнегреческий язык в пятидесятилетнем возрасте, чему так искренне удивлялся Александр Сергеевич Пушкин и что само по себе тоже вошло в историческую крыловиану...).

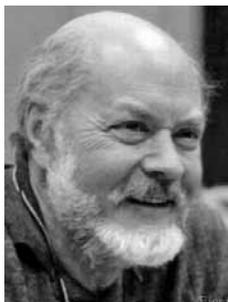
Достаточно привести здесь для примера хотя бы один из исторических анекдотов о поэте, чтобы увидеть во всей характерной полноте нашего отнюдь не простого «дедушку Крылова». Сохраняем в пересказе стиль этого анекдота: «И. А. Крылов служил библиотекарем в императорской публичной библиотеке и жил в том же здании. Как-то на лето императорская семья поселилась в Аничковом дворце. Однажды на Невском проспекте император Николай Павлович встретил Крылова:

— А, Иван Андреевич! Каково поживаешь? Давненько не видались мы с тобой.

Баснописец ответил:

— Давненько, Ваше Величество! А ведь, кажись, соседь?»

Лев АННИНСКИЙ



СЕРАПИОНОВА ДЩЕРЬ

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ТВОРЧЕСТВОМ МОЛОДЫХ

Если уже есть один, зачем еще так много миров?

Нина Сарапиан. Зеркала

Даже если не знать, что она родилась и выросла в артистической семье, что окончила музыкальную спецшколу, что с девяти лет начала концерттировать и собрала лавры на нескольких конкурсах, а еще к этой музыке добавить графику ее иллюстраций к рассказам, где блики неверных мерцающих тонов перекликаются с ритмом четких линий, и четкость эта вместе с бликами вибрирует на грани чего-то запредельного, воображаемого, невыразимого, выпадающего из обычной логики, — даже если не знать всего этого, — по любому рассказу Нины Сарапиан улавливается (помимо индивидуальной одаренности) ситуация «рубежа тысячелетий», с которого открывается то ли умопомрачительная перспектива для всего человечества, то ли белая бездна, в которой жизнь человечества потеряет не только смысл, но самую способность ставить вопрос о смысле.

«Страх суживает лоб до переносицы, и болит там, где фонарь у шахтера».

Оценили прием? Что страх — понятно: после века мировых войн оно неудивительно, но удивительно, как обозначено место, где коренится этот страх. «За переносицей». А там что?

Что там болит? И где это — «там»?

Примечательная локометрия. Фонарь у шахтера есть, значит, и уголь из земли добывают, и штольни освещены, и техника на высоте...

Только мозг — не прощупывается, не ощущается и даже не называется... «То место, где...» И есть, и нету.

А вот автобиографическое, совсем другого стиля: «Анджелотти родился в обычной семье, где все любил искусство...»

То есть: что есть семьи, где любовь к искусству определяет путь в жизни, — это теперь уже дело обычное.

К чему придет этот Анджелотти в своих умозрениях, мы скоро увидим. Это «обычная» мечта всех философствующих субъектов (не занятых элементарной работой), оказавшихся на историческом рубеже, с которого (по Гоголю) вдруг становится видно «во все концы света». В эти мгновенья возникают проекты перековки человеческого материала (новый Адам, советский человек, гражданин мира, носитель американской мечты...). Так что неслучайно «Анджелотти понял, что готов посвятить всю свою жизнь их изучению и развитию, чтобы стать новым человеком».

Этот Анджелотти — кто такой? Итальянец, наверное. А его приятель Ричард? Уже немного британец? А Дориан Морф? Или так: Тетраморф с Экскамбуром? Грядущее явно теряет национальные пределы и концентрируется в межэтнической дали — так что, едва не задохнувшись в этой разряженной атмосфере всемирности, я с некоторым даже облегчением читаю у Нины Сарапиан, что «некое грандиозное предприятие с уникальными возможностями самоликвидировалось, как государственная музыкальная школа, близ Араратской долины...».

Прежде чем понять, почему все это самоликвидируется, я успеваю оценить присутствие «богов места» и вспомнить, что армяне, разбросанные по миру и прикованные духом ко Всевышнему, никогда не переставали чувствовать, что они армяне и что есть Арарат; без этой черточки в спектре Нина Сарапиан потеряла бы ощущение той опоры, без которой и бездна не ощущалась бы как то, что наводит страх.

Бездна, конечно, интернациональна. Миров много. Герои Нины Сарапиан из этой этнопестроты устремляются в будущее, где все подтянется к высшей интеллекту-

альной мете. Ее герои — в собственном воображении — напоминают «научных работников с прикрепленными к голове датчиками» (хочется подначить: это там, где у шахтера фонарь?). Ах, если бы еще не маячил среди потомственных умников «унаследованный от дедушки единственный интеллигент во всем роду кудрявого Бедлингтон-терьера».

Вы знаете, что это такое: Бедлингтон? Собаководы — те знают... А что такое агромегалик? Так что я неспроста впарил локометрию в сарапианову ауру — там есть вкус к высококвипным словесам, и в этом тоже сказывается то, что Мандельштам от имени Данте усматривал у Адама: страсть «давать имена вещам». Нина Сарапиан распяливает эту неологистику в обе стороны — в светлое будущее и в проклятое прошлое: «Эта женщина хочет быть импресарио, но называет аппликатуру распальцовкой».

Куда же катится (или летит?) человечество — к божественной аппликатуры или к обезьяньей распальцовке?

Этот вопрос на протяжении всей истории буровит у людей то место, где у шахтера фонарь, теперь он встает наново у молодого поколения, из рядов которого, кажется, и вышла Нина Сарапиан. Никаких «химер» XX века они уже не подцепили. На их глазах оказался растоптан коммунизм, подмочена американская мечта, сами идеалы Просвещения озираются в поисках опоры под ударами обскурантизма, и традиционные религиозные системы селятся переделить границы будущих сфер мироохвата.

«Там не смотрят в глаза и заставляют называть отцом»... Как вам нравится в устах юной героини Нины Сарапиан эта характеристика католической церкви? А что скажет церковь таким прихожанам (захожанам — по наисовременнейшей терминологии)? Утром такой верующий перекрестится на храм, а вечером полезет в Интернет за руководством по взрывным устройствам...

Молодые люди, родившиеся в 80-е и 90-е годы в пределах

разваливающихся империй, получили в свое владение мир, полный цивилизационных рычагов — при полной атрофии чувства опоры.

Где там рычаги удовольствия, где спусковые механизмы? На какие рычаги нажимать?

Да на какие придется!

Человеческой истории не привыкать к тому, что каждое новое поколение собирается разрушить старый мир до основания, а затем... а затем найти (или не найти) оправдания средствам, если не рухнут цели. И всегда такие разрушители-пересокрушители ищут и в конце концов находят себе идеологические оправдания. В России — коммунисты, эсеры и т. д. Нынешняя же ситуация замечательна по абсурдности: молодежные революции следуют одна за другой; за неимением идейных принципов им присваивают «цвета цветов» (розовая, оранжевая, тюльпановая), и наконец «истина обнажается»: свой вклад вносят то юные вильнюсцы, то юные кишиневцы, которые громят все, что могут, вообще без внятных лозунгов, кроме одного, универсального: «все надоело».

Интересно, что может «надо-есть» юнцу пятнадцати-семнадцати лет — тбилисцу, кричащему «кмара!» («хватит!»), или кишиневцу, о чувствах которого одна прожженная специалистка заметила со смехом, что наконец-то бесчинствам юных не надо искать политических объяснений, потому что страсть к бесчинствам коренится в человеческой природе, а человеческой природе «все вообще осточертело».

Что именно осточертело?

У Нины Сарапиан есть попытка ответа.

«Впереди деревянная лестница, поднявшись на которую можно увидеть весь дом, а включив свет, озарить все уголки. Правда, выключатель находится слишком высоко».

Уловили библейскую аналогию? Лестница — в небо. Тут явно современное прочтение: мир обжит, как дом, и можно бы все это унас-

ледовать и жить... да выключатель недоступен.

В сущности — пронзительный образ мира, застывшего между катастрофами в плену вещей, смысл функционирования которых утерян.

Куда ни ткнишь — везде кто-то уже побывал, освоил, употребил, наследил. Глянешь на фонарь — да это ж почти что Гауди! Глянешь на силуэт — да это ж почти что Климт! Захочешь застрелиться — Шалаяпин тоже хотел. Заморозиться? Врубель. Ученый-химик родом из Тобольска цитирует стихи своего зятя (добавляя, впрочем, что дочь Люба была против мистики): «Гадай и жди среди полночи» — не хочется уточнять, что это за ученый-химик, что за стихи писал зять и кого еще ждала Люба, — сильнее всего действует сама атмосфера цивилизационной блокады. Мир стал похож на бомбоубежище: никуда нельзя отлучиться! И холодный кафель по стенам... И выключатель высоко...

И до того все обрыдло, надоело, намозолило душу, что выпрыгнешь в любое забрезжившее окошко подобно той собачке, чей трупик наутро уберет вместе со снегом уборочная машина.

Замечательный автопортрет поколения, которое в начале 90-х было «потеряно», а теперь выросло и пытается найти себя: ищет выключатель (это если речь об умниках) или окошко, которое можно высадить (если речь о простодушных братьях умников).

Итак, вот результаты психологической экспертизы.

Если вы хотите найти в этом хаотическом мире «что-то настоящее» — не надейтесь: если настоящее и существовало, то его давно нашли без вас.

Что остается вам? Или примеривать чужие роли, влезать в чужие оболочки («надеть на себя облик... ну хоть Петра Первого»), или вообще отказаться от поиска, выпасть из круговерти обликов, крутящихся вокруг.

Ибо все, что может дальше произойти, уже, в сущности, произошло. В каком-то другом про-

странстве. Миров-то много. Все многократно сдублировано.

Найти в этой ситуации что-то новое, или, как в старину говорили, создать «нового человека» — значит просто освободить прежнего человека от иллюзий. От ложных верований. От лжи повседневных заморочек.

В идеале — это значит научиться чувствовать ложь так же безошибочно, как мы чувствуем боль или холод.

Но поскольку это технически мало возможно, то нужно попытаться освободить от лжи хотя бы собственное сознание. Прошлый исторический опыт и так уже измолот до состояния трухи, он, этот опыт, когда-то стоил слез и крови, а нам достается — «пропущенный через балы и революции (хорошая пара. — Л. А.) от бабушек, переживших тонкость своих сложных времен».

Понятно? Бастилию взяли. Зимний взяли. Перекоп взяли. Берлин взяли. Да сколько же можно брать! Это что, бесконечно? Эти «тонкости сложных времен»?

А что если вместо всех этих тонкостей-сложностей представить себе сознание, от них вообще очищенное? И довести всю эту многотрудную историю до уровня последней простоты... до состояния застывшего слизистого моллюска, сидящего в черепной коробке? Мыслимо ли существование исчезающей мысли? Может же человек думать, что у него нет мыслей? Так думает он или не думает? А может, это он спокойно летает, держась за тоненькую мысль? То ли он здесь, на Земле, то ли на другой планете? Надо только научиться разбирать вещь или мысль до неузнаваемого начала. Уменьшить масштаб до простейшей универсальности, или, как шутят современные остроумцы, уменьшиться до размеров Вселенной. До понимания полной бессмыслицы происходящего, каковое понимание есть не что иное, как эффект соприкосновения с чудом.

Цифровая химия — это понятно?

Если вернуть эту химию с мистической цифири к облику привычных

для нас вещей (веществ), то картина современной реальности, как она предстает нынешнему молодому поколению, рисуется в следующем категорическом императиве — «всякую силу нельзя развить одновременно в двух направлениях». Только в одном.

«Анджелотти был очень удручен. Что же произойдет, когда его мечта сбудется и люди будут знать все, жить в другом пространстве и силой мысли влиять друг на друга? Не появятся ли тогда более страшные законы?»

Анджелотти чувствовал, что всепожирающих желаний не станет меньше даже тогда, когда люди будут все время жить в ясных снах, знать свое призвание, отличать настоящую любовь, открывать новые лекарства и все произведения искусства, которые когда-либо будут созданы. Кроме того, тогда больше не будет его любимой игры «Виселица».

Стоп. В моем поколении виселица ассоциировалась не с любимой игрой, а с вещами куда более серьезными. Но, отдавая должное юмору рассказчицы, я полагаю, что это у нее символ тоже достаточно серьезный. «Виселица» — последний символ будущего. А если этого избежать, то лишь отдавшись «всепожирающим желаниям»?

В рассказах Нины Сарапиан эта перспектива пропущена через ученые головы с датчиками. А если представить себе такое в головах веселых погромщиков, которым без разницы, какими идеями набьют их головы сопутствующие им теоретики, объявят ли их бунт коммунистическим, эсеровским, монархическим, демократическим, оранжевым, розовым или еще каким, — куда выпрыгивать от такого висельного веселья Истории? К какому пустынноку бежать?

Признаюсь, такие аналогии приходят мне в голову и по причине ономастических созвучий (в которых я склонен усматривать опять-таки мистический смысл).

Когда предки Нины Сарапиан семнадцать веков назад готовились

принять христианство, в египетской пустыне объявился и прославился тезка (почти тезка) ее пращуров Серапион. Прозвище его было Синдонит — по названию тряпицы, коей этот пустынный прикрывал наготу. Тем и был славен — как отшельник, инок, отщепенец, удалившийся от мерзостей повседневного бытия. На самом деле в пустыне он пробыл недолго, удалился туда по конкретной причине арианской смуты, дабы подать оппонентам пример благочестия, а до и после подвига успешно делал свои дела, занимая кафедры, в том числе епископские, и был, между прочим, одним из замечательных писателей своего времени; его тексты дошли до нас и попались на глаза знаменитому немцу Эрнсту Теодору Амадею Гофману. С легкой руки которого он и вернулся в сознание Нового времени уже как чистый мифический пустынножитель. Чем и поразил воображение слегка оглохших от революции и Гражданской войны молодых петербургских бунтарей, которые в 1919 году заявили, что они отменяют от себя политическую ложь и чрепослось всяких партий: коммунистов там, эсеров, монархистов и прочих, — а очищают свое искусство до полной отрешенности и присягают пустынноку Серапиону.

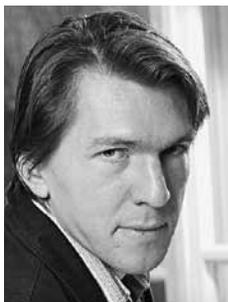
Коммунисты, эсеры, монархисты (как и троцкисты, бухаринцы, сталинцы и прочие энергичные отпрыски эпохи) продолжали дальше совершать свои деяния и переживать «тонкости сложных времен», сарапионовы же собратья пробовали очищать истину искусства и суть литературы от грязи и злобы дня.

Великие имена дало это братство: Всеволод Иванов, Вениамин Каверин, Михаил Зощенко, Николай Тихонов, Константин Федин...

Я обрисовываю эти давние контексты, чтобы пожелать Нине Сарапиан достойно продолжить великие традиции. Переключка имен да окажется символической. Главное, знать, где выключатель.



Дмитрий КОРЖОВ



Дмитрий Коржов — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1971 году в Перми. Окончил историческое отделение Мурманского государственного педагогического института, Литературный институт им. А. М. Горького (поэтический семинар Валентина Сидорова, затем — Валентина Сорокина). Член Союза писателей России.

Стихи переведены на сербский, публиковались в Сербии.

Книги стихов: «Ровеснику-отцу» (1992), «Тепло человечье» (1997), «Сербская тетрадь» (2000), «Любовь без правил» (2009), «Слова и паузы. Поэзия, проза, критика» (2005), роман «Мурманцы» (2008). В 2010 году увидела свет книга лучших интервью «Двадцать и один». Один из авторов трехтомного словаря «Русские писатели XX века. Прозаики. Поэты. Драматурги» (2005).

Стихи и проза публиковались в журналах «Роман-газета XXI век», «Московский вестник», альманахах «Братина» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Десна» (Брянск), «Странник» (Саранск), «Север» (Петрозаводск).

Работает в областной газете «Мурманский вестник». Руководитель областного литературного объединения.

Член жюри межвузовского литературного фестиваля имени Николая Гумилева «Осиянное слово» (2010).

«ЯВЛЯТЬ НЕЯВЛЯЕМОЕ»

В первую очередь, конечно, это ощущение, переживание. Очень яркое, которое воспринимаешь максимально остро.словно трещина по сердцу прошла — после такого и получаются настоящие стихи, поэзия в самом высоком, подлинном смысле этого слова. Так что, получается, поэзия — это переживание, явленное в слове.

Великий русский философ Алексей Федорович Лосев как-то заметил, что поэзия способна «являть неявляемое». Очень точно, на мой взгляд. Действи-

тельно, есть особые, потаенные вещи, которые не нарисуешь, не покажешь, да и словесно, «суровой прозой», определить их чрезвычайно сложно. Подчас невозможно. А поэзия о таких «неявляемых», едва уловимых нематериальных вещах говорит порой с поразительной точностью и глубиной. Не впрямую подчас, за счет недоговоренностей и неожиданного сплетения слов, но — очень точно. Чем и пленяет, и восхищает. Как волшебство. Как чудо.

Дмитрий Коржов

* * *

Мы вышли из СССР,
Из аббревиатуры косоротой,
Из облака больших и малых вер,
Бездомная и нищая босота.



Империя! Мы рождены тобой,
По-прежнему верны твоим законам,
Твоей крови, соленой и густой.
Твоим вождям. Твоим иконам.

Что ж, сверстник мой, живи — не трусь!
Мы — дети прошлой, славной эры,
Мы в школе заучили наизусть
Тяжелый шаг ее легионеров.

Нам танки расширяли кругозор,
Нам красный флаг казался в мир оконцем,
Пока какой-нибудь Кобзон
Нам пел об утомленном солнце.

Но я люблю ту странную страну,
Дыхание ее во мне не рвется.
...Как женщину далекую одну,
Которая ушла и не вернется.

Далекая песня

...Той песней далекой забыто, непрошено,
Кружком из винила кружа,
Поманит с собой красноезвездное прошлое,
Прижмет, и не сможешь сбежать.

От края до края вернется послушно
Бескрайняя наша земля,
Вернется, как в сказке, шестая часть суши,
Вернется и юность моя.

Вернутся запретные книги и речи,
Портвейн «Три семерки», «Агдам»,
И девичьи губы, и девичьи плечи,
И радио по проводам.

Вернутся советские милые праздники:
Салат «оливье», Первомай,
И первая женщина — тварь и проказница,
Без совести и без ума.

А там — девяностые — за поворотом:
Безденежье, смута и смерть,
И много свободы — до коллик, до рвоты, —
О лучшем и думать не смей!

А мне... Мне все хочется в прошлом остаться,
В том мире, теперь уж чужом,

Парадов, побед, громких слов, демонстраций,
С державным дешевым вином.

Где мы — перестройки шальная пехота —
Любились, рожали детей,
И не было смерти — там, за поворотом,
Одна лишь любовь, без смертей.

Черная трубка

Не скоро, но все же состарюсь:
Деньжонок поднакоплю,
Поэзию с прозой оставлю
И домик у моря куплю.

Там буду светло и безбедно
Свой нищенский век доживать,
О прошлом толкуя победно,
Устало и сладко зевать.

Большим стану, толстым, как груша,
Начну стариковски хандрить,
По праздникам водочку кушать
И черную трубку курить...

А все, чего сердце желало,
Что душу и грело, и жгло,
Сгорит, словно и не бывало, —
Без имени, властно и зло.

И все, что там было — в начале,
Исчезнет, как тот пароход,
Что только что был на причале,
А вон — уже в небе плывет...

* * *

Когда по-актерски глумливо
Поэта играет фигляр,
Все выйдет неладно и криво,
Глядишь, и петля — не петля.

Не ведая тени сомненья
На голубом глазу
Кривляется не Есенин,
А штатный базарный плясун.

Да, было — кабацкие драки,
Шальной хоровод Галь и Оль,



Покуда в божественном мраке
Мозги осыпал алкоголь.

Все минуло, кануло в Лету,
Жизнь сызнова не сверстать,
Но был он великим поэтом,
Фигляру — поэтом не стать.

Из цикла «Мурманцы»

1. Мурманск в 18-м году

...Ничего-то и не было, кроме
Порта, ждущего корабли.
Только ветер да черные комья
Каменистой, холодной земли.

Да и город-то был — на два шага,
На каких-нибудь там полплеча:
От Зеленого мыса к оврагу,
И — до Варничного ручья...

Но уже поезда неуклонно
В паровозном тягучем дыму,
В бестолковой горячке вагонной
Потянулись в колючую тьму

Наблюдать в простоте изначальной
Кольский ломаный окоем:
«Чемоданы», бараки, причалы —
То, что Мурманском станет потом.

2. Матросский клуб

Революция — страшная сила.
Что там спорить: «могла — не смогла»?..
Революция нам подарила
Интэнэшенал сименс клуб.

Вот куда, увольнение спроворив,
Сдернув с боцманского «ремня»,
Сыпет с «Чесмы», «Аскольда» и «Глори»
Расклевенная матросня.

Там французы, норвежцы, британцы,
Если пьют, так уж пьют — без вранья,
Там фартовые девки и танцы,
Синема и дешевый коньяк.

Ну а город — еще из пеленок
Только вывернулся едва,

Снегом, как сединой, убеленный,
На Семеновых островах...

Заметенные «мурманки» струны,
Все дороги — из снега и льда,
Зимний свет — еле слышимый, трудный,
И нечастые здесь поезда...

...Подгулявший с девицею штурман
Да английский патруль на углу.
Вот такой он — начальный Мурманск —
Всенародный моряцкий клуб!

3. Адмиралу Казимиру Кетлинскому

Словно кортик, прямой и острый,
Испытавший и бури, и штиль,
Он попробовал полуостров,
Как корабль, сквозь тьму провести.

Незавидная это работа —
В темноте детишек крестить.
Ни державы, ни веры, ни флота —
Сыплются, как песок из горсти.

Где вы, умницы-кондукторы,
Корабельные профессора,
Как без вас с океанским простором
Сможет справиться адмирал?

Русский флот погребен под откосом,
Вражьи слуги победу трубят,
Если собственные матросы,
Словно в тире, стреляют в тебя.

Страшно. Бес с краснорозетным прищуром
Взялся в салки с Россией играть,
Будет класть на нее с прибором
И гармошку на струны рвать.

«Чудище и стозевно, и обло...»
Суетливы шаги за спиной.
Револьверик недужно и подло
Плунет в душу свинцовой слюной.

И земля, накренившись устало,
Как корабль, поплывет из-под ног,
И притянет к себе, словно тралом,
На февральское, смертное дно.

г. Мурманск



Ян Мищенко родился в 1977 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище, работал санитаром, затем медбротом в реанимационном отделении московской больницы. В настоящее время является студентом шестого курса Литературного института имени Горького (семинар прозы Михаила Лобанова), работает в столичной школе с углубленным изучением иностранного языка, преподает литературу.

РАССКАЗЫ

Рисунки Анны Дудяковой

ХЛЕБ

— **Н**а, бать, закусить-то, — я протянул отцу кусок черного хлеба с салом и зеленым луком поверх.

— Ишь ты, хлеб-то какими ломтями нарубил, — упрекнул отец и отложил бутерброд в сторону.

— Большому куску, бать, рот радуется, — усмехнулся я, отрезал себе тоже хлеба и положил на него кусок сала. — Ну, бать, с праздником, что ли!

— С праздником, сынок, с праздником! — ответил отец.

Мы подняли стопки и выпили.

— М-м-м-м, хорошо! — блаженно прошептал я, дожевывая сало с хлебом. — Жалко только, хлеб черствый, да и кислый он, что ли, какой-то, не пойму!

Я брезгливо посмотрел на половину буханки, лежавшую на краю стола:

— А, бать?

Отец ничего не ответил, только прищурился и посмотрел на меня, едва улыгнувшись. К своему бутерброду он не притронулся, только взял сверху лук и, посолив его, медленно жевал, откусывая маленькие кусочки.

— Вот я как чувствовал, что не надо было у этого узбека хлеб покупать. Вообще магазин какой-то странный. Помещение маленькое, а товара! Все что угодно можно купить, от мобильного телефона до кильки развесной, — жаловался я отцу. И весь товар какой-то неизвестного происхождения!

— Магазин-то тот, который на первом этаже второго дома, самый крайний подъезд? — спросил отец и показал пальцем в окно.

— Ага, он самый! — закивал я.

— Хороший магазин.

— Бать, чем же он хороший?

— Все что угодно можно купить! — повторил отец мои слова и улыбнулся.

Мы выпили еще по стопке. Отец закурил.

— Бать, я форточку открою, а то надымишь сейчас.

Отец одобрительно кивнул.

Я открыл окно и полной грудью вдохнул майский воздух, который здесь, сегодня, мне показался особенно свежим. С улицы доносились детский смех и женская ругань.

— Эх-хе-хе, — вздохнул я, оглядывая двор из окна, — вон он, тот магазин, отсюда видно. Вон и узбек тот, продавец, крыльцо подметает.

Я снова сел к отцу за стол и разлил по стопкам.

— Я, бать, в магазин этот захожу, а передо мной дедок стоит, седой весь, а худющий, страх! Дунь на него — того гляди с ног свалится. В пальтишке каком-то куцем, а на ногах, слышь, бать, треники и тапки на босу ногу, местный, наверное, с вашего двора. Узбек у него спрашивает: «Вам, бабушка, чего?» У деда голос оказался такой ровный и уверенный несмотря на его хилый вид: «Полбуханки мне», — говорит и червонец, сложенный вчетверо, на прилавок кладет. Узбек червонец в карман, берет буханку, режет ее пополам и одну половину через прилавок деду протягивает, а тот не берет, говорит: «Что ж так неровно отрезал?» Узбек на меня покоился. То все улыбался ходил, а тут лицо сразу недовольное. Подумал и с азартом говорит: «Давай



©Дудякова Анна, 2011 г.



взвесим?» Дедок соглашается, головой кивает. Узбек кладет хлеб на весы, и точно, представляешь, бать, та половина, что он деду совал, меньше на четыре грамма! Четыре грамма, бать! Во глаз — алмаз! Узбек примолк, отдал деду большую половину и на меня смотрит, уже не такой любезный, как был раньше: «Вам?» Я говорю: «Давай ту половину, что дед не взял». Узбек предупреждает меня, мол, меньше она. «Ничего, — говорю специально погромче, чтобы дед услышал, — не страшно», и оглядываюсь на него. А дедушка смотрит на меня, маленький, сморщенный, жалкий какой-то, да еще со смешной такой большой родинкой на носу...

— С родинкой, говоришь? — перебил меня отец и заерзал на табуретке.

— Да, прямо на кончике носа! — ткнул я себя пальцем в нос, обрадовавшись, что отец наконец-то заинтересовался моим рассказом и теперь смотрел на меня, а не в окно.

— Да это ж Николай, Колька, друг мой, — отец засуетился. — А ну-ка, помоги мне, — обратился ко мне отец.

— Ты чего, бать?

Я помог ему подняться с табуретки. Мы подошли к окну. Отец облокотился на подоконник и посмотрел в окно. Он смотрел вниз из окна, словно кого-то выискивая во дворе.

— Колька, — произнес отец так, словно наслаждаясь, как звучит имя товарища, которое он так давно не произносил. — Бегаёт, значит, еще. — И наигранная детская зависть послышалась в его словах. — А мы ведь одногодки, да и осколок у него в ноге!

Отец направился обратно к столу, я было хотел помочь ему, но он отмахнулся:

— Да ладно.

Мы сели за стол. Отец молчал, задумчиво глядя в окно, наверное, о чем-то вспоминал. Я тоже молчал — не хотел мешать отцу.

Отец на этот раз первым поднял стопку:

— Ну, с праздником, сынок!

— С праздником, бать! За Победу!

Мы выпили, отец взял отложенный им кусок черного хлеба с салом и осторожно, подставив ладонь, чтобы не падали крошки, немного откусил. Он посмотрел на меня и серьезно отметил:

— Хороший хлеб. Совсем не кислый.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

Сергей ехал по пустой дороге знакомым маршрутом. «Третий дом слева от перекрестка, крайний подъезд справа, — повторял он про себя, оглядываясь по сторонам. — Вроде все по-прежнему, только дома потускнели, а деревья от старости развалились и тянулись ветками к земле». Над девятиэтажками угрожающе нависали новые высотки, напоминая им о том, что день их сноса уже близок. Сергей подъехал к одной из таких обреченных девятиэтажек. Он с трудом нашел место, чтобы припарковаться, еле-еле протиснувшись между машинами, заполонявшими и без того тесные дорожки дворов. Домофон не работал, дверь подъезда была открыта. Сергей вошел в подъезд, вызвал лифт и поднялся на седьмой этаж. На перилах висела маленькая консервная банка, набитая окурками. Он подошел к знакомой двери и нажал на кнопку звонка. За дверью послышались торопливые шаркающие шаги. Дверь приоткрылась, и он увидел небритое лицо старого друга Ивана.

— Здорово! — Ваня заулыбался, обтер руку о футболку и протянул ее Сергею.

— Привет.

Сергей переступил порог и оказался в крохотной прихожей, заставленной полиэтиленовыми пакетами и коробками. Он едва нашел место, где можно было встать.

— Да проходи, проходи, — Ваня потянул его за руку.

— Да у тебя и ступить-то негде! — Сергей окинул взглядом захлащенный коридор и улыбнулся в ответ.

Иван, кряхтя, отодвинул одну из коробок от дверцы небольшой тумбочки, достал стоптанные, в кошачьей шерсти тапки и бросил их под ноги Сергею.

— Давай раздевайся, заходи, — сказал Иван сквозь кашель и, махнув Сергею рукой, сгорбившись, пошел на кухню. Сергей поставил портфель на одну из коробок, снял пальто и повесил его на крючок ря-

дом с прожженным в нескольких местах пуховиком. Поверх пальто накинул кепку.

Журчала вода. Ваня мыл посуду. На кухне было прибрано. Над столом висела узенькая полочка. На полочке стояли небольшая иконка с изображением Иоанна Богослова и свеча в подсвечнике из желтого металла, темного от времени. Подсвечник был самый что ни на есть обыкновенный, но из-за того, что на вид ему было лет сто, не меньше, он притягивал внимание. Сергей аккуратно взял его, чтобы поближе разглядеть. Пальцы скользнули по запекшемуся воску на подсвечнике, и он чуть не выпустил его из рук.

— Электричество стали часто отключать, раза по два за неделю, — объяснил Иван, вытирая руки о полотенце, висевшее над раковиной, по виду давно не стиранное. — Вот, долгими зимними вечерами свечка выручает.

— Я так и понял, — сказал Сергей и, поставив свечу на место, сел на табуретку и снова посмотрел на иконку. — А почему именно Иоанн Богослов?

— Да я и не знаю. Мать была жива — принесла вот, поставила, так и стоит. Вроде как имена у нас с ним похожие.

— Давно Людмила Ивановна умерла?

— Два года назад. Неделю не дожила до шестидесяти. Пятьдесят девять лет...

Они оба молчали.

Сергей хорошо помнил Людмилу Ивановну, Ванькину мать — полную, невысокую женщину в больших очках, которые, несмотря на их допотопность, не портили ее симпатичного жизнерадостного лица. Людмила Ивановна сидела за этим же кухонным столом на своем любимом месте, у окна, когда они с Ванькой приходили поддатые с гулянки. «Привет, мам! Здравсте, тетя Люсь!» — кричали они с порога. Людмила Ивановна выходила им навстречу: «Привет, привет! Ой, а духан-то какой! Хоть закусывай!» — говорила Людмила Ивановна, целуя в щеку сына. Ванька старался не дышать. «Мам, а можно мы с Серегой посидим немножко, поболтаем?» — говорил Ванька своей матери и аккуратно, чтобы бутылки в сумке не зазвенели, пробирался в свою комнату. Серега за ним. «Ладно, ладно, только в комнате не курить!» — «Не будем!» — уже через закрытую дверь своей комнаты кричал Ванька, плюхаясь на диван. Людмила Ивановна возвращалась к своему кроссворду. Ванька с Серегой пили пиво, слушали музыку. За окном темнело, а они все сидели и сидели. Иногда они выходили курить на кухню. Тогда Людмила Ивановна откладывала в сторону журнал и беседовала с ребятами. Она могла разговаривать с ними о чем угодно. Она наблюдала за своим сыном: расхрабравшийся от принятого

алкоголя, он уже не стеснялся своей матери, курил, гордо выдыхая дым вверх, и по-мужски жарко спорил о чем-то с Серегой. В такие моменты Людмила Ивановна не встревала в мужской разговор и только изредка, когда ребята начинали уж чересчур жестикулировать, ловила Ванькину руку, прижимала ее к своей руке и, поглаживая ее, шептала ему чуть слышно: «Тихо, тихо, сынок». Серега замечал, как взгляд Ванькиной мамы становился напуганным, и старался прекратить спор или просто замолчал и отворачивался.

Сергей встал из-за стола и подошел к окну. «Все как прежде, — думал он, — только вот снега в ноябре с каждым годом становится все меньше». Друзья молчали, и обоим было неловко за это молчание. Сергей смотрел в окно, а Иван сидел за столом, положив руки на колени, и смотрел перед собой.

— Сейчас! — вдруг сказал он и вышел с кухни. Сергей оглянулся на него, но как только Иван исчез, опять принялся разглядывать едва запорошенный снегом двор. Он слышал, как Иван хлопал дверцами шкафов в комнате за стеной и что-то бормотал при этом. Через несколько минут он вернулся на кухню: «Сейчас, сейчас!» Сергей наблюдал, как Иван что-то искал, то подставляя табуретку и заглядывая на верхние полки, то, наоборот, ползая на четвереньках, исследуя нижние ярусы кухни и постоянно подтягивая штаны.

— Вань, а Вань, ты чего ищешь-то? — спросил Сергей, скрывая улыбку.

— Да сейчас... Где-то у меня было здесь... Черт ее знает, куда делась! Ведь вот буквально на днях... Черт ее знает!

Сергей подошел к Ивану, положил руку ему на плечо:

— Вань, я за рулем. Не стоит.

Иван медленно закрыл последний открытый им шкафчик, посмотрел Сергею в глаза и как-то неестественно засмеялся:

— Ну, тогда чай или кофе?

— Давай чай.

Сергей опять взглянул на иконку, подаренную Ваньке его покойной мамой.

Ваня поставил на стол пару чашек, заварочный чайник, сахарницу.

— Сейчас закипит. — Иван присел рядом с Сергеем. — У меня, правда, и к чаю-то ничего нет, наверное. — Он вскочил с табуретки. — Сейчас что-нибудь придумаем.

Иван достал из холодильника початую пачку «Юбилейного» печенья, масленку с пожелтевшим маслом. Они сидели молча. Свист чайника нарушил тишину. Когда свист из жалобного перешел в надрывный, Иван снял чайник с плиты и поставил его



©Дудякова Анна, 2011 г.

на стол, подставив под него черную металлическую подставку на коротких гнутых ножках.

Они мазали слегка подтаявшим маслом хрупкое печенье. Печенье ломалось, роняя крошки на стол. Сергей аккуратно собирал крошки ладонью на столе в маленькую кучку, а Иван будто бы невзначай смахивал их на пол.

— Как там Наташка? — спросил Ваня и, сделав первый глоток горячего чая, отставил дымящуюся кружку. Сергей тоже отхлебнул из кружки.

— Нормально. В декрете сейчас.

Иван, пытаясь скрыть удивление, посмотрел на Сергея. Их взгляды встретились, и он отвел глаза.

— Второго ждем, говорят, девочка будет, — объяснил Сергей

— Поздравляю, — сказал Иван, встал из-за стола и подошел к окну. — Значит, как говорят, полный комплект у вас теперь — девочка, мальчик?

— Получается, так.

Сергей тоже подошел к окну и встал рядом с Иваном:

— Ты за Наташку-то зла на меня не держи.

Иван молчал.

— Ты же понимаешь... — продолжил было Сергей, но Иван перебил его:

— Понимаю, понимаю. Я начал понимать, когда вы первый раз ко мне в часть приехали вместе, за полгода до дембеля. — Иван посмотрел на Сергея: — Я же видел, как вы от автобусной остановки до КПП шли с ней, за руки держались, а как КПП прошли — уже будто бы врозь. Я видел, Серега! Эх, ладно, — Иван махнул рукой, — жизнь есть жизнь. Я сначала на Наташку злился, потом на тебя, а потом просто завидовать вам стал. Ладно, все в прошлом.

Ваня подошел к столу:

— А что ж мы чай-то не пьем? Остыл уж, наверное?

Он взял кружку и жадно отхлебнул из нее.

— О! Так и есть! Сейчас горяченького подолю.

Иван взял чайник и хотел поставить на плиту, но Сергей остановил его:

— Не надо, Вань, пора мне. Дел еще сегодня много.

Иван медленно опустил чайник обратно на стол.

— Ну как знаешь.

Сергей направился в прихожую. Иван за ним.

Он стоял и смотрел, как Серега спешно одевается, и изредка заискивающе заглядывал ему в глаза. Когда тот оделся, взял портфель и протянул руку, чтобы попрощаться, Ваня робко спросил:

— Серег, а ты не привез, что я просил?

— Ах да, конечно! А я забыл, зачем приехал. Сейчас бы так и ушел. Конечно, привез! — Сергей достал из портфеля пачку зеленых банкнот и протянул ее Ивану. — На, держи. Пересчитай.

Ваня взял деньги, махнул рукой и, не пересчитывая, сунул в карман.

— Спасибо, Серег! Через пару месяцев отдам, максимум три, — говорил Ваня, сжимая Серегину руку.

— Да ты не торопись, Вань, как сможешь — так отдашь.

Сергей попытался открыть дверь:

— Как она тут у тебя открывается-то?

— Давай я, Серег.

Ваня протянул руку к двери, отстраняя друга, шелкнул замком. Дверь открылась. Серега вышел. На лестничной клетке пахло жареной рыбой. Ваня глубоко вдохнул и заулыбался.

— Пока. Созвонимся, — сказал он и, помахав рукой, захлопнул дверь.

Сергей нажал на кнопку. Через минуту двери распахнулись, и он зашел в лифт. Ему в нос ударил резкий запах мочи. «Все загадили!» — подумал он и нажал на первый.

ПЕС

Я ехал извилистой широкой тропой парка. К запачканным колесам велосипеда приставала листва и терлась о крыло, неприятно шурша. Остановившись у первой попавшейся скамейки, я подобрал ветку и, сев на скамейку, стал аккуратно, чтобы не испачкать руки, скovyривать комки грязи и прилипшие листья

с колес и рамы велосипеда. Вскоре велосипед был очищен, но крутить педали было уже лень. Солнце приятно припекало и слепило. Я прищурился, а потом и вовсе закрыл глаза, откинулся на спинку скамейки и вытянул ноги. В голове звучала какая-то старая мелодия, и я ей в такт стучал веткой по ска-



мейке. Я сидел и наслаждался последними теплыми деньками. И даже мысль о том, что до дома еще около часа пути, не мешала расслабиться. Вдруг за ветку кто-то потянул, рыча и повизгивая. Я открыл глаза. На меня снизу вверх, исподлобья, смотрел небольшой черный пес с белым пятном на спине и махал хвостом. Он вцепился в ветку зубами и, упершись всеми четырьмя лапами в уже пропитанную дождем осеннюю землю, тащил ее на себя.

— Моя палка, — будто сердито прикрикнул я и дернул ветку на себя. — А ну отдай!

Пес немного подался вперед от моего рывка, но ветку не отпустил, а только сильнее зарычал, не спуская с меня глаз.

— Сдалась тебе моя ветка! Вон, посмотри, сколько их валяется, выбери себе любую, — сказал я и показал рукой себе под ноги.

Земля была усыпана красно-желтой листвой и сухими сучьями. Пес повел глазами за моей рукой, но через секунду опять уставился на меня и даже чуть громче зарычал. Я перехватил ветку в правую руку, наклонился поближе к собаке:

— Отда-ай, — тихо сказал я и слегка щелкнул пса по носу пальцем.

Пес, видимо, от удивления, перестал рычать, призадумался и звонко гавкнул. Я успел вырвать ветку, но он тут же опять ее схватил. Я покачал головой и, улыбнувшись, похвалил пса:

— Ух ты какой ловкий! Охотничьей породы, наверное?

Пес перестал рычать, присел на землю, не выпуская из пасти палки и продолжая смотреть мне в глаза.

— Мой дед был охотником, наверное, что-то все-таки передалось по наследству — произнес пес, выпустив из пасти свой конец палки. — Только ты не подумай, я не хвастаюсь! Просто это действительно так.

Я удивленно посмотрел на небольшое животное, из пасти которого только что услышал человеческую речь.

— О! Ты разговаривать умеешь? — спросил я и отбросил ветку в сторону.

Пес было дернулся бежать за ней, но быстро передумал и опять принял важный вид:

— Тебя что, это удивляет? — сказал он и подошел поближе. — Меня же не удивляют ваши собачьи наклонности!

— Это, какие же, например? — с улыбкой поинтересовался я

— Ой, вот давай об этом не будем! Мы же только познакомились, а ты уже... Да и сам ты как будто не знаешь! — пес почесал за ухом, и мне показалось, что он в это время улыбался.

— Вот только не надо всех одним аршином-то, — ответил я, раздражаясь.

— Так и собаки не все говорящие, верно? — перебил меня пес и уже явно, искренне улыбнулся. Зубы у него были белые и ровные, особенно клыки.

— Вообще-то да, — отступился я. — Тебя как зовут-то?

— А зачем тебе?

— Ну... — Я удивленно посмотрел на пса. — ...для знакомства.

— Я в смысле — смотря для чего. Если накормить хочешь, то зови, как тебе нравится, я на любую кличку отзовусь, не гордый. Вот, например, знаешь кулинарию, что на пересечении Паустовского и... как ее... Голубинской?

Я кивнул, хотя даже не имел представления, где находятся эти улицы.

— Так вот, каждое утро, около восьми, хозяин приезжает на старом «москвиче», мясо привозит. Так вот, этот хозяин кулинарии, его Айваром зовут, не знаю, кто он — чеченец, абхаз, армянин ли, все равно мне, зовет меня Дудука. И я знаю, что когда он произносит это неприятное на первый взгляд иноземное имя, то у крыльца кулинарии меня ждет миска сочных свиных хрящей. — Пес встал на все четыре лапы и стал кругами похаживать около моих ног. — Во! Даже в брюхе заурчало!

Я усмехнулся.

— А вот, например, у гаражей, — продолжил пес, — у пятнадцатого дома, за детской площадкой, каждую пятницу вечером мужики пиво пьют с копченым палтусом — все шкурки мои! Вот только после палтуса язык и небо очень чешутся и зубы липкие, но это ерунда. Мне палтус нравится. Он вообще-то жирноват для собаки моего возраста. У меня после него печенка ноет, ну да ладно. Так вот, там, у гаражей, мужики меня Тобиком зовут. На мой взгляд, простовато, конечно, для меня, да? — спросил пес, но ответа не услышал. — Но терпеть можно. Ну да ладно, ничего не поделаешь, собаке собачье имя! Зови меня... — Пес задумался.

Поднялся ветер и взъерошил моего собеседника. Я обратил внимание, что шерсть его длинная и ухоженная.

— Будет дождь. — Ветер отвлек пса от размышлений. — Вон уже и тучи несет. — Он задрал голову и смешно пошевелил большим черным носом: — Но ненадолго, так, побрызгает да перестанет. Но мокнуть все равно неохота. — Он огляделся вокруг и указал мордой в сторону растущей неподалеку раскидистой ели. — Вон, давай под елку.

Я взял велосипед и покатил его под дерево, пес — за мной. Как только мы скрылись под навесом, стали падать первые тяжелые капли, и вскоре весь лес



©Дудякова Анна, 2011 г.



зашумел дождем. Пес присел к стволу, прислонившись боком, а я — на небольшое бревно, оставленное кем-то после пикника. Мы сидели, молчали.

— Знаешь, — неожиданно начал пес серьезно и грустно, — когда идет дождь, я часто вспоминаю своего деда. Он жил у одного старого моряка в небольшом одноэтажном доме прямо на берегу моря. Моряк был не прочь выпить и засиживался в кабаках, а дед мой всюду за ним таскался, он очень его любил. А под вечер моряк чуть не на четвереньках приползал к своему дому, где его ждала жена. Она была очень злая женщина, но моряка боялась и поэтому смиренно раздевала пьяного мужа и укладывала спать. А моряк брыкался, бил ее по лицу крупными мозолистыми руками и орал что-то на немецком языке. Потом, отпихивая жену, вскакивал с кровати, шатаясь и спотыкаясь, бежал в чулан, отбрасывал в сторону занавески и вываливал с полка все на пол. Моряк кашлял и рычал, и на пол летели какие-то зеленые пузырьки, тряпицы, книги, мотки веревки, колоды карт и еще много чего. Жена садилась на лавку у двери, тихо сидела, стараясь даже не смотреть в сторону озверевшего мужа, и ждала, когда он успокоится. И вот моряк, затихая, доставал откуда-то из глубины темного чулана синий мешочек. Он непослушными пальцами развязывал узел и доставал из мешка деревянную трубку и коробочку с табаком, открывал коробку и, рассыпая табак на пол, набивал трубку, трамбуя табак толстым желтым пальцем, будто небольшой ступкой. Потом он садился на пол, брал трубку в зубы и, чмокая, словно он курит, засыпал, не выпуская трубки изо рта, свесив голову на грудь. Тогда моряк окончательно успокаивался. Он раскатисто храпел, вытягивал вперед сжимающие трубку губы и шевелил густыми седыми усами. Как только моряк засыпал, жена собирала разбросанные им вещи, покрывала спящего мужа шерстяным одеялом, что-то недовольно бубня себе под нос. И тут-то мой дед, который уже спокойно подремывал на теплом половике, свернувшись калачиком, попадал под горячую руку этой злой женщины. Она с остервенением, но тихо, чтобы не разбудить мужа, пинала моего

несчастливого деда, гоняла его по комнате и, в конце концов, вышвыривала из дома. Оказавшись на улице, дед брел к берегу моря и, сидя у самой воды, выл на луну, а если шел дождь, то он забивался под небольшой куст шиповника, который рос неподалеку от дома моряка, и старался заснуть, слушая шум дождя. И все это повторялось изо дня в день. — Пес тяжело вздохнул.

— Откуда ты знаешь про своего деда? — спросил я.

— Да мать рассказывала, она любила вспоминать о своих родителях.

Дождь кончился. Мы выбрались из-под ели, но скамейка была мокрая, и я не стал садиться, а просто стоял рядом, держа велосипед за руль. Пес обежал вокруг скамейки, пометил ее, затем пометил ель, под которой мы прятались от дождя, и снова подбежал ко мне.

— Ладно, пора и об ужине подумать, жрать уже охота. Сегодня пятница, там, у гаражей, мужики собираются. Пойду я.

— Ну, счастливо тебе! — с улыбкой попрощался я. — Может, еще увидимся.

— Все может быть, — пес улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, — будь здоров!

И пес побежал, подергивая хвостом.

— Эй, погоди! — крикнул я вслед ему.

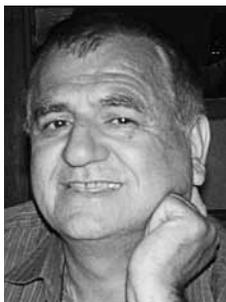
Пес остановился и оглянулся. Я вытащил из кармана завалывшуюся конфету, развернул ее и бросил собаке. Пес, не нюхая, схватил ее пастью, но чуть пожевав, выплюнул:

— Суфле... Нельзя мне, — сказал пес и хотел было снова бежать, но остановился. — Ты... это... извини меня, наврал я тебе, не охотничьей я породы, а вернее, вообще беспородный — дворняга, да и предков я своих вообще не знаю. Ты уж прости меня! — Пес виновато опустил морду, поскребывая когтями выступающий из земли еловый корень, потом посмотрел мне в глаза и побежал. Вскоре он скрылся из виду.

Я посмотрел на часы. Надо было выдвигаться в сторону дома, чтобы вернуться засветло, да и действительно, уже хотелось есть: я же сегодня без обеда.



Александр ЧЕТАТЪЯНУ (Румыния — Канада)



Александр Четатьяну (Alexandru Cetateanu) родился в 1947 году в Румынии. Когда воцарился режим Чаушеску, уехал в Канаду, где и живет по сей день. Cetateanu на английский язык переводится как citizen («гражданин»), на французский — citoyen («гражданин»); именно поэтому его псевдонимы — Alex Citizen и Alex Le Citoyen («гражданин Алекс»).

Редактирует литературный журнал *Destine Literare* и возглавляет ассоциацию румынских писателей-эмигрантов *Scritorii Români* (www.scritoriiromani.com).

Среди публикаций — «Румын в Канаде» (*Helios*, 1995); «Канада — гиперборейская страна» (*Antim Ivireanul, Vâlcea*, Румыния; *Langues et Cultures Européennes*, Франция, 2004, 2005), «Иностранец в Америке» (*Junimea*, 2007), «Из толкований Геродота — поэзия» (*Orient Occident*, 2009).

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ?

Для меня поэзия — музыка слов; каждое стихотворение — это музыка, в каждом стихотворении есть свой напев и послание, которое нужно суметь прочесть. Некоторые стихи в конечном счете становятся песнями, но по большей части музыка остается заключенной в словах.

Поэзия — планетарный закон, который не навязывается людям никакими законодателями — только их собственными чувствами. Бойтесь поэзии, потому что, как когда-то сказал Перси Биши Шелли, «поэты — непризнанные законодатели мира».

Кроме того, согласно Платону, «поэзия ближе к правде жизни, чем история». Для меня поэзия есть искусство высказывать что угодно, пусть даже самое неприятное, но простительное поэту.

Поэзия переносится из языка в язык, из культуры в культуру, но с некоторыми ограничениями, потому что при переводе всегда что-то теряется. Так или иначе, поэзия делает мир более приятным для жизни местом. Поэзия — прекрасное и необходимое искусство — *ars poetica* (искусство поэзии)!

Откуда я и куда я иду

(биография)

Я — олтеанец¹,
родившийся в Амарасте —
деревне, скрытой среди холмов
между Антон Пан Валкеа
и легендарным Дрэгэшани²,
где Джиб Михэеску³
видел первый утренний свет.
Таковыми далекими казались мне

¹ Олтеанец — уроженец Олтении, юго-западной части Румынии.

² Амараста, Валкеа, Дрэгэшани — населенные пункты Олтении.

³ Джиб Михэеску — румынский писатель.



эти два города,
где богатым
принадлежали сады и дома!
Была моим Дунаем Песьена¹,
моими Альпами — холмы,
леса были полны тайн,
а церковь для нас стала
первым и единственным храмом —
величественнее Ангкорского!
И люди Амарасты,
ставшие кто коммунистами,
кто их жертвами,
боролись из года в год
с бедностью и засухой,
когда недра земли раскалывались
от жажды влаги,
и мать моя тоже боролась,
чтоб вырастить меня!
Босым ушел я в Крайову²
по каменной дороге к Дрэгэшани.
Оттуда — поездом
к Бане,
где я за пенни моей мамы
купил пару спортивных синих ботинок.
В Крайове задержался настолько,
чтобы собрать наличность —
сто леев для покупки новой обуви,
затем — ушел.
Уехал в Бухарест —
как изумился я, забравшись столь далеко!
А коммунизм гнал меня прочь из моей страны.
Я покинул Амарасты,
и Валкеа, и Дрэгэшани,
и горы, и воды,
и весь Старый Свет.
И как мне теперь уйти из канадской земли,
где мне судьба дала
дом и окно?
Как уйти назад — туда, откуда родом я,
где катятся холмы,
где люди — это люди,
меж Валкеа и Дрэгэшани,
туда, где потерялась моя душа,
по-прежнему босой, по-прежнему босой?

¹ Песьена — маленький ручеек в деревне Амарасты.

² Крайова — город в Румынии.

Из толкований Геродота

(о румынах)

Однажды сказал Геродот:
— Наши предки-фракийцы¹
Могли бы стать могущественнейшими,
Не сражайся они друг с другом, как дьяволы.

Но у них никогда не было
Стремления объединиться.
Напрасно говорили им боги остановиться —
Они сражались снова и снова.

Мы, их потомки, той же крови,
Мы шли их путями много столетий,
Так и не найдя никогда и нигде
Цветов исцеления.

Споры — наш путь,
Проклятые козни вечны.
Распри — неотъемлемая часть нас...
Геродот хорошо это знал.

Там...

Канада и Румыния,
Румыния и Канада...
Я слышу их переключку с океаном
в Канаде, моей земле.
И здесь и там — все кажется неправильным;
скажи мне: где место мое?
То здесь, то там,
езде и нигде
я спрашиваю себя вновь и вновь:
где же на земле место для меня?
Где же на земле место для меня?
Где же на земле должен быть я?
Где же на земле должен быть я?
Каким путем мне идти?
Я почитаю обе страны —
они полны любви и силы.
Разорваться надвое желаю я
и выбрать оба места — но не могу.
Расколото мое сердце,
и жаль, что не могу вернуться, —
неважно куда...

¹ Фракийцы — группа индоевропейских племен, обитавших на юго-востоке Европы.



Свобода, свобода, свобода!

Мне удалось сбежать
из гулага коммунистов,
от предсказанного Оруэллом 1984 года —
по совпадению, в 1984-м.
Я сбежал из открытой
тюрьмы,
известной как Румынская Социалистическая Республика.

Я сбежал еще молодым, ха-ха!

Любил меня Большой Брат.
Я не желал его любви.
Я желал быть свободным в этом мире большом —
свободным, таким свободным.

Свобода так драгоценна!
Драгоценней злата!
Необходимей воздуха,
теплее и ярче солнца!

Милая, милая свобода!

Басня

Давным-давно ягненка
добрейший волк спросил:
«Зачем, злодей нечистый,
ты землю захватил,
где царствовали предки
мои пять тысяч лет?
Таких злодеев мерзких
здесь не было и нет!»
Злодей был глуп настолько,
что промолчал в ответ.
И волк себе устроил
С ягнятиной обед.

Румыния — Канада

Перевод с английского Евгения Никитина

*Евгений Никитин — студент четвертого курса
Института лингвистики и межкультурной коммуникации
Московского государственного областного университета.
Переводил стихотворения Шеймаса Хини («Юность», 2010,
№ 2), Кристины Росетти («Юность», 2011, № 1), биографию и эссе
писателя и литературоведа Наима Арайди («Юность», 2011, № 5).*



БОНАПАРТ В ЕГИПТЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Апофеоз Денона

Солдаты армии генерала Бонапарта не разрушали памятников и не стреляли из пушек в лицо Сфинкса. Оно было изуродовано в VIII веке нашей эры иконоборцем Саимом-эд-Дахром, а в 1380 году повреждено мусульманским фанатиком (Коран осуждает такие изображения).

Денон и несколько художников зарисовали Сфинкса. Другие члены экспедиции замерили огромную фигуру, пугавшую многих. Для этого они забрались по лестнице на каменное изваяние и, используя отвесы и штангенциркули, получили такие результаты: ото лба до подбородка — тридцать футов, расстояние между ушами — четырнадцать футов.

Денон описал внешний вид Сфинкса: «Хотя его размеры колоссальны, те контуры, которые сохраняются, эластичны и чисты. Лицо нежное, доброе, спокойное, характер африканский — но рот, толстые губы придают образу восхитительную гармонию и художественное изящество. Это как будто живая плоть».

О пирамидах он писал: «Огромное расстояние, с которого их можно видеть, делает их иллюзорными; цвет становится голубоватым, словно небесным, возвращая им прелесть и чистоту, выдержавшую испытание веков».

Денон был избран в члены Института Египта по секции литературы и искусств вместе с портретистом Дютертром, поэтом Парсевалем-Гранмезоном, музыкантом Ригелем, художником Редуте, архитектором Норри, востоковедом и дипломатом Вантюром де Пароди и членом, поименованным в списке как «греческий священник». Это был Дон Рафаэль

де Монахис, единственный член Института, не являвшийся участником экспедиции.

Всего в Институте было четыре отделения: математики, физики, политической экономии, литературы и изящных искусств, в каждом из которых было двенадцать членов. Высшие офицеры армии имели право присутствовать на всех заседаниях Института.

Двадцать третья статья постановления об учреждении Института предусматривала ежеквартальную публикацию записок, а двадцать четвертая — присуждение двух ежегодных премий (одна за достижения в гуманитарной области, другая — за технические достижения).

Бонапарт стал членом Института по отделению математики. Академиком был и Юзеф Сулковский, адъютант Бонапарта. Он погиб во время каирского мятежа. Сулковский преследовал бедуинов во главе кавалерийского отряда, и под ним убили лошадь. Храбрый поляк упал на землю и был пронзен копьями.

Первое заседание Института состоялось 23 августа 1798 года. Председательствовал Монж, заместителем был Бонапарт, обязанности постоянного секретаря исполнял Жан Батист Жозеф Фурье, который станет душой Института.

Институт открыл обширную библиотеку для свободного посещения. Жители Каира пользовались этой возможностью, и французские библиотекари тепло их принимали. Солдаты также посещали библиотеку.

Вездесущий Денон провел много времени в Розетте, рисуя птиц, цветы, здания и руины. Его изображения столь точны, что здания и руины, в том



числе фортификационные сооружения мамелюков, можно легко идентифицировать.

Денон слышал о прекрасных руинах в верховьях Нила. Он очень хотел проверить, правда ли это, и убедил Бонапарта разрешить ему присоединиться к экспедиции генерала Дезэ.

В конце августа 1798 года отряд Дезэ направился вверх по Нилу на судах речной флотилии — джермаках, шебеках и плоскодонных канонерских лодках. Французы имели несколько орудий и атлас Африки, опубликованный в 1749 году.

Они проплыли более ста миль, надеясь догнать мамелюков, но те ушли вначале к западу, а потом вдруг снова встали лагерем у Файюма, расположенного примерно в шестидесяти милях к юго-западу от Каира. Французам приходилось то идти пешком по участкам земли, затопленным водой, окунаясь в нее по пояс и держа ружья над головой, то вновь плыть по реке. Мурад-бей пока не желал принимать бой.

Тогда Дезэ, узнав о перемещениях врага, вернулся к северу и, наконец, сразился с мамелюками 8 октября у Седимана. Он построил свою пехоту в каре (квадраты), приказал подпустить кавалерию мамелюков и бедуинов на расстояние в двадцать шагов и открыть огонь.

Однако капитан Валетт, который командовал одним из каре на левом фланге, был столь уверен в стойкости своих солдат, что подпустил вражеских кавалеристов на расстояние в десять шагов. Это была ошибка. Мамелюки врезались в строй французов и, хотя и несли потери, образовали бреши в рядах неприятеля, в которые устремились новые бойцы.

Закаленные французские ветераны знали, как поступать в таких случаях, и бросились на землю. Дезэ стоял в главном каре, расположенном сзади. «Наши залпы и огонь дивизии скоро спасли их всех от опасности», — рассказывал он.

Мамелюки не смогли прорвать оборону других каре: французы, построившиеся в три ряда — одни солдаты стояли на коленях, вторые склонились, третьи стояли в полный рост, — вели беглую и точную стрельбу.

Это был жестокий бой, как описал его свидетель: «Один из наших воинов, растянувшийся на земле, подполз к умиравшему мамелюку и перерезал тому горло. Офицер спросил его: “Как ты можешь так поступать в состоянии, в котором находишься?” — “Вам легко говорить, — ответил солдат, — но мне осталось жить несколько минут, и я хочу позабавиться, пока еще могу”».

Французы потеряли сто пятьдесят человек, враги — четыреста. Дезэ пытался преследовать Мурада, но мамелюки быстро ускакали.

Отряд находился в богатой провинции Файюм. Дезэ учредил администрацию, занимался реквизициями продуктов питания и лошадей и собирал налоги с крестьян. Феллахи, уже достаточно оборонные Мурад-беем, подняли восстание. Толпа численностью три тысячи человек атаковала гарнизон Файюма, состоявший из пятисот солдат, треть которых страдали от офтальмии. Французы отразили натиск, потеряв четыре человека убитыми и десять ранеными, в то время как потери египтян были оценены в двести человек.

Офтальмия превратилась в настоящее бедствие для солдат Дезэ. Двадцать девятого октября 1798 года Дезэ писал Бонапарту: «Заболевания поставили нас в затруднительное положение. Эта глазная болезнь — ужасный бич. Она лишила меня более чем тысячи четырехсот человек. Когда я марширую, я должен тащить перед собой сотню этих несчастных, которые совершенно ослепли. И если бы вы увидели людей, которые у меня остались, то вы бы были удивлены... У нас нет даже самого необходимого, мы без обуви, без всего; если сказать вам правду, то войска нуждаются в отдыхе. Дайте нам провизию и средства, чтобы идти вперед, и мы пойдем вперед... Что прикажете мне делать?»

В ответ на этот крик отчаяния Бонапарт направил Дезэ небольшие подкрепления под командованием генерала Бельяра.

В начале ноября 1798 года Денон взобрался на борт шебеки, нагруженной амуницией и припасами для солдат Дезэ. Как только она отчалила, Денон был буквально потрясен тем, что видел.

Ослепительно сияло солнце. На берегах Нила кипела работа: буйволы делали круги, качая воду в оросительные каналы, груженные ослы и караваны верблюдов плелись от селения к селению. А еще были пальмы, рисовые поля, затопленные водой. Вдали виднелись пирамиды, частично сохранившиеся или лежавшие в руинах. На реке он видел «малые острова, покрытые утками, цаплями и пеликанами».

Когда Денон сошел на берег, то стал свидетелем следующего: деревни обыкновенно были «окружены кучами отбросов и булыжника, которые в условиях ровного пейзажа выглядели, как горы, откуда можно осматривать окрестности. По вечерам вершины этих холмов были облеплены местными жителями, сидевшими на корточках. Они прогуливались, курили трубки и глядели вокруг — для того чтобы убедиться в том, что на окружающей их равнине царит мир. Эти мусорные кучи плохи тем, что делают деревни отвратительными, а воздух нездоровым. Глаза местных жителей отекали от грязи и пыли, смешанной с незаметными частицами со-

ломы. Эта пыль и грязь — одна из многих причин глазной инфекции, от которой страдает Египет».

Бельяр, заместитель Дезэ, взял Денона под свою опеку.

«Генерал Бельяр любезно предложил разделить с ним кров. Это повлекло за собой деление бесконечно малого: наши кровати заняли всю комнату. Их надо было выносить, если мы хотели поставить стол. Если мы хотели помыться или одеться, то требовалось выносить и его».

Солдаты хорошо приняли Денона и гордились тем, что художник делит с ними тяготы похода. Седовластый мастер, отнюдь не атлет, проделывал многие лье пешком и не просил поблажек. На своих плечах он нес портфель, наполненный бумагами и карандашами, а в рюкзаке держал бювар и немного еды.

Если он останавливался, чтобы сделать зарисовку, и рядом не было тени, то солдаты создавали ему убежище от солнца. Воины вставали на его сторону, наблюдали за работой и восхищались быстротой, с которой Денон создавал образы.

В конце ноября Дезэ поехал на встречу с Бонапартом, оставив Бельяра исполняющим обязанности командира. Наполеон и Дезэ проанализировали ход кампании, в результате чего главнокомандующий направил в Верхний Египет дополнительный отряд кавалеристов под началом генерала Даву и одолжил своему любимцу роскошную джерму L'Italie для использования в качестве штаб-квартиры.

Дезэ дал солдатам отдых, а затем направился к Асьюту. Отряд прошел по долине, расположенной между горами, и достиг Джирги, главного города Верхнего Египта, в котором жили десять-двенадцать тысяч человек. Здесь воины нашли много дешевой еды. Дезэ сделал привал, ожидая поставок провизии и амуниции.

Вечерами генералы и офицеры собирались в штаб-квартире Дезэ и обсуждали разные предметы. Например, историю древнего Египта.

Тридцать первого декабря был памятный обед: в Джиргу прибыл великий ежегодный караван из Дарфура, и Дезэ пригласил брата вождя каравана к себе в гости.

Черный нубийский принц стал интересным компаньоном для участников вечера. Денон описывает его как «полного жизни и энтузиазма, счастливого и интеллигентного». Принц рассказал слушателям о переходах через пустыню Сахару, «во время которых они находят воду в подземных колодцах только каждые восемь дней».

Он только что прибыл из двухлетнего путешествия в Мекку и Индию. Принц заявил, что у него восемьдесят братьев, которые, как и он сам, — сыновья короля Дарфура.



Доминик Виван Денон

Далее он рассказал собеседникам, что легендарный город Тимбукту в самом деле существует. Этот огромный город стоит на берегах великой реки, в шести месяцах пути от Дарфура, в направлении солнечного заката. Его жители очень маленькие, они торгуют с Дарфуром, обменивая золото и слоновую кость на верблюдов и египетские одежды.

Свой караван он описал так: две тысячи верблюдов, а с ними «восемьсот нубийцев [рабов] из Сенаара, также много женщин, зубы слонов, золотой песок... весь товар для Каира».

Офицеры забросали его вопросами. Он пояснил, что цена женщины-рабыни — одно плохое ружье, за мужчину-раба дают два ружья.

Двадцать второго января 1799 года армия Дезэ и войско мамелюков сошлись на равнине у реки, в районе Самхуда.

Мурад-бей собрал четырнадцатитысячную армию, состоявшую из арабских всадников, воинов из Мекки, пехотинцев, в том числе черных рабов, и собственного двухтысячного отряда мамелюков.

Дезэ принял бой, имея три тысячи человек пехоты и тысячу кавалеристов. Генерал применил традиционную французскую тактику, построив свой пеший отряд в два каре. Он имел и кавалерию, расположенную в три линии между каре.

Мамелюкская и арабская конница бросилась в атаку. В таких ситуациях Дезэ, по оценке генерала Фриана, оставался «на десять градусов холоднее льда».

Денон стоял в середине одного из каре. «Мамелюки кружились вокруг нас, маневрируя на своих



Мемфис. Сфинкс и великая пирамида. Из книги «Описания Египта»

лошадях, их блестящее оружие сияло. Они явили собой все величие Востока, а наша северная суровость продемонстрировала подход жесткий, но не менее импозантный. Контраст был потрясающим: железо против золота — равнина сияла, спектакль был великолепен».

Французы одержали победу — мамелюки беспорядочно отступили, следом ускакала арабская кавалерия. Африканцы и азиаты потеряли сотню убитыми и множество ранеными, французы лишились одного человека.

Обезумевший от ярости Мурад-бей отрубил голову шейх-аль-беледу Фаршута, поскольку тот плохо скрывал радость, которую доставили ему поражение и падение врагов его дома (он был из знаменитого рода князя Хаммана). Когда французы прибыли к этому месту, они сочли своим долгом оказать посмертные почести человеку, обожаемому местными жителями.

Денон был недоволен — несмотря на завидную скорость его работы, ему не хватало времени. «Мы постоянно шли вперед».

Отряд Дезэ проводил лишь одну ночь на каждой остановке. Порой солдаты маршировали и по ночам.

К счастью для Денона, Дезэ и Бельяр живо интересовались тем, что он делал: «Я нашел в Дезэ ученого, пытливого и ищущего знаний, друга искусств. Я обязан ему всем, что он позволял мне вопреки обстоятельствам... В генерале Бельяре я нашел родственную душу, дружбу и неизменную заботу».

Такое внимание со стороны командиров было очень важным, поскольку, как вспоминает Денон, «мы были окружены арабами и мамелюками, и я вполне мог быть захвачен в плен, ограблен и очень вероятно, что и убит, если бы рискнул отойти от колонны на сто шагов».

Один офицер указывает на неосторожность со стороны Денона: «Как-то раз, когда флотилия плыла вверх по реке, он увидел руины и заявил, что должен зарисовать их. Уговорив товарищей высадить его, он устремился на равнину, устроился в песках и начал рисовать. Только он закончил, как пуля пронзила лист его бумаги, и он увидел араба, промакнувшего в первый раз и перезарядившего оружие. Он схватил свое оружие, поразил араба в сердце, закрыл портфель и вернулся на судно. Вечером, когда он показывал рисунки членам штаба, генерал Дезэ сказал: «Ваш горизонт неровен». Денон ответил: «Ах, это вина араба. Он выстрелил слишком скоро»».

«Наконец мы вошли в пустыню, где невдалеке увидели дикого зверя. Судя по размеру и формам, это была гиена. Мы бросились за ней, наши лошади мчались галопом, но могли лишь преследовать ее, не догнав».

Офицеры и солдаты чувствовали, что находятся на краю света. Денон описывает «финиковые пальмы, значительно большие по размерам, чем те, что мы когда-либо видели, гигантские тамариски, деревни, растянутые более чем на милю вдоль берега реки».

Пройдя еще тридцать миль вверх по течению, отряд достиг Дендеры (древняя Тентира), где солдаты увидели огромный каменный храм. Он был наполовину засыпан песком и облеплен жилищами арабов, разместившимися прямо на его нетронутой крыше.

«Без всяких приказов, отданных или полученных, каждый офицер, каждый солдат сошел с дороги и устремился к Тентире. Вся армия находилась здесь до конца дня».

Руины храма были совсем не похожими на древнегреческие или древнеримские. «Египтяне ничего не заимствовали у других, они не добавляли чужестранных орнаментов... Порядок и простота были их принципами, доведенными до совершенства... В руинах Тентире египтяне предстали предо мной гигантами... Мы должны воздержаться от образа мыслей, уничижающего египетскую архитектуру: это высший стандарт, начало высшего искусства».

Стены внутри храма были исписаны загадочными фигурами и непонятными иероглифами, а на потолке одной из комнат французы обнаружили великолепное круглое изображение зодиака.

Денон приступил к работе: «С карандашом в руке я переходил от объекта к объекту, отвлекаясь от одного и переходя к другому, очарованный и сбитый с толку; мои глаза, моя рука, мой разум были неспособны охватить все, что переполняло меня».

Солнце заходило за горизонт. Солдаты пошли дальше, а Денон все рисовал. Бельяр оставался рядом с ним, готовый защитить художника от возможных нападений.

Стемнело. Денон и Бельяр вскочили на коней и поскакали вслед колоннам, которые успели удалиться на две мили.

В тот памятный вечер Денон имел разговор с военным по имени Латурнь. Это был «офицер, обладавший большим мужеством, интеллектом и тонким вкусом, который нашел меня и сказал: “Все время, пока нахожусь в Египте, я чувствую, что переполнен этой страной. Я пребываю в состоянии меланхолическом и болезненном. Тентира излечила меня от этого. То, что я увидел сегодня, стоит всех предшествующих страданий. Что бы теперь ни случилось со мной в ходе экспедиции, я буду вечно признателен за воспоминания об этом дне, которые останутся со мной до конца жизни”».

Участники экспедиции открыли для себя крокодилов.

Денон вспоминает, что они «увидели что-то длинное и коричневое среди уток. Это был спящий крокодил длиной пятнадцать или восемнадцать футов. Кто-то выстрелил в него из ружья, в то время как это существо медленно сползло в воду, а через несколько минут снова выбралось наружу».

Скоро Денон наблюдал крокодила длиной двадцать восемь футов, а «несколько заслуживающих доверия офицеров» заявили, что видели сорокафутowego зверя.

Двадцать шестого января армия достигла Тебеса (Фивы). «В девять утра, огибая часть горного хребта, формировавшего выступ, мы внезапно увидели, во всей его славе, древний Тебес. “Стовратный град”, описанный Гомером, буквально вырос перед нами».

При виде гигантских руин солдаты зааплодировали. Они построились рядами и провели парад под бой барабанов и звуки рожков.

У Денона эта спонтанная реакция вызвала патристический порыв: «Чувства, которые я испытывал при виде древних монументов, возбуждающий вид армии солдат со столь развитым чувством сопричастности цивилизации наполняли меня радостью за то, что я их товарищ, и гордостью за то, что я француз».

Видя огромные каменные фигуры людей, а на другом берегу — великолепные храмы (Карнак и Луксор), два обелиска высотой более семидесяти футов, покрытых иероглифами, Денон сделал заключение: «Греки не изобрели ничего».

Он размышлял о значении иероглифов, которые никто не мог понять.

Офицеры спросили Моаллама Жакоба, коптского вождя и бывшего сборщика налогов по всему Верхнему Египту, знает ли он что-либо об иероглифах. Моаллам Жакоб, коренастый бородастый ста-



Тентира. Храм. Из книги «Описания Египта»

рик в тюрбане, ответил, что они не имеют ничего общего с известными ему коптскими и арабскими алфавитами.

Зарисовав храмы Тебеса, Денон присоединился к Дезэ, и они поехали изучать районы, расположенные вглубь от прибрежной полосы. Вскоре они были в Некрополисе, «городе мертвых», где нашли огромные галереи древних захоронений, расположенных в скале.

«Я въехал туда верхом на лошади вместе с Дезэ, будучи уверенным в том, что это уединенное место может быть лишь заповедником мира и тишины; но едва мы вошли в тень галерей, как были атакованы копьями и камнями невидимого врага».

Денон и Дезэ спешно ретировались: захоронения были жилищами диких троглодитов, беглецов, скрывавшихся от властей.

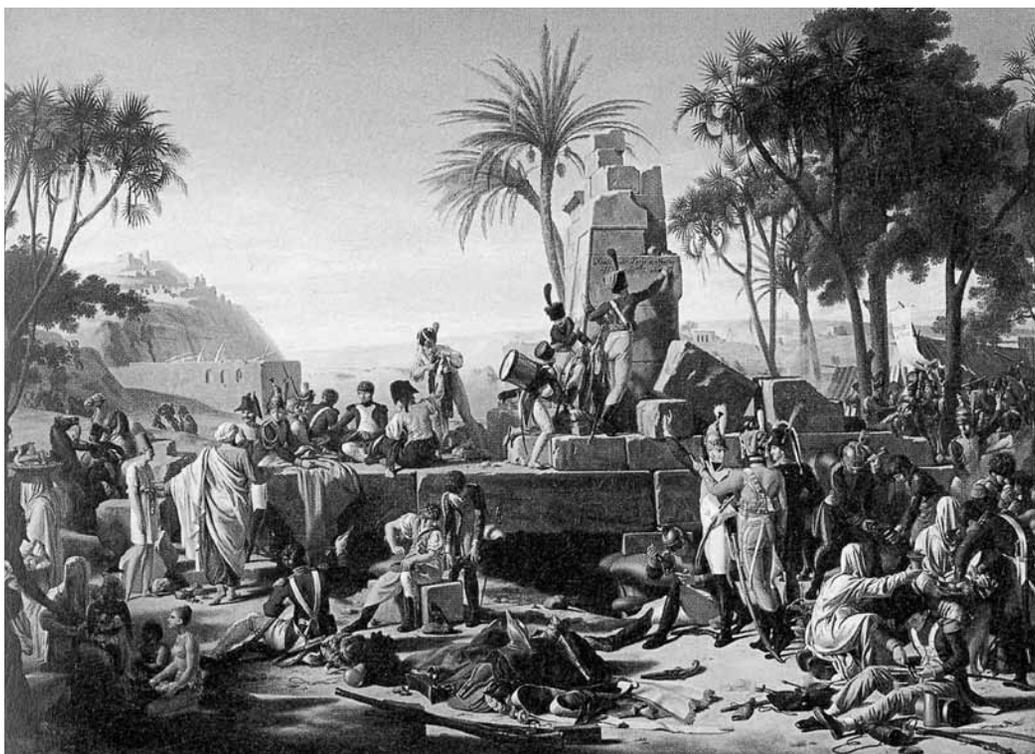
На следующее утро, до начала марша, Денон зарисовывал упавшую статую, которую он считал изображением Озимандиаса (так греки называли фараона Рамзеса II).

Солдаты вырезали свои имена на колоннах и стенах древних памятников.

Армия Дезэ насчитывала более трех тысяч человек, которых надо было ежедневно кормить. Солдаты зачастую маршировали, погоняя стада крупного рогатого скота и коз. Бывали дни, когда воины оставались голодными и сами добывали себе пропитание.

Денон описал характерную сцену: «Солдат вышел из хижины, ведя за собой только что взятую козу; за ним следовал старик, прижимавший двух детей к своей груди. Он положил их на землю, упал на колени и, не говоря ни слова, разрыдался. Поток его слез свидетельствовал о том, что дети умрут с голоду, если козу заберут. Но слепая давящая нужда не была остановлена этой душераздирающей сценой, и козе уже перерезали глотку».

В то же время солдаты проявляли милосердие. Один из них появился, «неся на руках другого ре-



Привал французской армии в Сиене (Верхний Египет) в 1799 г. Художник Жан Шарль Гардьё

бенка, которого мать, сбжавшая перед нашим приходом, очевидно, бросила в пустыне. Несмотря на вес, которым он был нагружен, — рюкзак, ружье, пояс с амуницией, — и усталость, накопившуюся за четыре дня форсированного марша, необходимость спасти это несчастное маленькое существо заставила его проявить заботу, взять ребенка и нести его на руках на протяжении шести миль... В то время как я ужасался, видя, как голод превращает взрослого мужчину в дикого зверя, этот солдат смягчил мое душевное страдание, возвращая меня к гуманности».

С этого времени Денон, как и многие другие, начал страдать от офтальмии. Он испытывал острую боль, глаза гноились. Эта болезнь могла вызвать полную потерю зрения, Денон же сохранял работоспособность. Однако он делал ошибки при изображении предметов и иероглифов, и внимательный наблюдатель мог заметить их.

Дезэ преследовал Мурад-бея. В Исне он узнал, что тот покинул названное место предыдущей ночью. Мамелюки уходили в отдаленные районы, покидая долину Нила. Дезэ торопился и хотел отрезать врагу пути отступления.

«Тридцатого мы отправились в путь на рассвете. В течение часа мы шли по культурным угольям, а затем вступили в горы, сложенные из трещиноватого аспидного сланца, песчаника, белого и розового кварца, коричневого горного хрусталя и нескольких

кусков белого коралла. После пятичасового марша через пустыню обувь солдат распалась на куски, и теперь они закутывали ступни в то, что имели; они испытывали страшную жажду».

В конце концов Дезэ был вынужден вернуться к Нилу. Армия достигла Тауди, где обнаружилось, что «мамелюки только что оставили селение, бросив тарелки, блюда, даже суп, который приготовили и собирались есть, как только наступит солнечный закат, поскольку то был месяц Рамадан, во время которого... даже солдаты не принимают пищу, пока солнце не скрылось за горизонт».

Обильные зеленеющие равнины остались позади. Теперь берега Нила становились все суше, а по пути попадались редкие селения, состоявшие из нескольких грязных, полуразрушенных хижин. В них солдаты находили пустые фаянсовые горшки и немного цыплят.

«Семьи арабов-земледельцев на границе пустыни... вели тихое, монотонное существование, никогда не тревожимое шоком новизны. Это спокойствие предоставляет им достаточно времени между событиями жизни, каждая вещь мирно переживается в душе, где чувство потихоньку превращается в сентиментальность или склонность следовать моральным принципам, где, одним словом, анализируется малейшее впечатление; кто-то с удивлением обнаружит в них прекрасные и высокие качества [sic],

тонкую сентиментальность вместе с абсолютным невежеством».

Солдаты шли навстречу неумолимому, палящему солнцу. Теперь их сопровождали стаи грифов, кружившихся над головами.

На песчаных равнинах единственными признаками земной жизни были следы, оставленные газелями. Эти животные питались бедной растительностью вдоль реки, а затем прятались в пустыне.

Денон заметил, что «следы этих элегантных и слабых существ почти всегда сопровождались следами хищников».

Экспедиция достигла самой южной точки. Жара становилась нестерпимой.

Солдаты говорили, что их кровь закипает. Наблюдалась сердечные расстройства и обмороки, бывали смертельные случаи.

Первого февраля армия перешла на восточный берег Нила и достигла Асуана (у греков и римлян — Сиена). Перед ними были знаменитые водопады и прекрасная Элефантина, остров цветов.

Генерал Бельяр, стоя на высоком холме над рекой, описал местность: «Над лагерем, на выступе западных гор, открываются следующие виды: к западу виднеется огромная пустыня, к востоку — внушающие благоговейный ужас крутые скалы, на которые падают воды Нила. Кажется, что здесь находятся пределы цивилизованного мира. Природа, кажется, говорит одно: “Стоп, дальше идти нельзя”. К западу лежит остров Элефантина, и его зелень и заросли пальмовых деревьев служат контрастом скучным горам, которые его окружают; к востоку лежат руины древней Сиены».

Денон запечатлел эти прекрасные виды.

Двести пятьдесят миль тяжелейшего пути были пройдены за каких-то десять дней. От Каира их отделяли шестьсот миль! Может быть, настало время перевести дух?

Асуан был населен в большей степени нубийцами, черными африканцами, а не светлокожими египтянами.

«Раздеться, присесть, прилечь и поспать — все это казалось мне настоящей роскошью», — писал Денон.

Что касается солдат, то скоро «они разошлись по магазинам, торгующим одеждой, обувным мастерским, ларькам, в которых выставлены безделушки, французским парикмахерским, выделяющимся специальными знаками, торговцам едой и ресторанам с меню по фиксированным ценам... Что особенно характерно для французской армии, так это ее способность удовлетворять потребность в необходимом и предаваться излишествам; устраиваются сады,

кафе, столы для общих игр. Солдаты сами изготовили игральные карты. Дорога, ведущая из селения на север, представляла собой широкую аллею, обсаженную деревьями. Солдаты установили на ней военную колонну с надписью: “Дорога на Париж номер 1 167 340”. Все это происходило спустя считанные дни после того, как их дневной рацион составлял лишь несколько фиников. Только смерть могла положить конец браваде и веселости; даже величайшие несчастья никогда не уничтожат этого».

Французские разведчики донесли, что мамелюки голодают и мародерствуют. Они нападают на суданские деревни. Их возвращение в Египет, откуда они вытеснены наступающей армией Дезэ, — лишь вопрос времени.

Генерал Бельяр должен был занять стратегически важный остров Филэ, известный своими руинами, в том числе храмом Изиды. Денон не мог не участвовать в данном предприятии.

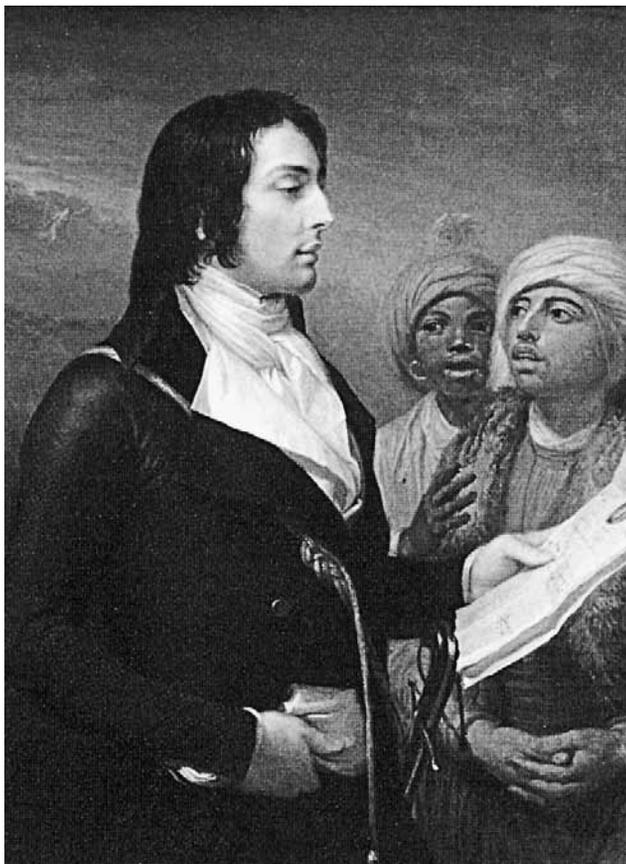
Поход на Филэ — не легкая прогулка. Жители острова были известны своей свирепостью: они не боялись мамелюков и воевали с ними.

Когда французский корабль приблизился к острову, аборигены провели акцию запугивания: их женщины визжали, кричали пронзительными голосами и бросали пыль в воздух. Это было ритуальное песнопение перед битвой, однако армия Филэ не была готова противостоять современной военной тактике.

Как только первый французский солдат ступил на берег под прикрытием артиллерии, местные пришли в ужас. «Мужчины, женщины, дети — все бросились в реку, спасаясь вплавь; верные своей свирепости, матери топили детей, которых не могли унести с собой, они калечили девочек, чтобы уберечь их от насилия завоевателей. Когда я на следующий день ступил на берег, то увидел маленькую девочку семи или восьми лет, грубо и жестоко шитую таким образом, что сама она не могла освободиться и мучилась в ужасных конвульсиях. Только сделав обратную операцию и искупав ее, я смог спасти жизнь этого маленького, очень красивого существа. Другие девочки, более зрелого возраста, проявили нрав не столь пуританский и сделали выбор в пользу завоевателей».

Дезэ организовал управление провинциями Верхнего Египта. Он получил неформальный титул Справедливый Султан. Генерал разместил малые гарнизоны в городках и деревнях вдоль Нила — через каждые пятьдесят миль. Так он поддерживал порядок, иногда все же нарушавшийся рейдами мамелюков.

«Я докладываю вам, мой генерал, — писал Дезэ Бонапарту, — что мамелюки побиты, но не ликвидирова-



Луи Шарль Антуан Дезэ. Художник Андреа Алпиани

ны. Они как мифическая древнегреческая гидра — как только вы отрубаете одну голову, вырастает другая».

Мамелюки ушли еще дальше на юг, и чтобы лишить их средств пропитания, генерал Бельяр, заместитель Дезэ и командующий в Асуане, приказал уничтожить запасы пшеницы в близлежащей деревне. Крестьяне с ужасом смотрели на то, как гибнут плоды их трудов, и вряд ли несколько монет, данных им французами, могли спасти людей от голода.

Обозленные террором и насилием оккупантов, египтяне жаждали отмщения. И оно настало в апреле 1799 года, когда прибыли семь тысяч арабов, в основном воинов из Мекки. Французы ушли вниз по реке и оставили флотилию. Арабы взяли на абордаж джерму L'Italie, на которой находилась группа музыкантов. Их заставили играть на берегу, в то время как арабы изнасиловали и изрубили на куски других пленников. Музыкантов постигла та же страшная участь.

Тысяча солдат генерала Бельяра встретили колонну арабов у деревни Абнод и уничтожили несколько сотен меккан, однако Дезэ решил, что зашел слишком далеко. Он пересек Нил и вернулся в Асьют. В своем очередном докладе Наполеону он написал: «Если вы оставите эту страну без войск

хоть на мгновение, она немедленно вернется к своим прежним хозяевам... Я не буду докучать вам подробным описанием наших невзгод. Они вас не заинтересуют... Я направляю вам, генерал, несколько срочных заявок на амуницию. Я знаю, что это крайняя нужда; по существу, мое положение критическое. Люди, которые чего-то просят, всегда выглядят так, будто они себя жалеют. Тем не менее учитывайте то, с чем мы сталкиваемся. Мои солдаты не имеют патронов, за исключением тех, которые они несут в своих ранцах. Самое малое, что вы можете сделать, генерал, — взять на заметку то, о чем вас просят. В Верхнем Египте находятся тысяча восемьсот мамелюков. Я пойду и буду с ними сражаться».

Дезэ приказал Бельяру захватить Коссьер, порт на Красном море, чтобы помешать дальнейшему проникновению отрядов арабских добровольцев в Египет. Бельяр быстро пересек пустынные и горные пространства, взял Коссьер под контроль и вернулся.

С потерей Коссьера Мурад-бей лишился важного источника пополнения людских ресурсов и отправился в район великих пирамид вблизи Каира. Остатки отрядов мамелюков и арабов не могли оказать Дезэ упорного сопротивления, и вскоре он полностью покорил Верхний Египет.

«С этого момента, — пишет Никола Тюрк, поэт греческого происхождения, в то время живший в Египте, — генерал Дезэ посвятил себя умиротворению и организации Верхнего Египта, проявляя интеллигентность, знание администрирования, такт, смелость, усердие, благородство — все это было восхитительно; в результате Верхний Египет управлялся лучше, чем Дельта».

«Позволь теперь рассказать тебе о моей любовной жизни, — писал Дезэ подруге во Францию. — Я люблю молодую Астизу, красивую грузинскую девочку, прекрасную, как Венера, она очаровательная блондинка. Ей четырнадцать лет, у нее груди с ароматом розы, которые распускаются, как бутоны; она досталась мне в наследство от городского губернатора; ее хозяин умер... Я получил в подарок Сару, яркую и маленькую разбойницу-абиссинку, пятнадцати лет. Она сопровождает меня в путешествиях. У меня также есть Мара, наивное дитя из Тиграя [в Северной Абиссинии]. К тому же у меня есть Фатима [sic], большая, прекрасная, изящная фигура, которая была очень несчастной... Таков мой гарем, — продолжает Дезэ, возможно, сильно преувеличивая и пытаясь произвести впечатление на подругу, — который также включает трех чернокожих женщин... маленького черного мальчика по имени Бахил, маленького мамелюка по имени Исмаил, прекрасного, как ангел».

Он живописует свой гарем: «Я томно лежу на двух диванных подушках, в присутствии несколь-

ких жен, одна из них сладострастно засыпает, нежно потирая мою ступню, другая меня раздевает, внимательно ухаживая за мной и мягко прикасаясь ко мне, проявляя заботу, неизвестную в Европе».

Когда Денон вернулся в Каир, коллеги были потрясены его видом.

Всклокоченные пряди седых волос ниспадали на плечи пятидесятидвухлетнего художника. Истощенный, взъерошенный, он имел вид безумного. С маниакальным энтузиазмом он рассказывал товарищам о том, что видел в походе.

Когда он перешел от слов к делу и показал свои тетради и альбомы, полные рисунков храмов и развалин древних зданий, то его энтузиазм немедленно передался коллегам.

Рисунки были дополнены объемными записями и диаграммами, объясняющими все, что он видел, — от Дендеры до пещерных людей, живших среди гробниц, от стай саранчи до древнего Нилометра в районе Асуана. И многие страницы копий иероглифов, срисованных им со стен зданий, храмов, с колонн.

Бонапарт приказал немедленно создать две научные комиссии, которые должны были направиться в Верхний Египет и составлять каталоги всего, что было найдено. Дезэ попросил дать ему инженеров, которые помогли бы ему в военных делах и работе администрации.

Вскоре две комиссии были укомплектованы молодыми учеными и инженерами, готовыми изучать руины потерянной цивилизации. Когда несколько месяцев спустя они прибыли в Верхний Египет, их научный энтузиазм стал причиной трений между ними и генералом Дезэ. Инженеры занимались иероглифами, древними постройками и пренебрегали военными и административными обязанностями.

Тьма и свет

В начале декабря 1798 года Бонапарт предпринял последнюю попытку договориться с Портой. Он послал в Константинополь Жозефа Бошана, астронома и французского дипломатического представителя в районе Персидского залива, который прибыл в Каир несколькими неделями раньше.

Сорокшестилетний Бошан был человеком огромного интеллекта. Он работал в Леванте, на Черном море, в Константинополе.

Наполеон составил письмо великому визирю: «Бошан расскажет Вашему превосходительству о том, что у Порты нет более преданного друга, чем Французская Республика».

Он дал секретные инструкции Бошану:

— Если вам зададут вопрос «Согласны ли французы покинуть Египет?», отвечайте: «Почему бы и нет?»

Бонапарт понимал шаткость своего положения и хотел сохранить возможности для политического маневра. В одно и то же время он пытался помириться с турецким Султаном и обдумывал план возможной кампании против Турции.

Он все еще надеялся на приезд Талейрана. Одинадцатого декабря Бонапарт сделал три шага: написал письмо великому визирю, дал секретные инструкции Бошану и написал Талейрану: «Я послал в Константинополь гражданина Бошана, консула в Маскате, для того чтобы он мог рассказать вам о нашем положении здесь, которое в высшей степени удовлетворительное, и также для того, чтобы он мог настоять, по согласованию с вами, на освобождении всех французских граждан, арестованных в портах Леванта, и положить конец интригам России и Британии... Гражданин Бошан передаст вам на словах все детали и все новости, представляющие для вас интерес».

Он рассчитывал на то, что, прибыв в Константинополь, Бошан встретит там Талейрана. Он уповал на то, что Талейран волшебным образом исправит ситуацию.

Доедет ли Бошан до Константинополя? А Талейран? Собирается ли он туда вообще?

Бонапарт остался один против всего мира, и у него был единственный верный союзник — победоносная армия.

Армия, которая страдала от жары, офтальмии и вспышек чумы, но продолжала беззаветно верить своему командиру.

Но вся ли армия была ему предана? Появились отказники, и первый из них — Дюма. Его лихая атака против мятежников, засевших в мечети Аль-Азхар, стала последним делом генерала. Лучший кавалерист Франции вдруг сказался больным и начал проситься на родину.

С самого начала экспедиции он постоянно проявлял недовольство и открыто высказывал претензии Бонапарту. В тот момент, когда он сошел на египетский берег и оказался один, без лошади, он назвал поход авантюрой. Затем он многократно повторял это в течение нескольких месяцев. Он остро чувствовал свое бессилие в день Битвы у пирамид, когда мамелюки покидали поля боя, а у французов не было возможностей преследовать их. Разгон бунтовщиков Дюма считал недостойным делом, а само событие, на его взгляд, было признаком того, что французы провалились и им нечего делать в Египте. Он критиковал Бонапарта за его методы



управления армией и страной и в конце концов решил, что ему не по пути с «Султаном Кебиром».

Дюма обратился к начальнику медицинской службы доктору Деженетту, попросив его выдать справку о состоянии здоровья, в которой было бы написано о том, что генералу категорически противопоказан египетский климат. Доктор Деженетт сообщил Бонапарту о просьбе Дюма.

— Что ж, — ответил Наполеон, — пусть едет. Дюма храбр, но он нытик. Невозможно поверить в то, что ему сложнее переносить египетский климат, чем многим другим, которые здесь остаются и не просятся в отставку.

Деженетт был удивлен ответом главнокомандующего, который тут же выпустил общий приказ: «У меня нет намерения... удерживать в армии людей, которые равнодушны к чести быть моими товарищами по оружию. Пусть уезжают. Я облегчу им отъезд. Но я не хочу, чтобы они скрывали свои истинные мотивы отказа разделять наши труды и опасности под предлогом придуманных болезней».

Другие военнослужащие тоже могли последовать примеру Дюма, но они опасались того, что отъезд может поставить под угрозу их дальнейшую карьеру.

К Дюма присоединился геолог Доломье, и они отправились во Францию на одном корабле.

Следующим отставником мог стать Мену, губернатор Розетты, хотя он женился на египтянке и принял мусульманство. Наполеон одобрил эти решения Мену — для шейхов и улемов мечети Аль-Азхар они служили реальным доказательством того, что французы принимают местные обычаи и обращаются в ислам.

Мену утверждал, что его жена Зобейда относится к роду, члены которого являются потомками пророка Мухаммеда по прямой линии — как со стороны отца, так и со стороны матери. Приняв ислам, он получил имя Абдаллах и участвовал в мусульманской брачной церемонии. Мену попросил лишь об одном важном исключении — не делать обрезания, ввиду его возраста и ранга.

Мену написал генералу Дюгау о своей женитьбе: «Я верю, что эта мера будет в общественных интересах».

Генерал Мармон, друг Мену, прислал ему письмо из Александрии: «Вы правы, когда говорите, что ваша женитьба поразила многих из нас. Что до меня, мой дорогой генерал, то я вижу в этом знак великой преданности интересам французской армии». Мармон сделал приписку: «Если не секрет, мой дорогой генерал, как вы оцениваете ваше состояние женатого человека? Мне не терпится узнать, является ли мадам Мену хорошенькой и не собираетесь ли вы, по обычаю страны, дать ей компаньонку в виде большего числа жен?»

Мармон зачитал это письмо своим офицерам во время общего обеда, вызвав грубый хохот и веселье собравшихся.

Мену заметил сарказм и дал такой ответ: «Я не воспользуюсь разрешением, данным Мухаммедом, иметь четыре жены, не включая любовниц. Мусульманские женщины имеют бешеный аппетит; иметь одну для меня более чем достаточно».

Свою жену он описал следующим образом: «Моя жена, о которой вы говорите так по-доброму, — большая, сильная и достаточно хорошая во всех отношениях. У нее очень красивые глаза, комплекция египтянки, длинные и самые черные волосы; она обладает высоким темпераментом, я нахожу, что у нее гораздо меньше отвращения к моим французским привычкам, чем я ожидал, и кроме всего у нее почти нет или даже совсем нет предрассудков. Хотя она очень пунктуально придерживается своих религиозных понятий, она считает, что все другие религии также хороши.

Пока я не настаивал, чтобы она позволила себе снять паранджу, находясь в компании с другими мужчинами; это должно быть постепенно. Я сказал ей, что вы просили меня передать тысячу поздравлений для нее, и она ответила мне по-арабски: “Salam këtir ou maroul fi sari Askir men Skenderie”. Это значит: “Великое множество приветствий и поздравлений генералу в Александрии”».

Судя по всему, Мену изучал арабский язык — для общения с женой и с местными людьми. Это, казалось бы, говорило о том, что он намерен был жить в Египте долгие годы. Знатные люди Розетты уважали его. В то же время французские ученые, жившие в городе и любившие вести с ним беседы, теперь отстранились от генерала-мусульманина.

Причиной недовольства Мену и его желания уйти в отставку было бедственное положение армии. Обычно сдержанный генерал вдруг разразился письмом длиной в восемь страниц, в котором он жаловался Наполеону на все несчастья. Он писал о том, что солдаты не имеют самого необходимого, а он как губернатор не имеет денег и провизии: «Что касается вина, то его осталось всего пару пинт. Я не имел никакого просвета в течение двух месяцев».

Мену надоело хаотичное ведение дел. «Если это называется администрацией, то все знания, которые я приобрел за время военной службы (а служу я всю жизнь), ничего не значат, и я тем более должен умолять вас уволить меня с поста».

В конце письма он никак не приветствует Наполеона и не ставит подписи. Для столь мягкого человека, как Мену, это настоящий бунт. Но он все же остался на посту.

Бертье переживал более глубокую драму: его тоска по графине Висконти стала непереносимой. Положение усугублялось тем, что Бонапарт, а следом за ним и члены штаба иногда допускали бестактности и непристойно шутили, задевая чувства Бертье.

В конце концов его охватила депрессия, и Наполеон позволил Бертье покинуть расположение армии. попрощавшись с главнокомандующим и членами штаба, уволенный начальник собрался в Александрию, где его должен был ждать фрегат *La Courageuse*.

Вдруг его стали одолевать неожиданные мысли. Он долго мечтал о встрече со своей возлюбленной, но теперь, когда все препятствия были устранены, он почувствовал пустоту. Желаемое утратило ореол недостижимости, и он не мог избавиться от мыслей об армии и предстоящей кампании в Сирии. Но главное, Бонапарт не отпускал его.

Бертье не мог поверить в этот феномен: с одной стороны — чистый образ возлюбленной, а с другой — война и смерть, болезни и страдания. Но почему-то он продолжал думать о войне и Бонапарте. И понял, что совершает поступок, недостойный мужчины.

«Боже мой, Бонапарт, как это возможно? Неужели моя привязанность к тебе сильнее любви к прекраснейшей из женщин? Неужели ты, порой такой грубый и черствый, можешь заменить мне личное счастье?»

Бертье стал воспроизводить в памяти события последних двух лет. Он вспомнил Аркольский мост. Бертье знал лучше многих, что все было совсем не так, как изображают художники и пишут поэты. В том страшном бою французы не могли добиться победы.

В промозглый ноябрьский день 1796 года итальянская армия должна была овладеть стратегически важным мостом через реку Альпоне и взять деревню Арколу, расположенную в тридцати двух километрах к востоку от Вероны. Деревянный мост длиной в тридцать шагов пересечь было невозможно. Два батальона хорватов, часть Австрийской императорской армии, имевшие несколько пушек, держали оборону на противоположном берегу реки, которую лучше назвать ручьем.

Лучшие, храбрейшие генералы — Ланн, Бон, Вердье, Верне — получили ранения, пытаясь атаковать мост вместе со своими людьми.

Тогда свое веское слово сказал генерал Ожеро. Он прошел через толпу запуганных солдат, выхватил знамя у знаменосца и бросился на мост. Самые мужественные последовали за ним, но многие колебались. Хорваты убили пять или шесть французов, и остальные попятились назад.

Ожеро, который ничуть не пострадал, отступил. Но зато он подал пример Бонапарту! Ожеро, кото-



Луи-Александр Бертье

рый убедил Наполеона бескомпромиссно драться при Кастильоне, когда сам главнокомандующий колебался. Ожеро, который столько сделал для успеха кампании.

«Бонапарт повторил его подвиг — он спешил, взял шпагу в правую руку, флаг в левую и также бросился на мост, окруженный храбрыми генералами и адъютантами. Он добежал до середины моста под градом пуль, но солдаты не бросились за ним, как он ожидал! Они трусили, и никакое другое слово лучше не опишет их поведение! В это невозможно было поверить, но они боялись, и это было совсем не похоже на славную битву при Лоди, когда мост был нами пересечен, и я бежал по нему вместе с Массеной, Ланном, Даллеманем, Червони и Дюпа!

На мосту Арколе был убит генерал Робер, а адъютант Мюирон закрыл Бонапарта своим телом и умер от ран. Два адъютанта генерала Бельяра пали рядом с ним. Генерал Виньоль был дважды ранен, Сулковский был ранен многократно и потерял сознание.

Я до сих пор не могу понять, как хорваты вообще позволили Бонапарту добраться до середины моста! Возможно, они на время прекратили стрельбу, думая, что это парламентар? Так или иначе, прорваться было нельзя, и Бонапарт отступил, и другие с ним



вместе. Он упал в болото и только чудом был спасен. Брат Луи и Мармон вытащили его из трясины. Тогда я рапортовал: “Наши корпуса были не тем, чем они обычно являлись... Наши герои истощены оттого, что они все время находятся под огнем... Мы тераем всех наших героев в борьбе”.

Где слава Ожеро? О ней не вспомнят! Ее перекрыли картины, изображающие Бонапарта на Аркольском мосту, Мари-Жозеф Шенье написал поэму “Смерть Мюирона”. Да что и говорить, Гро и меня изобразил! И мне это, черт возьми, приятно!

Этого Гро, ученика Давида, привезла с собой в Милан Жозефина. Бонапарт не мог позировать, проявляя крайнее нетерпение, и Жозефина сажала его к себе на колени во время завтрака. Наполеон экономил время, а Гро мог делать рисунки.

Немного терпения, много мастерства, и икона готова!

Да, Бонапарт, ты велик! Но ты, к тому же, дьявольски хитер. Любое дело, любой эпизод ты можешь обратить в свою пользу. Из поражения ты делаешь победу.

Так что же получается, мальчишки рискуют жизнями и возвышают Францию, а я возвращаюсь к графине Висконти? Я, сражавшийся за свободу в Америке, переживший испытания революции и нескольких кампаний, я, вошедший в Рим во главе лучшей из армий и провозгласивший республику?

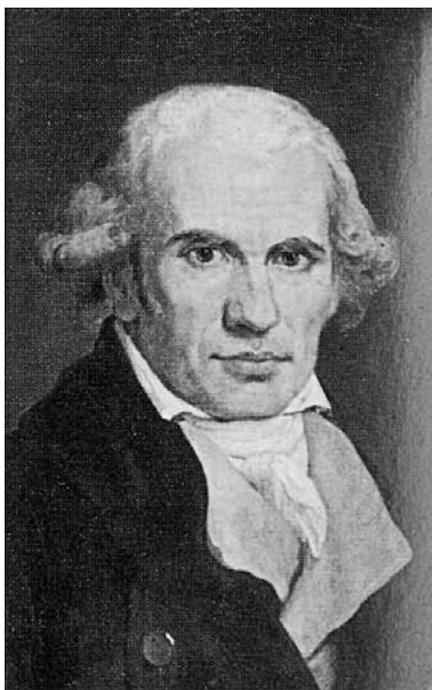
Я вернусь, моя любимая, — продолжал думать он, — но не сейчас, а позже. Мы так же будем вместе смотреть на луну, и ты услышишь то, что я тебе сейчас говорю. Но я должен быть здесь, в этом пекле и с этим человеком. С ним я связал свою судьбу, и если надо, погибну вместе с ним».

И судьбе было угодно, чтобы Бонапарт не нашел достойной замены своему начальнику штаба. Когда все ожидали отъезда Бертье, он вдруг вновь предстал перед Бонапартом.

— Кампания в Азии — решенное дело? — спросил Бертье.

— Ты же хорошо знаешь, что все готово, — ответил удивленный Бонапарт. — Я выступаю через несколько дней.

— Хорошо, в таком случае я вас не покину... Вот мой паспорт и инструкции.



*Гаспар Монж.
С картины Жана Батиста Мозассе*

Бонапарт обнял Бертье, и тот заплакал. Начальник штаба занял привычное место, но экспедиция в Сирию была бы лучше подготовлена, если бы он провел эти дни на своем посту. Армия Бонапарта имела три тысячи верблюдов и три тысячи мулов, но поклажа этих животных была явно недостаточной: не хватало провизии, фуража, воды. Солдатам, ученым и инженерам предстояло пересечь безводную пустыню, где нет никакой растительности. Переход был рассчитан на девять дней.

За час до начала движения войск Бонапарт продиктовал Бурьенну очередное послание Директории: «К тому времени, как вы будете читать это письмо, возможно, я буду стоять на руинах Храма Соломона [то есть в Иерусалиме]».

Генералы и офицеры взяли с собой большое количество багажа,

включая кровати, матрасы, ковры и тенты, в которых могли укрываться их жены и любовницы, а также белых и черных рабынь, ранее принадлежавших мамелюкам. Все эти женщины были одеты во французские одежды.

Итак, Бонапарт решил опередить врага и начал сирийскую кампанию. Она велась силами пехотных дивизий Клебера, Бона, Ланна и Ренье общей численностью десять тысяч солдат. В сирийскую армию были включены еще три тысячи человек, из которых тысяча четыреста — артиллеристы, восемьсот — кавалеристы и сто солдат полка дромадеров.

Перед началом экспедиции Наполеон собрал генералов и раскрыл им план похода. Три четверти собравшихся не одобряли этот план, но лишь генерал Жозеф Лагранж осмелился сказать об этом прямо.

Бонапарт взял с собой ведущих ученых, в том числе Монжа и Бертолле, математиков, биологов, ориенталистов и множество молодых ученых и инженеров. В журнале *La Décade* было опубликовано сообщение о том, что заседания Института временно прекращаются.

Имена Монжа и Бертолле часто упоминались вместе в различных приказах, поэтому многие в армии думали, что Монж-Бертолле — это одно лицо.

Ряд ученых получили специальные задания от командования. Географ Жакотэн должен был «выполнять землемерные съемки, пешие и с помощью компаса, расстояний, пройденных каждый день, и

расположений армейских лагерей, и составлять таким образом карту завоеванной территории». Натуралисту Савиньи поручалось собирать коллекции насекомых пустыни, а неутомимому Жоффруа Сент-Илеру, который провел объемные исследования фауны дельты Нила, теперь следовало пополнить коллекцию Института ящерицами, змеями и другими животными, которые могут встретиться на пути экспедиции.

Так поступал Александр Македонский — он посылал Аристотелю образцы флоры и фауны. В отличие от своего кумира, Бонапарт взял ученых с собой, и не только для проведения исследований. Он приступил к выполнению обширного плана, который предусматривал не просто распространение культуры передовой нации по всему свету, но и создание новых институтов и культурных центров на Востоке. Бонапарт увлек за собой не просто сливки Франции, но людей, способных заложить основы новой цивилизации, воодушевленных перспективами славы и великих дел.

В то же время он заботился о том, чтобы его предприятие производило максимальный пропагандистский эффект. Для этого он выпускал прокламации и создавал видимость того, что его поддерживают лучшие люди Египта. Он включил в состав экспедиции пятнадцать шейхов, кади (верховного судью Каира) и турка по имени Мустафа, которого он назначил эмиром-эль-хаджем вместо Мурад-бея.

Каждый шейх взял с собой по три роскошные палатки. Присутствие этих сановников в экспедиции должно было зримо доказывать мусульманам, что Султан Кебир — друг ислама. Эти люди могли быть полезными Наполеону в ходе возможных переговоров с политическими и религиозными лидерами Востока.

Участие в экспедиции шейхов, жен и любовниц офицеров создавало известные трудности, поскольку военные должны были уделять некоторое внимание людям, не имевшим опыта суровых испытаний. С другой стороны, их присутствие было знаком того, что экспедиция не должна была ограничиться достижением локальных целей — таких, как наказание Джебзар-паши.

Была одна женщина, которую Бонапарт не взял в поход, — его любовница Полина Фуре. Пережив душевную драму осознания измены любимой супруги, Наполеон вступил в связь с замужней женщиной. Их «медовый месяц» продлился всего несколько дней, после чего Бонапарт отправился в суэцкую экспедицию по следам древнего канала. Он не считал нужным взять любовницу даже в краткосрочное путешествие. Теперь же, когда он замыслил грандиозное предприятие, воплощавшее все его жизненные устремления и политическую судьбу, он тем более

не хотел отвлекаться на любовные дела. В этом проявилась феноменальная цельность его натуры.

Полина Фуре пыталась протестовать, указывая ему на то, что жены офицеров находятся в таком же положении, так же подвергают себя опасностям, но все же направляются вслед за мужьями в экспедицию. Бонапарт был непреклонен и еще раз повторил, что на войне возможно все, а она должна беречь себя.

Он был бы счастлив, если бы она берегла не только себя, но и сына-наследника, иметь которого Наполеон страстно желал. Но ни Жозефина, ни Полина не могли забеременеть.

В чем причина этого? Полина, которую солдаты прозвали «Клиупатрой», утверждала, что не она здесь виновата. Бонапарт был расстроен и оставил ее одну в павильоне сада Эльфи-бея.

Еще в ноябре он внес определенность в другое личное дело: отправил младшего брата Луи во Францию. Здоровье брата, которого почти не видели и не слышали за прошедшие с начала экспедиции месяцы, стало ухудшаться. Возвращая его домой на корабле, который должен был прорваться через английскую блокаду, Бонапарт думал и о другом. Не имея ответа на свои мирные предложения от политических лидеров Востока, не получая содержательной информации от Директории и находясь в неведении относительно того, доехал ли Талейран до Константинополя или нет, Бонапарт решил наладить связи с директором Баррасом и министром Талейраном иным путем. И брат Луи должен был помочь ему в этом.

В 1453 году Запад утратил Константинополь. Три с половиной века спустя Бонапарт вознамерился вернуть его.

Он долго отказывался верить в то, что Порта объявила ему войну, и склонен был винить Джебзара в том, что отношения никак не удавалось наладить. Бонапарт знал, что у Джебзара шестьдесят тысяч солдат, но продолжал писать ему в начале 1799 года: «Я не желаю воевать с вами, если вы не являетесь моим врагом, но для вас настало время объясниться».

В ответ Джебзар-паша обезглавил человека, посланного Наполеоном с очередной депешей.

Оставив генерала Дюгуа на посту коменданта Каира, Бонапарт выехал из столицы 9 февраля вместе со штабом и дивизиями Бона и Ланна.

Дивизии Клебера и Ренье уже покинули оазис Катия и двигались в направлении Эль-Ариша.

Клебер снова был в строю, и его было видно и слышно издали благодаря статной фигуре и громкоподобному голосу.



Бонапарт должен был догнать дивизии авангарда. Он скакал на лошади, рядом с ним тряслись в седлах Бертье, Бурьенн и Евгений Богарне. Бонапарт делился с ними своими планами.

— Я решил взять инициативу в свои руки, — говорил Бонапарт Евгению, — и самому перейти через пустыню, не дожидаясь, пока Джеззар-паша начнет теснить нас своими полчищами. Мы должны громить его варварскую армию по мере подхода различных дивизий и овладеть всеми складами и крепостями (Эль-Ариш, Газа, Яффа и, наконец, Акра, логово этого зверя). Я намерен вооружить христиан Сирии, поднять восстание друзов и маронитов, которые страдают под гнетом Джеззара, а затем действовать сообразно обстоятельствам. Я надеюсь, что при получении известия о взятии Акра мамелюки, арабы Египта, сторонники дома Дахэра присоединятся ко мне. Если все будет развиваться так, как я задумал, то к июню мы станем хозяевами Дамаска и Алеппо, и наши аванпосты будут находиться на горах Тавр. В моем непосредственном подчинении будут двадцать шесть тысяч французов, не менее шести тысяч мамелюков и арабских всадников из Египта, которые наконец-то поймут все выгоды присоединения ко мне, примерно восемнадцать тысяч друзов, маронитов и других сирийцев. Я рассчитываю на то, что Дезэ пришлет мне африканских воинов и сам будет готов прийти к нам на помощь — после того, как уничтожит Мурад-бея. С высоты этого положения я смогу воздействовать на Порту, принудить ее к миру и согласию на поход в Индию. Через год мы прибудем на Инд с сорокатысячной армией! И я знаю, что шах не будет противодействовать проходу нашей армии через Басру, Шираз и Мекран.

— Друзы, марониты и другие племена и народы, почему они должны к нам присоединиться? — спросил Евгений. — Они о нас, наверное, и не слышали!

— Скоро услышат! — весело ответил Бонапарт. — Присоединяться к победителям — это так естественно, это заложено в природе человека. Предпринимать что-либо свое, создавать новое там, где ничего не было, — на это способны очень немногие. А чувствовать себя победителем не потому, что ты сам одержал победу и много страдал ради этого, а просто потому, что вовремя встал в ряды триумфаторов, примкнул к ним — это по плечу многим! Что ж, мы согласны, пусть они получают этот приз и пополняют наши ряды. Я также думаю обратиться к евреям, которые вот уже восемнадцать веков исключены из списка наций, ведущих самостоятельное существо-

вание. Государства создаются воинами, так пусть и евреи вновь возьмутся за оружие, и мы поддержим их стремление к свободе.

Двадцать пятого января, за полмесяца до начала похода, Бонапарт направил нарочного с письмом к Типпу Сахибу, «майсурскому тигру», стороннику французов в Индии. К посланию была приложена записка, предназначенная для имама Маската: «Поскольку вы всегда были нашим другом... я молю также о том, что вы поможете доставить это письмо Типпу Сахибу...»

Типпу Сахиб был правителем, воином и человеком высокой культуры. В библиотеке Серингапатама, столицы его государства Майсур, хранились две тысячи древних восточных рукописей. Они станут основой коллекции восточных рукописей Британского музея.

В Серингапатаме было посажено Дерево Свободы, в честь чего была проведена торжественная церемония и открыт революционный Якобинский клуб. Его члены провозгласили «смерть тиранам» и поклялись свергать всех вождей, которые не были выбраны народом (к слову сказать, сам Типпу Сахиб выбран не был).

Чтобы получить поддержку французов в борьбе с англичанами, Типпу Сахиб направил делегацию на остров Иль-де-Франс в Индийском океане (Маврикий). Делегация прибыла в январе 1798 года, и эта новость стала известна Бонапарту перед отплытием в Египет.

Спустя три месяца после того, как Бонапарт послал письмо «майсурскому тигру», англичане штурмом взяли Серингапатам. Когда солдаты ворвались во дворец Типпу Сахиба, то обнаружили убитых соотечественников. Самого правителя Майсура там не было.

Узнав, что Типпу погиб в схватке у ворот, Артур Уэллесли проделывает короткий путь к северной стене крепости, где обнаруживает туннель, полный мертвых тел. Будущий противник Наполеона сам проверяет пульс у низкорослого, толстого и хорошо одетого человека. Это и есть Типпу, и он не подает признаков жизни.

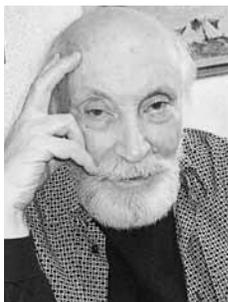
Султан сражался до конца, отстреливаясь от нападавших, и был несколько раз ранен. Наконец мушкетная пуля попала ему в висок.

Бонапарт также писал письма королю Цейлона, правителю Танжера и другим восточным властителям. Но если письмо Типпу все же было отослано, то остальные депеши оказалось невозможно доставить адресатам ввиду трудностей сообщения с ними.

Продолжение следует.



Михаил ЛИВЕРТОВСКИЙ



От редакции.

Разделяй — и властвуй! Старая истина. Разделили землю нашу — и, навязывая цивилизации нашей веру в золотого тельца, властвуют заокеанские любители прав человека. Заметьте: прав (!), но не самого человека — по образу и подобию Божьему созданного.

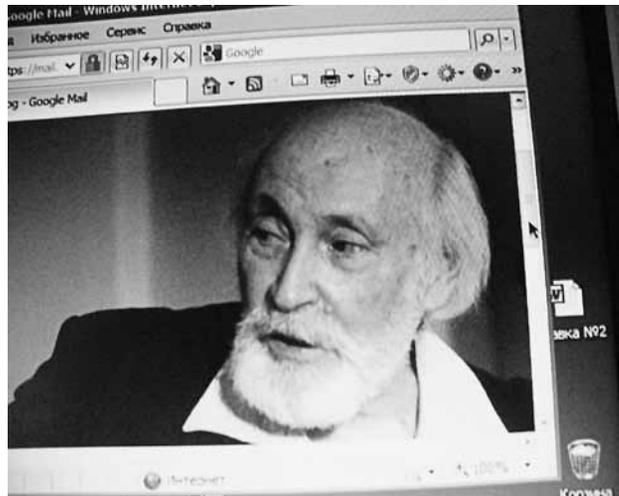
Человек сегодня воспринимается как некая дополнительная деталь смартфона или айпэда — очередной адской машинки, словно выпрыгнувшей из таинственных миров Шекли и Брэдбери. Происходит опасная подмена мира реального виртуальным. Повороты компьютерной игры никогда не смогут заменить настоящих чувств, правды подлинного жизненного поиска.

Сегодня пятнадцати-двадцатилетние даже не могут представить всех трагических путей русского солдата в прошлом веке. «Забывтая война», «забытый поход» — привычно звучат такие словосочетания. Но так было всегда. Десять лет назад в Польше делегацию «Юности» с венками и цветами сами поляки отвели к могилам русских воинов, погибших в Первую мировую, рассказав, что во времена коммунистической власти об этом кладбище никогда не вспоминали.

В новой России с уважением и гордостью называют имена героев Великой Отечественной. А ведь та война не закончилась 9 мая 1945 года. Перед вами, любезные наши читатели, история о «забытом Гоби-Хинганском походе». Вот когда еще раз задумаешься о том, как же по-разному видят войну генерал и солдат, как мгновенна жизнь человеческая...

Наш автор, ветеран Великой Отечественной Михаил Борисович Ливертровский (первая публикация в «Юности» состоялась в № 5 за 2011 год) уже победителем прошел трагический путь через пустыню Гоби и хребты Большого Хингана, став непосредственным участником летне-осенней восточной кампании 1945 года.

Внук мой целыми днями и ночами роется в Интернете — тусуется со своими сверстниками или старается заглянуть в будущее. А я, как заправский старьевщик, перебирая полустертые имена и истлевшие факты, роюсь в завалах своей памяти... И посмотрите — что я нашел!





Прошлое не возвращается. Оно превращается в воспоминания, в нагромождение минувших событий, мыслей, чувств, расположенных безо всякого порядка. Время уже не властно над памятью. У памяти свои законы.

Валентин Катаев

ПАРТИЯ ДЛЯ КЛАРНЕТА

Воспоминания. История о «забытом Гоби-Хинганском походе»

Давно... лет так... ну, очень давно я собираюсь привести в порядок свой домашний архив и, главное, фотофонд. Даже самому стало смешно и показалось странным: неужели в течение многих лет невозможно было выкроить время?! Конечно же, я много раз принимался за это дело, без сомнений, нужное — нужное мне самому, всей семье, моим друзьям. Да все как-то не получалось: от основных моих занятий оставались считанные часы, но и те с жадностью поглощались ненасытными «неотложными делами»... Притом сама работа с архивом, которая должна была надолго растянуться, честно говоря, просто пугала. Все-таки преодолеть оторопь перед множеством документов не так-то просто.

Но сейчас, когда я взглянул на календарь и обнаружил череду цифр, старательно исполняющих роли знаменательных дат (годовщин, юбилеев — государственных, общественных, семейных — да каких! — 60-, 75-, 85-летие...), то понял, что попал в плотное окружение круглых дат и отступать уже некуда! Пришлось, как говорится, засучив рукава...

«Фонд», «архив»... Звучит, конечно, слишком громко. Но так в нашей семье и друзья прозвали кучи фотоснимков, писем, дневников, сваленных в большие бумажные пакеты, спокойно отлеживающиеся в дальних углах книжных шкафов, антресолей и в огромном чреве дивана. Отлеживаются себе, пока не возникнет острая нужда в каком-нибудь документе. Или не заглянут на огонек добрые гости. Гости мои чаще всего люди немолодые, любящие пообсуждать давние события. Поспорить, конечно, о полузабытом. А потом, будто по делу, для доказательства своей правоты попросят разрешения заглянуть в мое «хранилище». И долго будут рыться в россыпях фотографий, писем, записок — в поисках чего-то, что по закону подлости никак не ловит-

ся. И вот теперь я помогу моим друзьям, в большинстве — бывшим однополчанам (и себе, разумеется): соберу разные документы — довоенных лет и времен Второй мировой войны. Для нас она — Великая Отечественная! Сделаю альбомы, раскладушки, стенды. Все надпишу, подпишу, проставлю даты. Да, необходимо, чтобы каждая композиция была посвящена какому-то одному событию, так как я и мои друзья обстоятельно отмечаем не только день 9 Мая, но и день Победы над Японией, потому что наша часть, завершив военные действия в Европе, была направлена на Дальний Восток и дошла до Порт-Артура. Мы отмечаем День танкиста, потому что последний год войны служили в составе танковой армии; а 19 ноября — День артиллерии — отмечаем, потому что до сих пор считаем себя артиллеристами и, приняв «наркомовские сто грамм», поем песню: «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовут Отчизна нас...» — поем дружно, несмотря на давно уже устоявшуюся разницу в наших взглядах — на прошлое, настоящее и будущее России...

Я, наконец, решительно распахнул шкафы. Открыл сундуки, чемоданы. Вскрыл чрево дивана, где хранились настоящие клубки Ариадны, способные, разматываясь, вывести много интересного из лабиринтов забвения...

Высыпал содержимое пакетов на столы, подоконники, на пол. И...

Прямо перед моими глазами оказался большой, хороший по композиции и цвету снимок, на котором был запечатлен мой сын. Примерно в десятилетнем возрасте. Он в пионерской форме, с кларнетом в руках, а рядом с сыном огромная собака — черный терьер, чемпионка породы, любимица семьи Джина... Снимок этот, несмотря на всю теплоту вызванных им чувств, никак не подходил к

задуманным мной композициям, и я готов уже был отложить его в сторону, как неожиданно вспомнилась история, связанная с ним. Теперь моему младшенькому за пятьдесят, а в ту пору он занимался во Дворце пионеров в духовом оркестре. Оркестр тогда готовился к большому празднику, и старательному пионеру приходилось «брать работу на дом». Он без конца дудел, без усталости повторял какие-то странные рулады, и нескончаемая какофония начинала порядком надоедать всем домочадцам — кроме собаки, которая с удовольствием подвывала кларнету, ни капельки не фальшивя... На это обратили внимание даже соседи и деликатно спросили: а что они, то бишь сын с собакой, так долго разучивают?!

И я уже не выдержал и спросил сына: «Что у тебя не получается? Что ты разучиваешь?» «Гимн Советского Союза, — спокойно ответил он и, наткнувшись на мой недоуменный взгляд, добавил: — Я разучиваю партию для кларнета...»

Это объяснение не могло меня не развеселить — я расхохотался. Потом смеялись все домашние, соседи и друзья. Но сейчас эта старая, сама по себе забавная история сумела проявить в моей памяти очень похожую, только еще из более дальнего прошлого...

В зиму 1945 года, далеко-далеко от Москвы, в Маньчжурии, на железнодорожной станции Харбин солдаты и офицеры моей артбатареи перегружали пушки, боеприпасы и порученные нам для сопровождения армейские грузы с узкой маньчжурской колеи на нашу широкую. Мы после окончания восточной военной кампании возвращались домой в Россию... На платформе царил обычная рабочая суэта.

Среди снующих на платформе батарейцев вышлся долговязый, угловатый человек, худой, нескладный, чем-то напоминающий Дон Кихота. Только вместо рыцарских доспехов на нем очень истоптанные ботинки, полуистлевшие обмотки, достаточно потрепанные солдатские шинель и папах образца 1914 года, вместо рапиры у него в руке — кларнет! Он им размахивает, стараясь привлечь к себе внимание. Этот человек, неизвестно откуда взявшийся, в течение всех дней нашей работы находился среди нас. Пытался помогать, но большей частью развлекал батарейцев, исполняя на кларнете то что-то вальсообразное, напоминающее «Амурские волны», то что-то маршеобразное... Но все исполнял он старательно, самозабвенно... И это очень нравилось моим товарищам.

Обычно неряшливый, заросший, в день нашего отправления он явился подтянутым, был чисто выбрит и звонким голосом кричал: «Господа!

Мишенька, ваше благородие! (Так он обращался ко мне). В честь вашей победы... Простите! Ваших побед! На прощание я специально разучил Гимн Советского Союза, послушайте!» Странный музыкант прикрепил к кларнету самодельную держалку, вставил в нее ноты, и запрыгали, поскакали звуки... Батарейцы замерли соответственно моменту. Но то, что они услышали, никак не напоминало гимн нашей державы. Может быть, исполнитель спутал его с гимном другой страны? Но никто не перебивал, все дослушали до конца и, когда исполнение завершилось, даже заплодировали. Музыкант торжественно протянул мне ноты с надписью: «Русским артиллеристам от вечного военного музыканта Евг. Ив. Марковского. Харбин, 1945 год». На самом верху нотного листа было напечатано: «Партия кларнета». Я объяснил удивленным слушателям, почему так неузнаваемо прозвучала привычная для нас мелодия. Тогда батарейцы заплодировали кларнетисту еще громче и дружнее...

— Отец, а почему ты об этом никогда не рассказывал? — спросил меня мой сын (которому уже пошел шестой десяток). — И вообще: о твоих похождениях под Москвой, в Сталинграде и в Европе мы слышаны, а о том, что было в Китае, — ничего...

— Почему «ничего»? — вступилась за меня старшая дочь. — Во-первых, ты что, про «чемодан» забыл? Как папа на толкучке в Мукдене выторговал хороший чемодан, аккуратный, желтый такой, из настоящей кожи — и всего за три рубля, а торг начался с пятисот... Да, папа? За умение торговаться и вообще как победителю продавец преподнес отцу маленький флакончик французских духов. Папа думал, что торговец шутит, что это духи какие-то такие... и небрежно бросил флакон в чемодан. Духи там пролились, и нутро пропахло! Не помнишь? До сих пор благоухает чемоданчик! Неисчезающее амбре. Больше полувека!

— Да нет, я серьезно, — перебил сын старшую сестру. — Там же что-то происходило? Как ты попал в Харбин? Что делал в Китае? Почему никогда не рассказывал? — продолжал допытываться сын.

Меня немного покоробили слова «попал», «делал», «похождения». Они никак не соотносились с моими мытарствами, ранениями, гибелью товарищей... Это была трагедия целых народов! Конечно же, родившиеся, выросшие, созревшие после той войны наши дети не могут понять, тем более почувствовать, что за битвы происходили в середине прошлого века, а в двух словах не объяснишь... Неожиданно вспомнились лермонтовские стихи: «Скажи-ка, дядя...» И я чуть не заговорил словами из «Бородино»: «Да, были люди...» Но почему-то отделался шуткой в тоне вопроса:



— Как я попал в Харбин?.. Из Мукдена.

— ?

— В Мукден — из Порт-Артура.

— ?

— А в Китай я попал через пустыню Гоби и хребты Большого Хингана, который тогда писали черточку: «Хин-ган», а теперь почему-то вместе. А вот... почему не рассказывал?

«Странно, почему? — подумал я. — И никогда, никому про ту войну не говорил... Так — кое-что, вроде случая с чемоданом...»

Возможно, потому, что это событие оказалось в тени Большой Победы в Европе? Политики, прессы — да все говорили и говорят сейчас о восточных событиях тех лет вскользь, проборматывая. Даже мы — я, мои товарищи-однополчане, да вообще — фронтовики, с которыми позже подружился, — регулярно отмечающие и День победы над Японией... Мы поднимаем чарки, произносим какие-то слова. Но никакого отношения к тем событиям эти слова не имеют. Говорим о прочно привязавшихся стариковских болячках, о совершенно «отвязанных» взрослых внуках... А если кто-нибудь нечаянно произнесет «Дальний Восток» — разгорается жаркий спор о том, отдавать Курильские острова японцам или не отдавать.

Нам предстоит снова собраться и отмечать День победы над Японией, хотя официально этот день, если память мне не изменяет, никогда не отмечался. Как будто той войны и той победы не было. Но она была... У нас есть медали «За Победу над Японией». И еще есть медаль «За поход через пустыню Гоби»!

В этот раз я решил попытаться рассказать о том, что помню, и заставить своих товарищей заговорить о летне-осенней восточной кампании 1945 года.

Тем более что там, на Тихом океане, закончилась Вторая мировая война и там же началась, без передышки, — *Третья (!)*, которая до сих пор не кончается.

...Взглянув на «холмы», где таились документы, которые могли помочь рассказать о многом, и памятуя об их зловредной привычке бесследно исчезать, прятаться, я решительно обеими руками поддел под самое основание один «холм», другой, перевернул их вверх тормашками.... Вот они — нужные рисунки, фотографии, маленькая тетрадка. Тетрадка, которую я старательно искал больше четверти века, — мое письмо о походе! Думал даже, что уже безвозвратно утеряно это очень важное звено в нашей более чем трехгодичной переписке с женой, точнее, будущей женой — с девушкой, которую еще ни разу не видел. Но она мне

уже очень нравилась. Ей-то и было адресовано это послание...

Маленькая тетрадка. На мягкой картонной обложке, сильно помятой временем, все еще читаются тисненные латинские буквы Not-Buck. Тетрадка со своей историей...

Я не без трепета раскрыл ее — и вздрогнул, увидев исполненный моей рукой витиеватый профиль Хинганского хребта. Линии мягкие, хребет кажется воздушным, добрым... Но сколько неприятностей доставил нам этот хребет со своими очень неудобными для наших тяжелых машин перевалами. Под «портретом» хребта слова: «Великий поход через Хин-ган и Гоби...» Пустыню я не изобразил. Не сумел передать пустоту!

Но, представив ее, тут же ощутил, как воспоминания отрывают меня от сегодняшнего дня. Как они сразу окунули в нестерпимую жару, удушающую пыль, гарь и грохот движения, которые многим не дано было вынести. Я торопливо перелистал страницы письма, пробуя пробежать по тем местам... Но решил вернуться на первую страницу и пройти всю дорогу с самого начала, чтобы не упустить ни одной детали пережитого похода. Письмо писал урывками в несколько присестов. Но как отправил — не помню. И как дошло — не знаю. Может быть, «по пути» вспомню...

Конечно же, в письме нет того, чего не могла пропустить военная цензура. В нем я не делал попыток склонить моего адресата (тем более — незнакомую девушку) к тяжелым сопереживаниям. Но я попробую восполнить эти пробелы, полагаясь на дневниковые записи и на не подводившую еще меня память.

Итак, в путь...

Для меня и моих товарищей восточная кампания началась с того, что кончилась война в Европе. Мы только отсалютовали Великой Победе, которая застала нас в столице тогдашней Чехословакии — Праге. Но еще не успели нагуляться по улицам и пивным, хорошо нам знакомым по произведениям Гашека и Чапека; вдоволь наплясаться в клубах со странным названием «танцульки»; не успели мы наговориться с братьями-славянами о будущем, как нас собрали, построили и приказали тщательно проверить каждую часть: танки, машины, пушки, стрелковое оружие; пополнить комплект боеприпасов и приготовиться к погрузке на станции Р. — в 00 часов будут поданы платформы.

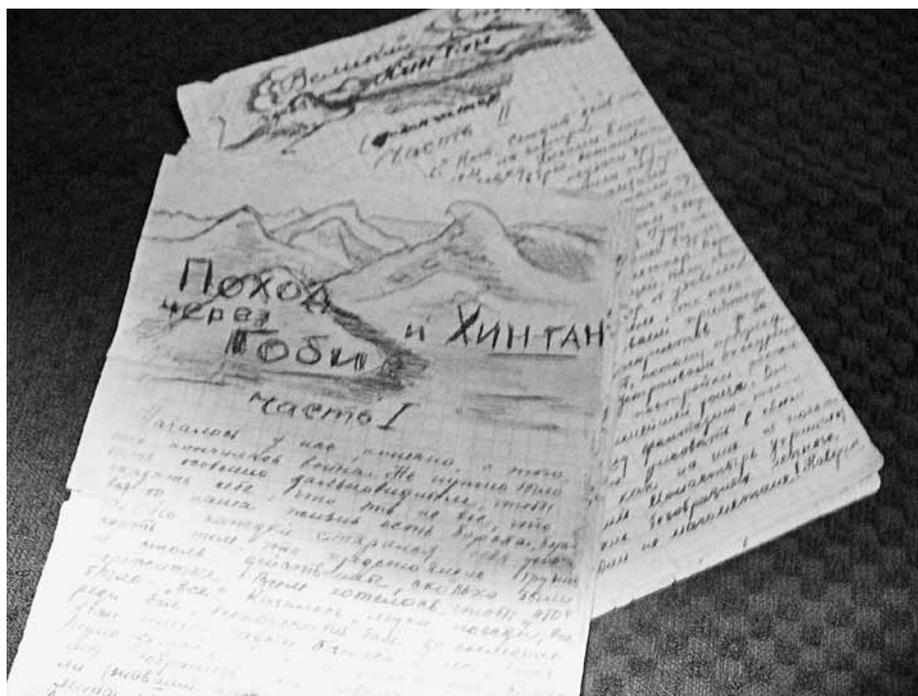
Сначала, когда только была отдана команда на построение (да еще общевойсковое, а это случилось крайне редко), думалось, что созывают нас на торжественную церемонию. Старшие командиры

поздравят, наконец, как следует нас, младших бойцов и офицеров, с Великой Победой (а то все на ходу). Отметят кого надо! Потом укажут место, куда сдавать оружие на переплавку. И в заключение прозвучит команда вроде: «Штыки в землю — и по домам!»

Действительно, собрались все старшие командиры корпуса, даже прибыло армейское начальство. Но очень уж серьезные лица были у них, будто собирались кого-то хоронить.

Начальник штаба бригады зачитал приказ деловито, без улыбки и намеков на иронию, особо подчеркнув необходимость пополнить комплект боеприпасов. Микрофон усиливал серьезность его тона...

Это не могло не насторожить. Стерлись радостные улыбки с лиц моих товарищей. Сбилось радостное дыхание. Строй стал внимательно вслушиваться и присматриваться, как и что говорят наши командиры. Заявление Члена Военного Совета армии еще сильнее напрягло нас, совершенно развевая праздничное настроение. Генерал старательно размешивал ложку дегтя в бочке меда — из его пространного выступления получалось, что завоевать Победу — это еще полдела, надо уметь ее защитить. Есть силы, целые армии и даже государства, которых наша победа не устраивает. Эти силы... Он не называл «эти силы», и нам самим пришлось строить догадки, «с кем и где» придется «стыкаться»... Тут же стали высказываться предположения. Сначала тихим шепотом, потом все громче... За моей спиной кто-то с грузинским акцентом процедил: «Нэ сыдыца чумным эсэсовцам. Я бы их, гадов, сваймы рукамы каждого...» «Поднести их тебе?» — съехидничал кто-то. — «Нэ шуты так». Тот, кто попробовал шутить, добавил: «Какие шуточки? То, что мы их побьем, так это как пить дать. А во что это нам обойдется... после Победы?» Естественно, вспомнились наши недавние жестокие бои с эсэсовскими частями уже после официальной капитуляции Германии. В этих схватках противник не сдавался и не брал пленных. Взаимное зверское истребление завершилось победой нашей армии, но...



Предположения делались самые невероятные. «А может, это янки?» — «Янкели? — переспросил кто-то с украинским акцентом. — Так евреи ж з нами?!» — «Не янкели, а янки — америкашки. Они и англичане могут учудить. Они вечно с нами не согласны». — «Да то ваши бандеровцы что-то задумали, — сказал окающий по-волжски голос. — Не чипай наших бандеровцев. З ними мы самы разберэмся. Вы з власовцами своими разберитесь...»

Этот спор грозил перерасти в рукопашную. И трудно сказать, чем бы он разрешился, если бы Член Военного Совета не сделал глубокую паузу, оглушившую весь плац. После нее он стал говорить о дисциплине, нет, он не опустился до старшинско-сержантского окрика: «Разговорчики в строю!» Нет, он стал говорить о дисциплине, которая всегда приводит к Победе, дисциплине, которая обеспечивает стойкую сохранность завоеванной Победы... Его очаровывающий голос на волнах непрерываемой логики рокотал в полной тишине.

Но все же кто-то отвлекся и поделился с соседом: «А где командующий армии? Чего-то его не видеть?» Сосед ответил: «В Москву вызвали». То ли это был ответ хорошо информированного человека, то ли домысел... Во всяком случае, строй как-то легко объединил слова «командующий», «Москва» (каждый от себя добавил слово «парад», что равнялось — «в Москву, на парад Победы», — всем этот поворот в догадках понравился) и радостно заулыбался. Нет-нет, вслух эти слова никто не произносил — они читались в ярко



светящихся глазах воинов-победителей. Товарищи многозначительно подмигивали друг другу, мол, знай наших! А кому еще, как не нам? Гвардейская армия поставила красивую точку в войне. В Праге. Разгромив Шееровскую эсэсовскую группировку! Кое-кто показушно начал приводить в порядок обмундирование, строго выстраивать на груди ряд наград, шуточно демонстрируя «справный вид». Никто никого не пробовал разубеждать. Никто не пытался засомневаться.

Сборы проходили живо, весело. Хотя сакраментальные слова даже невзначай никем не произносились. Трудно сказать, почему. То ли из боязни спугнуть удачу, то ли по негласному соглашению шуток обрел статус «военной тайны», потому как начальство при объявлении приказа об этом ни словом не обмолвилось...

Времени на сборы отвели мало, К тому же нам, артиллеристам, времени на все всегда требовалось намного больше, чем другим родам войск, — хозяйство такое. Но нам обязательно нужно было уложиться в срок. А у меня еще теплилась мечта... ну не мечта, а скорее желание, выкроить несколько минут и сбежать на «танцульки». Смешно? Нет, не затем, конечно, чтобы «поплясать» (хотя по молодости лет я это дело любил и хорошо умел), а для того, чтоб попрощаться со своей постоянной партнершей, которую мой ординарец называл не иначе как «ваша долгоногая чешка».

В танцклуб мы с моим товарищем-офицером забрели не случайно, как только «танцульки» открылись...

Даже на войне, на фронте — в неудобьях рядом со смертным страхом — мы умели отвлечься: в часы затишья на отдыхе сполна отдавались играм, концертам, которые сами организовывали, танцам — от украинского гопака до аргентинского танго. Плясали под собственные напевы, под звуки губных трофейных гармошек, а когда у нас появился патефон, то под музыку заезженных пластинок. С партнершами у нас была напряженка — и я всегда плясал со своим товарищем, командиром огневого взвода, который умел ценить изобретательность в танце.

Так что как только в почти уцелевшей после боев Праге, одном из красивейших городов Европы, открылись клубы с таким игривым названием, с живой музыкой да еще с «долгоногими» веселыми девицами, мы ринулись туда. Наше воображение не могло не разыграться! Правда, чуть-чуть побаивались, что можем не соответствовать бытующим там требованиям...

Когда же мы вошли в зал, то были поражены тем, как медленно, степенно, я бы сказал, одинаково, пары исполняли разнообразные танцы. Так нам показалось. Мы привыкли танцевать по-другому. Тем

более что в модном довоенном австрийском фильме «Петер» исполнительница главной роли знаменитая Франческа Гааль подала яркий пример свободной трактовки исполнения современных танцев. Осмотревшись, увидели: на скамьях вдоль стен отдыхали или ожидали партнеров свободные дамы. Среди них заметно выделялась уже достаточно взрослая женщина. Она была в платочке, который я про себя назвал почему-то «вдовый», в темном длинном плаще... Похоже, хозяйка? Какая-то руководительница? Так вот, несмотря на то, что свободных партнерш хватало, мы не рискнули никого пригласить, опасаясь быть непонятыми, — решили вдвоем показать танец, как мы его понимаем. Ступили на круг и показали. Остальные танцующие замерли. Смолк оркестр. Все удивленно нас рассматривали. И вдруг женщина во «вдовьем» платочке и темном длинном плаще решительно направилась к нам. Мы ожидали упреков, назидательных поучений на тему о том, что «здесь так не принято»... А женщина быстро смахнула с себя «вдовый» платочек, сбросила плащ, вручила все это моему товарищу. Должно быть, потому, что я был старше по званию и в танце исполнял роль «ведущего». Меня же она демонстративно вывела на середину зала и отдала в мои руки свое стройное, гибкое, творчески податливое, необычайно умелое тело. Ей уже исполнилось двадцать шесть лет, а мои двадцать два — еще не округлились. Но я сумел оправдать ее доверие. Все вечера, что доводилось бывать в том клубе, мы танцевали только вдвоем. Самозабвенно, весело, задорно, получая удовольствие и доставляя его другим. Многие пары останавливались, чтобы полюбоваться нашим танцем... Мы легко использовали фокстротные па в вальсе. Изысканные па танго завершали упомогающим вальсированием, подпевали оркестру и успевали объясниться в любви. Она — своему мужу. Он был врачом и погиб в печальной памяти шахтерском поселке Лидице, который фашисты уничтожили дотла за отказ выдать антифашистов — ни один человек оттуда не вышел... А я во время танца объяснялся в любви... незнакомой девушке, с которой переписывался уже три года, москвичке... А еще во время танца Гелена (так звали женщину) старательно учила меня чешскому языку. И я уже стал многое понимать из того, что она говорит...

Но в момент прощания я плохо понимал, что говорила Гелена. Я тогда, во время сборов, не сумел выкроить время и сбежать на «танцульки». Проститься пришла она — Гелена. Для меня всегда оставалась безответной загадка, как мирное население одновременно с нами (а то и раньше нас) узнает военные тайны, особенно связанные с перемещениями войск! И на этот раз я не мог не удивиться тому, как Гелена нашла наше расположение, свободно прошла

КПП — контрольно-пропускной пункт, разыскала меня среди одинаково одетых людей, одинаково суetyащихся на сборах, среди одинаковых машин. Но она нашла. И когда остановилась напротив нашей батареи и окликнула меня, в нашем расположении наступила напряженная тишина. К тому же она обратилась не по званию, а по имени...

Гелена с обреченностью во взгляде положила руки мне на плечи, словно собиралась отдаться танцу, и со слезой выдохнула: «Едете?» В траурной упаковке она преподнесла слово «Бросаете?..» Я напрягся, силясь понять, к чему она клонит. Нас ведь связывали только танцы. Чем же так огорчил Гелену мой отъезд? Опасаясь расстроить ее вконец, я не осмелился ответить на ее вопросы даже коротким «да»... Оно казалось мне слишком твердым, жестким. Оставалось только виновато кивать головой, пожимать плечами. Я забыл все слова, приготовленные для прощания. А она продолжала: «Предаете нас, как тогда англичане с французами?!» Мне уже стало казаться, что разыгрывается маленький спектакль, даже задумался над тем, как ей подыграть. Но не смог. Она говорила по-чешски. Те, кто понимал ее, замерли в напряженном ожидании: что отвечу я. А она, будто зная, что я не способен что-либо сказать, вела свою партию. Она говорила: «Если вы не пойдете до Ла-Манша, они начнут снова». «Какой Ла-Манш? Кто они?» Я начал было говорить о решительной победе над фашизмом. О вечном мире. О нерушимом согласии союзников... И вообще я не понимал, почему она говорит со мной на эту тему, а не с командующим фронтом, на худой конец — с командармом?! Я не представляю, как сложился бы наш разговор дальше, если бы не прозвучала общая команда «По машинам!».

Она торопливо вынула из ридикюля небольшую тетрадку с тисненными на картонной обложке буквами Not-Buck, свою фотографию с надписью на обороте: «Подиват з мене — вспомьянат. Гелена Колярьска». Принимая дар, я даже не смог подобрать слова благодарности. А Гелена попыталась сказать по-русски: «Вспомьянат — пиши...» — и показала рукой для наглядности, что я должен делать. Потом грациозно протянула руку для поцелуя, католически два раза нежно чмокнула меня в обе щеки. Перекрестила. Пожелала счастливого пути. «Дякую...» — только и мог я произнести (безнадёжно пытаясь вспомнить, на каком это языке — польском, украинском, чешском?). Я тонул в смущении. Еще раз спасла меня команда «Моторы!». Что позволило отдать честь и, неловко пятясь, торопливо уйти. Меня лишь успело догнать знакомое пожелание: «На здар, Руда армада!» («Да здравствует Крас-

ная армия!»), но оно уже относилось не только ко мне. Ей ответило всеобщее «ура!».

Меня долго мучило нескладное прощание после такой легкой, веселой, пусть короткой, но очень приятной дружбы. И я представить себе не мог, что очень скоро мне придется убедиться, какой провидицей окажется Гелена, моя долгоногая чешка. «Они», действительно, быстро-быстро все начнут сначала! Они, или мы, или кто-то третий — но война начнется в третий раз...

Мы двинулись в ночи. Сильно пострадавший от недавних бомбежек и обстрелов поезд едва тащился по только что отремонтированному полотну, шел, словно сапер по минному полю. Вагоны скрипели, дико шатало, натужно, как астматик, дышал паровоз... Думал выспаться — не получилось: война, хоть и закончившаяся, опять заставила думать... Ну о чем можно было думать, если по сторонам вдоль всего нашего маршрута по пути в Россию — разрушенные, сожженные города и села Европы, обглоданные леса, перекореженные мосты и дроги?! Конечно же, о вечном — об ответственности нашего поколения перед будущим! Вся Европа в дыму, копоти, пепле, и воронки, воронки от взрывов — большие и маленькие... Чехия, Германия, Польша... Варшава! Минск! Смоленск! Нет городов — одни руины (если бы мы ехали через Будапешт и Киев, то впечатление было бы то же!). Раздавленная, истерзанная Европа... И думалось, думалось: ведь это не нашествие гуннов?!

Мне даже показалось, что я слишком шумно дымаю и могу разбудить товарищей. Оглянулся. Никто не спал. Но все молчали. Только заряжающий первого орудия Сысин, встретившись со мной взглядом, высказался, как всегда, кратко и емко: «Да-а-а...» Кому, как не ему — трудолюбивому, справному крестьянину, который между посевной и уборочной страдой ходил, ездил по городам и весям, чтобы строить дома, предприятия, — кому, как не ему, знать, сколько сил и времени надо, чтобы это все восстановить! Командир третьего орудия, хозяйственный мужик из раскулаченных, Патрин добавил: «Наломали дров...»

Кто? Не гунны же, действительно! Европейцы, славившиеся своей мудростью, культурой, даром созидания, позволили себя одурманить национальными, державными и личными амбициями правителей и, как подзаборные алкаши, хватив лишку, в пьяном угаре подожгли свой собственный дом со всех сторон. Надо же: то, что создавалось тысячами, мы дружно, будто сговорившись, за четыре года превратили в лунный пейзаж!

«Что надо сделать, чтобы это никогда не повторилось?» — думал я и не знал тогда ответа на этот



вопрос, не знал, что нам всем предстоит всю оставшуюся жизнь ломать над этим вопросом голову...

Запах гари и тлена долго сопровождал наши эшелоны. Только где-то под Мичуринском этот запах стал перебиваться запахом хвойного леса, не тронутого войной. А не тронутые войной насыпи и рельсы позволили локомотивам повезти нас быстрее. Стало чуть веселее, почувствовалось, что медленно, но верно возвращаемся в свой песенный предвоенный рай! Я, конечно, думал о возможной встрече с незнакомой москвичкой. Надеялся вскоре увидеть близких, родных... Вспомнилось, что у нас было. Мы стали дружно пить, петь, крепко спать!..

Мы проснулись от страшного грохота. Спросо- нья можно было подумать, что мы вернулись в войну. Но нет. Нас просто били по ушам, по глазам — большущими железными балками. Не сразу можно было понять, что наезжающие на нас со свистом и грохотом железные балки — переплетения ферм железнодорожного моста через широченную реку, в которой нам, «сталинградцам», нетрудно была узнать родимую матушку-Волгу. И уж совсем просто и быстро мы догадались, что едем не на Парад, не в Москву. Мы едем на Восток — *туда*. Пусть это красиво называется «выполнением союзнического долга», о чем мы краем уха уже что-то слышали. «Но нам от этого не особенно полегчало» — эту длинную фразу сочинил немногословный заряжающий первого орудия Сысин. И ему никто не возразил.

Города замелькали, как полустанки. Мы стремительно обгоняли валяжно движущиеся поезда с фронтовиками, едущими к местам своего нового расположения. Ловко обходили по «неправильному пути» — с левой стороны — эшелоны с демобилизованными, которых радостно встречали заждавшиеся их женщины и дети. Гремела музыка... Все громко говорили и пели о верности, любви, сбывшейся надежде, мечте, мире, счастье!..

Нас, естественно, брали завидки, как сказал бы старший на батарее младший лейтенант Коваленко. Хороший надежный товарищ, которого с нами не было: он остался с тяжелым ранением в госпитале под Прагой. Кто-то остался под Веной... Под Будапештом. Многие остались навсегда — лежать в земле. Это с ними вместе мы завоевали победу над Германией, но не мир во всем мире. Как нам думалось. Это еще предстояло сделать. Завоевать! Ведь мы едем не на переговоры. Мы везем с собой пушки, танки, значит, снова будут рушиться мосты, гореть леса, исчезать с лица земли города... Неужели у людей... людей!.. нет других аргументов, способов, чтобы выяснять отношения? Да, мы завидовали тем, кто едет на Парад, тем, кто возвращается домой. Разве и мы этого не заслу-

жили? Разве мы не сделали для Победы всего, что могли?!

Все же, думалось, что мы *там* долго не задержимся. Справимся, теперь уже умеючи, по-быстрому, и нас тоже будут торжественно встречать...

Теперь мы знаем, что потом будем возвращаться домой по этой же дороге порознь, не в эшелонах, не на платформах, а в плацкартных или даже купейных вагонах. И нас уже не будут встречать толпы сияющих людей с музыкой. Потому что завоеванная *там* победа не будет так много значить для нашей Родины, как прежняя в Европе. Да и привезем мы с Востока кучу проблем, с которыми будем долго разбираться. Встретят нас, конечно, — может быть, очень постаревшая мать, истомленная жена или полная надежд девушка — хорошо, если будет кого встречать, ведь оттуда вернутся не все...

Но это будет потом, а тогда нам не дано было заглянуть в будущее — тем более что война для нас еще не закончилась! Тогда эшелоны, будто кони, закусившие удила, мчали нас в неизвестность.

И, как ни странно, зависть с каждым днем слабела, таяла, исчезала — у нас даже стало появляться и быстро утверждаться чувство гордости, ведь нам *такое* доверили: из стольких прославившихся армий, соединений именно нам (!) поручили дозавоевать мир! А вскоре забеспокоились, остро ощутив, что на Востоке нас очень ждут... Со встречным ветром в нас вползала тревога, смешанная с нетерпением, и от этого казалось, что движение поезда заметно ускоряется. Свистело в ушах, ведь ехали мы на открытых платформах, а спастись от ветра и дождя могли лишь за щитами своих пушек.

Пронеслись домны, терриконы и юрты Казахстана. Новосибирск. Красноярск... Мы стали меньше смотреть по сторонам. Занялись играми по тактике, теоретической артстрельбой. Углубились в изучение разведанных о восточном соседе, армия которого не только не уступала германской, но и превосходила ее по выучке и техническому оснащению.

А еще заряжающий третьего орудия Вацлав Ташков — историк по призванию, студент истфака КГУ в прошлой жизни — много рассказывал нам о Востоке. О его природе, народах, его населяющих, их культуре, особенностях — обо всем, что он узнал из книг, от бывалых людей, в общем, обо всем, что могло объяснить, почему люди западной культуры говорят «Восток есть Восток».

Когда ощутили свежее дыхание Байкала, подумалось: если будем так мчаться, то, чего доброго, не заметим, как очутимся у моря, перемахнем его и окажемся у стен Токио... Но за Читой мы повернули направо, а через ночь наш паровоз деловито тутукнул, выпустил, словно выдохнул, пар и остановился.

Мы очутились среди оглушительной тишины, на плоской-плоской земле, абсолютно такой, какой ее изображали, когда не знали, что она круглая, мы оказались под огромным синим колпаком неба... На заметно светлеющей синеве еще видны были лукаво перемигивающиеся звезды. Они, должно быть, держались на небосклоне, чтобы после своего дежурства стыллой ночью искупаться в теплых лучах восходящего солнца. Перед самым его пробуждением тихий, но властный ветер деловито прошелся по округе, устроив побудку всему существу. Уже достаточно пересохшая к концу лета трава и низкорослые кустарники, похрустывая стеблями, нехотя подчинялись мягкому, но настойчивому дуновению ветра. Только некоторые стебли, ветки никак не уступали его требованию — оставались неподвижными. Упрямые, они чем-то напоминали ребра животных, берцовые кости. Кости?! Вблизи. Вдали. Справа. Слева. Торчали они из земли. Запутались в траве. Или трава в них. Так много их?! Обнажившееся кладбище? Или, скорее, похоже на поле боя! Приехали... Вспомнилось изречение о том, что война не считается законченной, пока не похоронен последний солдат. Значит, здесь не была закончена война?! Да еще не одна, должно быть? Я оглянулся, чтобы найти у товарищей подтверждение своей догадке. И, наткнувшись на порозовевшее лицо заряжающего третьего орудия Вацлава Ташкова, услышал его ответ на свой немой вопрос:

— Да, это кости. За много веков их тут немало накопилось — здесь проходил тракт с севера на юг. По нему ходили в Тибет, в Индию за целебным зельем, за алмазами, за Истиной... — Ташков сказал об этом таким тоном, будто только что сам вернулся из нелегкого, но захватывающе интересного похода. И покраснел еще больше. Он всегда краснел, когда говорил о чем-то важном, известном немногим. Вацлав стеснялся своего многознания. Историк по призванию, студент истфака КГУ.

— За этим разве ходили без войн?.. Тут, наверно, хаживал и Чингисхан, его предтечи, потомки? А мы по дороге неоконченных войн пойдем, наконец, за вечным миром, да? — спросил я.

Вацлав побледнел, потом покраснел, но только пожал плечами.

— Не согласен?

— Каждое столетие рождаются люди, решающие положить конец войнам, установить вечный мир на земле, — медленно начал мне втолковывать Ташков. — Но приходят новые люди и хотят утвердить справедливый (!) мир. А понятие «справедливый мир» очень спорное. В споре люди забывают о восточной мудрости — «великодушие — выше справедливости!», — и кончается этот спор одним

и тем же. Помните картину великого русского живописца Верещагина «Апофеоз войны», где кроме груды черепов да воронья на фоне безжизненной пустыни ничего не изображено? (Я хорошо помнил картину, подолгу перед ней стоял...) А Вацлав продолжал: — И по раме, обрамляющей полотно, художник начертил: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим!» (Этого я почему-то не помнил и задумался, но следующие слова Ташкова заставили меня насторожиться.) И сейчас мы ведь в споре с Японией позволяем себе забыть про договор о нейтралитете, считаем себя правыми. А японцы нам этого не простят. Не простят нам своего поражения немцы, их дети и внуки — несмотря на то, что войну затеяли они сами, натворив много зла, перекорезив не одну страну, изведя миллионы жизней...

Ох, как хорошо, что сказанного Вацлавом не слышал наш замполит! Плохо, что кто-то может эти слова, и в худшей редакции, передать «куда следует». Он будто ничего такого не изрек, но...

Я Вацлава знал давно. Еще до войны. Мы жили рядом. Учились в одной школе. Он был старше меня на два года, и это делало его тогда недостижимым не только для дружбы, но и для простого общения. Он раньше окончил школу, поступил в Киевский университет. Говорили же о нем всегда много, поэтому я был наслышан об интересном соседе. Высокий, тонкий, красивый юноша уже тогда много знал. К тому же неожиданное польское имя делало его совсем необычным. Он многим нравился, особенно девочкам. Его же влекла только история. У него по многим вопросам истории и, конечно же, будущего человечества было свое мнение, которое он отстаивал. Говорили, что из-за этого он не получил аттестата с отличием. Сложности были в университете. Оттого, скорее всего, на фронте он попал в штрафбат. Чудом уцелел. И не я оказался в его подчинении, а он у меня. Мне нравился Вацлав, но...

Мне было с ним трудновато. Не в бою. Там он был — без страха и упрека. А так... То мне часто мешал его еще школьный авторитет, и он легко увлекал меня в свои эмпирии, после чего мне нелегко было возвращаться на землю, а на земле у меня, командира, было много дел!.. То я не мог понять, как он — старше меня, кажется, мудрый — не может осмыслить своего же опыта? Столько ударов за недолгую жизнь! И не сообразит историк, что наше общество ревниво оберегает свое единство, *веру* в свое будущее. И не прощает несогласных. Его общественный и гражданский инфантилизм заставлял меня чувствовать себя старше. Мне, чтобы его оберегать и поучать, надо было пользоваться непререкаемой властью командира. Что чаще всего было не



с руки. Других аргументов у меня не было. Поэтому после каждого такого вот общения с ним оставался плохо растворимый осадок.

И в этот раз. Спорить-то было не о чем, и не я один жаждал вечного мира. Разве после стольких потерь и разрушений все народы его не заслужили?! Пусть это — мечта, но не хочется думать, что она — несбыточна, и этот ужас может повториться. Мы еще со школьных лет верили, что наше государство создано, чтобы осуществить эту идею, и пели: «Пропеллер, громче песню пой! Неси распластанные крылья. За вечный мир в последний бой лети, стальная эскадрилья!»

И сюда мы ехали с твердым намерением поставить, наконец, желанную точку в кровавой бесконечной бойне. Каждый из нас готов был вступить в бой за это, ни капельки не жалея собственной жизни. Притом сразу, сейчас. И Вацлав ведь — пойдет...

Но что-то не видно и не слышно было врага. Где он? Сдался без боя? Как было бы здорово! Или выставил перед собой эту пустоту...

Солнце еще приподнялось над горизонтом — стало светлее. Я выглянул из-за пушечного щита, чтобы лучше осмотреться. То, что я увидел, напомнило картину Верещагина: безжизненная пустыня, только вместо аккуратной пирамиды черепов — небрежно разбросанные кости! И пейзаж, поначалу казавшийся романтичным, поблек. Белесое солнце на белесом небе, белесая земля — все выглядело неподвижным, неизвестно чем дышало, чем питалось. Даже травы, похрустывающие по велению ветра, не просыпались — они давно были мертвы. Должно быть, с самого начала лета иссушенные солнцем, ветром, безводьем, они, не став по-настоящему травой, превратились в послушный хруст... для забавы ветра? Только ветер казался живым. Но он ничего не оживлял. Наоборот, засушивал. Он плавно передвигался. Что-то тихо напевал и как будто что-то обдумывал. Он становился то обжигающе горячим, то леденяще холодным, собираясь что-то остудить или запечь... Все видимое и ощущаемое казалось не таким, каким мы привыкли видеть и знать. Мы будто вошли в пустосторонний мир — антимир! Тогда я еще не слышал этого слова — оно явилось мне из сегодняшнего дня в прошлую жизнь, в мир, который мы не понимали! Зачем природа создает ужасающую пустоту, после которой не только невозможно что-либо увидеть, но и представить... представить, что за этой пустотой могут быть реки, леса, города?!

А ветер тем временем взобрался на платформу, заметил что-то, подающее признаки жизни, и... Он ринулся ко мне — скользнул под полы моей плащ-палатки, легко миновал плотную ткань гимнастерки, достаточно закаленную плоть и бесцеремонно

перешупал каждую косточку моего скелета. Даже показалось, что он пытается отделить его от моей сути! Я вздрогнул, обмяк. Почувствовал, как легко я разбираюсь на части. Очень неприятное ощущение. Попробовал было двинуться, но не смог опереться ни на одну из двухсот семидесяти шести костей моего остова. Который ветер вполне мог швырнуть в ту общую кучу, что я видел перед собой. Я уже не мог не подумать о том, что для точки — для апофеоза всех войн — потребуется очень много разобранных человеческих жизней, изведенных бойнями, справедливыми и нет! Какой величины и формы будет последняя точка, трудно представить, но ей доведется вместить в себя всех погибших в неоконченных войнах. И останки художника Верещагина. Ведь он погиб. И недалеко отсюда — в войне с японцами в 1904-м. Я никогда не пробовал представить свою гибель, а в тот момент трудно было собрать из себя совсем разобранного — что-то цельное, на что-то способное...

Но вскоре команды, эхом прокатившиеся от эшелона к эшелону, раскололи тишину, привели армию в движение. Показалось, что заворчалось огромное могучее чудовище. Закряхтело. Заворчало. Задыхало соляркой и бензином... С грохотом отстегивались борта платформ, к ним приставляли сходы, скаты... У меня сработал солдатский рефлекс — я почувствовал себя в своей тарелке, ощутил, как наливаюсь силой и уверенностью.

Начальник штаба доложил обстановку, объяснил задачу. Она показалась предельно простой — «движение начинается немедленно четырьмя колоннами по азимуту строго на юг — девятьсот восемьдесят километров, на этой отметке по указанию регулятора на юго-восток — триста пятьдесят километров. Сосредоточиться в районе населенного пункта со сложным названием, запоминать которое не стоит, так как на карте он обозначен, а воздушной разведкой не обнаружен...».

Кто-то из офицеров попробовал пошутить:

— А колышек там хоть есть?

— Отставить разговорчики! — одернул шутника начштаба и добавил: — На этом простом маршруте — без селений, без колодцев (кстати, если встретится — не пользоваться: может быть отравлен...) и без ориентиров — нас может поджидать много неприятностей. Учтите — пустыня! Пустыня Гоби и хребты Большого Хингана!

Ну что ж: Гоби так Гоби! Хинган так Хинган! За четыре года мы привыкли ко всяким неожиданностям. Настораживали только необыкновенная закрытость противника, легенды о его коварстве, о ловкости и неуязвимости — Восток все-таки, да еще Дальний! Поэтому дорога, которую мы должны

были одолеть, на первый взгляд простая, могла оказаться ловушкой.

Сразу же о ловушке напомнила пыль. Только были отданы команды, заработали моторы, двинулись, поднимая пыль, машины, как послышались истеричные крики, взвизгнули тормоза. Когда осела еще не по-настоящему поднявшаяся пыль, то люди, сбжавшиеся на вопли, увидели изувеченные тела, кровь, кости двух танкистов, неизвестно как попавших под траки своей же машины.

— Да-а-а... — сделал многозначительный вывод заряжающий первого орудия Сысин.

И кто-то добавил:

— Плохая примета...

За примету на сказавшего осуждающе посмотрели почти все товарищи, и он осекся. Что делать с погибшими в этой обстановке, никто не знал. Поэтому завернули детали, оставшиеся от них, в плащ-палатку, уложили на броню — до первого привала, там надеялись разобраться. Надо было догонять ушедшие вперед машины. И не задерживать тех, кто идет позади. Марш не должен был останавливаться...

До сих пор не могу забыть эти безжизненные тела, свежие кости... Когда я увидел кости раздавленных товарищей, мне снова довелось ощутить ожог холодом, коснувшимся моего скелета. Но на этот раз я решительно передернул плечами и остался цел. Вацлав тогда сказал, что это наше первое жертвоприношение. Должно быть, бог-разрушитель Шива, столкнувшись с нашей философией, потребовал аванса. Мне это замечание показалось кощунственным. Я подозрительно посмотрел на Вацлава. Неужели он серьезно? Ташков попытался объяснить, что мы пришли в чужой монастырь и следует познавать его устав. Какой «монастырь»? Какой «устав»? И Вацлав поделился со мной тем, что ему было известно о разнице восприятия мира у нас, европейцев, и у людей Востока. «Наше мышление приучено к линейному восприятию реальности — бытие у нас имеет конкретные формы. А восточные люди видят мир по-другому: для них, скажем, человек — лишь одна из мельчайших частиц всеобщего круговорота стихий...» Ну и чего над этим голову ломать? Стихия стихий! Мы ведь прибыли сюда не затем, чтобы изучать какие-то там стихии. У нас совсем другие задачи. Над ними и надо думать... Не предполагал я, что именно о ней, о стихии, больше всего и придется нам думать...

Признаюсь, ничего связного ни о пустыне Гоби, ни о хребтах Большого Хингана я рассказать не могу. Я их почти не видел. Как только началось движение колонн, вздыбленная сотнями тысяч танковых траков, грубой перфорацией автомобильных шин каменистая жесткая пыль просто обволокла

то, что называлось танковой армией, запечатала ее в своеобразный кокон, и уже увидеть что-либо изнутри или снаружи разглядеть, что делается внутри движения, было просто невозможно. Но командование надеялось на нас и доверяло своим подчиненным. А мы в свою очередь знали, что наше движение направляется и регулируется, что умелые технари следят за работой моторов и способны выдернуть из колонны сломавшуюся машину, отремонтировать ее и водворить на место. Мы знали, что у нас есть боевое охранение, что за небом следят зенитные установки. Мы знали — нас предупреждали, что пустыня и горы живут своей сложной непрекращающейся жизнью, что почва здесь за миллионы лет еще не улеглась и, бывает, ее пучит, трясет, что здесь нередко гуляют самумы, вихри и смерчи... Все это мы знали, но не могли увидеть. Все разделила и поглотила во все проникающая пыль! Впрочем, надо сказать, что собственно пылью пыль была в самом начале движения, а потом она смешалась с выхлопными газами, нашими испарениями (ведь жара стояла за 40!) и еще черт-те с чем, превратившись в отвратительное месиво, которое закладывало уши, застилала глаза, затыкала носы и глотки.

С большим трудом можно было разглядеть собственные ноги, мутное очертание своих рук, плечо и ухо соседа по кабине. Давил страшно на психику, как теперь говорят, незатихающий грохот движения. Гудели, рычали, выли, скрипели танки, автомашины, мотоциклы. Не уступали им самолеты, подбрасывавшие нам воду, горючее, запчасти. Трудно было привыкнуть к частым взрывам лопающихся от жары скатов и неудачно приземлявшихся баллонов с водой и особенно с горючим.

Но главным было не то, что мы терпели запретельную жару и изнуряющую жажду, не страдание, — а работа! Когда я слышу выражение «ратный труд», всегда вспоминаю этот поход. Мы вели технику и готовились к сражению — мы ведь были не туристами, не путешественниками. Мы были — солдатами... Мы на ходу заправляли машины, да так, чтобы ни одна песчинка не попала в бак... Слепоглухонемые, мы ухитрялись следить за тем, чтобы не причинить вред впереди идущим машинам и не дать раздавить себя идущим позади и рядом; следили за механизмами, чтобы они не пострадали от песка и ударов, которых все равно нельзя было избежать, следили за тем, чтобы не текла смазка и не закипала вода в радиаторе, и чистили, чистили свои ненаглядные пушки, чтобы не подвели в бою. Работали не переставая, плавая в пыльном месиве, как команда Кусто по заилённому дну океана.

Как мы это делали? Не знаю. Наверное, все-таки с помощью шестого, седьмого, а то и восьмого чувств,



которые мы обрели за четыре года войны. Конечно же, нас подстегивало недремлющее ощущение опасности — ведь в любой миг мог грянуть бой! Поэтому мы орали, не жалея голосовых связок, изошренно жестикулировали и, памятуя об опыте своих пещерных пращуров, заскоружеными пальцами расписывали условными знаками запыленные капоты, крылья, борта автомашин и щиты, стволы, станины своих пушек — все годилось, чтобы поддерживать боевую готовность номер один.

Не помню, сколько мы двигались в таких, скажем, непривычных условиях (нас ведь еще расслабила Победа в Европе).

...Светлая мгла сменялась темной, и наоборот. Что греха таить, были моменты, когда казалось, что еще немного, еще чуть-чуть — и, не выдержав нагрузки, откажут двигатели (конечно, раньше нас). А потом мы, вконец расплавленные, ис-те-чем... И иссякнет та сила, которая способна сражаться...

Но движение — продолжалось! Если кто-то хоть немного ослабевал, выдыхался, тут же ему на помощь приходили товарищи. Первым, конечно же, наш вездесущий санинструктор, который был всегда и везде: в нужном месте и в нужный момент. Но к чести ребят надо сказать, что в помощи они нуждались крайне редко. Хотя и сейчас я не могу толком понять, как мы выносили эту адскую жаровню и невероятное напряжение в ожидании чего-то невообразимого, которое обязательно должно было случиться!

Правда, однажды неожиданно мы испытали облегчение, когда узнали, что в нашем пекле кому-то намного хуже, чем нам. Тогда недобрый случай чуть не навел на нашу колонну большую беду. Солнце, помнится, уже уползло за горизонт, потому что мгла резко потемнела, зачем-то зажглись фары, и их лучи сразу же были разорваны в клочья клубами беснующейся пыли и растасканы по ее беспорядочно плавающим слоям, от чего видимый мир казался сушим бредом. Так вот, из этого грохочущего бреда на нашу колонну ринулась масса чего-то раскаленного, свистящего, ревущего, похожего на космическое тело. Тело это неумолимо приближалось, пугая своей огромностью и непредсказуемостью.

Поразительное чутье и безотказная реакция наших водителей позволили избежать столкновений и спасти людей, технику. Рычали резко газующие машины, визжали тормоза — надо было слышать (!) эти гладиаторские игрища... Обжигаящая своей раскаленностью масса, вклинившись в нашу колонну, вдруг как-то мирно хрюкнула, выплюнула черный смолистый моторный выхлоп, отравивший и без того не очень чистый наш пыльный покров, и застыла. Наступила ужасающая тишина, похожая на черную дыру в общем непрекращающемся грохоте. Даже

стало слышно, как наши люди вылезали из машин и стали медленно приближаться к «массе». Когда мгла немного развеялась и «масса» обрела очертания, то в ней без труда можно было узнать наш танк — потерявшую управление «тридцатьчетверку». Из ее люков выползали черные, будто обуглившиеся люди и, как обезумевшие, начали заглатывать широко раскрытыми ртами нашу медленно оседавшую зловонную пыль.

— Да-а-а,— послышался низкий густой сиплый хрип. Этот как всегда короткий и глубокомысленный вывод сделал сорокалетний заряжающий нашего первого орудия Сысин. Затем последовал голос помоложе, прокашлявшийся:

— Так у нас — рай! Парк культуры и отдыха! Танкисты к нам гулять ходят! — Это оптимистическое наблюдение сделал самый юный наводчик третьего орудия Лакманчик — весельчак и жизнелюб.

Не нужно было большого воображения, чтобы представить, как тяжело нашим партнерам по движению, танкистам, в их отдельно взятом, можно сказать, персональном пекле — парилке, жарилке, душегубке... Когда у нас на открытом, так сказать, воздухе с рассветом ртуть в термометре сразу взбегает за 40! А в танке... И экипажу приходится выползать на отдых в нашу общественную жаровню, чтобы подышать хоть каким-то подобием воздуха с его едва уловимым движением...

Появились ремонтники, санитары. А мы объехали что-то дымящееся и беспомощное. Построили ряд и продолжили движение к намеченной цели. Правда, осознанного облегчения нам хватило ненадолго.

Но, думается, всегда спасало и держало на плаву меня — да всю батарею, весь дивизион — особенное артиллерийское братство. Может быть, не такое яркое, громкое и романтичное, как у моряков, но вполне основательное. Братство, похожее на общность идолопоклонников, беззаветно преданных железному огнедышащему чудовищу, которое они, как малое родное дитя, нежили, холили, укутывали и прятали от врага, от его глаз и огня, перетаскивая с места на место тяжеленное орудие — символ надежной защиты и желанной победы. И можно было заметить слезы на глазах выдавших виды мужчин, когда с пушкой случалось непоправимое...

Если в других родах войск люди, побывав в одном-двух сражениях и едва успев познакомиться, расставались (по разным причинам), то мы, артиллеристы, часто годами круглые сутки (!) находились вместе. Ели, как говорится, из одного котелка. Спали, укрываясь одной шинелью, а другую подстилали. Справляли свадьбы, хоронили товарищей, горевали, радовались, ссорились — все вместе! Как в семье. Всем обществом читали письма из дома и сообща

писали ответы родным и близким... Неспроста еще в Первую мировую войну артиллеристы пели: «Наши жены — пушки заряжены...» В конце концов, нас постоянно соединяло, можно сказать — цементировало, общее дело — стрельба!

Вы знаете, что такое артиллерийская стрельба? Если вы никогда не были на батарее, то, конечно же, не знаете. Представьте, что один выстрел готовят десятки людей: одни наблюдают за целью, другие делают расчеты, третьи целятся, четвертые готовят снаряды, пятые заряжают... Да-да, ради одного выстрела! Непосвященному трудно представить, какая, не побоюсь этого слова, отретированность для этого необходима! Притертость, сноровка, уверенность в товарище, его надежности! Разумеется, все были очень разные: сильные и слабые, добрые и не очень; одни любили поговорить, спеть, а другие отличались мечтательностью; третьи испытывали слабость к противоположному полу; четвертые же просто любили поспать... Разнились мои товарищи не только характерами, но и национальностью: русские, украинцы, татары, коми-зыряне, мари, евреи, грек, полунемец и полунгличанин — веселая и дружная была компания. Иногда, конечно, случались стычки — люди все-таки. Да молодые. Чаще всего ссорились... славяне: хохлы упрекали москалей в безалаберности, а последние корили хохлов за упертость. Остальные больше любили наблюдать да ждать с интересом, чем кончится. Как бы темпераментны и остры эти стычки ни были, все знали, что, подобно сегодняшним мыльным операм, они обязательно закончатся миром и любовью. Никто из наших батарейцев не мог тогда предположить, что через полстолетия украинцы и русские будут жить в разных государствах, притом не очень дружественных...

Сорок шесть нас было, сорок шесть... Правда, пачковались крепче поорудийно, но были и всеобщие любимцы. Конечно же, командиры — заслуженно... Но первым номером шел санинструктор. Парень. Обычно санитарями были девушки, у нас же — младший сержант медицинской службы с легкомысленной фамилией Гичкин. А носитель ее был двухметровый здоровяк, сто двадцать килограммов килограммов чистого веса. Всегда улыбающийся, отзывчивый, стройный, ловкий, несмотря на из ряда вон выходящую огромность. Многие батарейцы, в том числе и я, не раз, будучи ранеными, испытывали могучую ласковость его рук и удобную надежность его спины. Чувствовалось, что он не отдаст батарейца «костлявой, которая с косой!» Но Гичкин появлялся не только там, где проливалась кровь, его высоченная фигура в выгоревшем обмундировании и с выцветшей рыжиной от макушки до пальцев

большущих, как лопаты, рук видна была всегда там, где надо было быстро передвинуть пушку, отрыть окоп или вытащить застрявшую автомашину. И после каждого добровольно выполненного нелегкого дела санинструктор вытягивался в струнку, отдавал честь командиру орудия, взводному и мне, при поворотах цокал подковками каблуков, да так громко и торжественно, будто благодарил за полученное удовольствие, и, замирая, становился похожим на памятник. Он был цвета хаки от пилотки до обмоток, включая щедро обсыпавшие его тело веснушки. Изрядно потрепанное обмундирование плотно облегало его отчетливо выделявшиеся мышцы — и это создавало полное впечатление бронзовости... Только серые лучистые глаза выдавали его веселую живинку. Может быть, за эту четкость движений и игривую механистичность товарищи прозвали его Фрицем. А он-то и был нашим полунемцем: мать — немка, а отец — еврей Гичкин. Очень тяжело и долго переживала батарея гибель своего любимца — санинструктора.

Сорок шесть нас было, а после похода осталось — сорок четыре...

Я как командир батареи знал обо всех батарейцах все! И о своих сверстниках, едва успевших окончить до войны школу, и о «женатиках» (как мы их называли) — умудренных житейским опытом отцах.

Я знал, что сорокалетний мясистый, похожий на медведя заряжающий Сысин, возвращенный суховеями и частыми засухами южного Поволжья, будучи к жаре терпимее, чем сибиряк-лесовик Коротков, часто уступает последнему, двадцатилетнему наводчику, свою очередь доливать воду в радиаторы наших автомашин, чтобы Коротков хоть немного подольше смог побыть у воды. Конечно, для этого Сысину приходилось ссылаться на боль в ногах или пояснице — иначе сибиряк-наводчик не принял бы от заряжающего, да еще «отца», такого дорогого дара. Но отцовские чувства Сысина были сильны и изобретательны — у него два сына-близнеца. Они недавно призваны и находятся где-то рядом — на Дальнем Востоке...

Я знал, что за Коротковым увяжется уверенный в душевной доброте наводчика связист Меркулов, чтобы лишний раз лизнуть влажную крышку радиатора... С другими у ловчака Меркулова такой номер не проходил. Мог не пройти безнаказанно и с Коротковым. Если бы «отцы» узнали о «военной хитрости» связиста, он смог бы заработать отеческий подзатыльник от самого Сысина или от тридцатипятилетнего взводного Иосифа Ивановича Казакова (архитектора на гражданке). Конечно, такое наказание было бы чисто отеческим, потому что Меркулов — связист от бога, и если что, не пожалел бы жизни за каждого из них.



В батарее кроме Казакова еще два офицера-взводных: двадцативосьмилетний прагматик, бывший электросварщик Александр Петрунин и недавний школьник, невоевавший (только из училища) Юрочка Гринев, штангист и философ.

Маршрут через пустыню тяжело давался и «старикам», и молодым. Но тяжелее всех было новоприбывшему после ранения недавнему пехотинцу, выходцу из Прикарпатья — солдату по фамилии Степняк. Прибыл он к нам уже в самом конце войны в Европе. Он еще толком никого не успел узнать, не овладел по-настоящему нашим делом. Ему трудно было в батарейном хозяйстве и общечитии. Он любил мечтательно разглядывать мир... нет, не любил, а не мог не смотреть по сторонам и беспрестанно любоваться всем, что его окружает, и обращать на это внимание своих новых товарищей:

— Ой, дывись, яка хмара! Яка цікава птаха! (Смотри, какая туча! Какая интересная птица!)

Он не пропускал ни птиц, ни деревьев. Его завораживали полеты орлов и стрекоз, необычный изгиб ветки, вытарашенные глаза сусликов, наблюдавших за нами еще в самом начале движения... И вскоре ему, не очень сноровистому хлопцу, привыкшему к свежему мягкому воздуху европейских предгорий, стало нечем дышать и, что еще страшнее, — нечем любоваться! Даже миражей нам не дано было увидеть! Может быть, их высматривал Степняк в пыльном тумане?

Командир орудия Архипов, к которому был приписан Степняк, — обстоятельный двадцатилетний сержант, спокойно и взвешенно умевший выходить из самых сложных положений, как-то странно и растерянно сунул мне в руку записку. В этой записке он сообщал, что опасается, как бы разум у Степняка не помутился, и предлагал определить новенького в связные с «внешним миром» — это такая работа была у наших разведчиков.

Сержант должен был оговорить это предложение с взводным, но Архипов чувствовал, что Юрочка Гринев — молодой командир, спортсмен — себя не жалеет, может не пожалеть и другого. Кроме того, разведчики очень ревниво относились к своему делу, и всякий новичок... Но они поняли, почему необходимо было такое решение. Вообще батарейцы, прозавшие Степняка «мечтатель-хохол», успели полюбить странного хлопца и относились к нему покровительственно. Очень жаль, что он не успел оправдать хорошего к нему отношения.

Вскоре Степняк повеселел: быстро появлялся и исчезал, принося необходимые сведения из мира за пределами движения. Он хорошо ориентировался в ночи, в тумане и, оказалось, в пыльном мареве. Как-то, передав мне очередную информацию, он

дополнил ее странной фразой: «Чуетэ, як дыхають пролиски?» Эту фразу можно было перевести и как «Чувствуете, как дышат пролески?». Или «пахнут»... А пролесками на Украине называют подснежники. Странно, как мечтатель-хохол сумел унюхать в зловонной пылище нежный аромат весенних цветов! Неужели опасения Архипова оправдались? Или это было каким-то неясным предчувствием Степняка?!

Я поймал себя на том, что с удовольствием рассказываю о своих товарищах. И могу это делать без конца. Все дальше отодвигая от себя воспоминания о самом походе — движении, потому что, несмотря на множество лет, отделяющих нас от тех событий, делясь своими воспоминаниями о них, я чувствую, как начинает першить в горле, ломить в суставах, начинают слезиться глаза...

Да! Вот что я нашел в письме к еще незнакомой москвичке. В моей памяти сохранилось ощущение непрерывности движения. Нескончаемости настоящего «железного потока». Действительно, сплошной поток металла: танки, машины, орудия... Только связующие детали — живые. Мы были винтами, болтами, гайками. И поток этот безостановочно тек к цели. Так мне казалось. А на самом деле случались привалы — вынужденные и плановые!

Как-то мы остановились, чтобы дать отдохнуть двигателям. Стряхнуть с себя пыль. Откашляться. Осмотреться. В не совсем еще осевшей пыли, как в тумане, разглядели самолет. Он стоял почти что рядом. В него грузили раненых, больных, не вынесших тягот похода. Должно быть, и останки тех погибших ребят-танкистов. Но что-то многовато было носилок с телами, накрытыми плащ-палатками с головой... Нас увидел пилот, подошел к нам и спросил, не хотим ли мы отправить весточку на Большую землю. Как? Да написать письмо! Все было ринулись по своим углам, но пилот остановил нас еще одним неожиданным вопросом: слышали ли мы о том, что янки сбросили на японцев атомные бомбы?! Нет? Ну правда! Вот те крест! Но выяснение подробностей многих уже не интересовало. Большинство дико возрадовалось, пустилось в пляс, вновь поднимая едва улегшуюся пыль. Кто-то выкрикнул: «Все! На этот раз — все!» Кто-то: «Спасибо, янки!», «Можно уже пешком домой идти», «А машины здесь побросаем!» Я сразу себе отчетливо представил, как по этой дороге через сотни лет будет идти или ехать путник и утрамбовывать вместе с миллионами скелетов остовы наших машин...

А то, что добавил пилот, заметно изменило настроение многих. Действительно, зачем было бомбить незначительные города — Хиросиму, Нагасаки, — где кроме мирного населения не было ни серьезных вооружений, ни войск, ни даже военных

заводов? Из боязни быть сбитыми? Даже слова «Все равно это должно напугать японцев — и войне тогда каюк!» не прибавили нам радости.

Сысин тяжело опустился на землю, оперся широченной спиной о колесо студебекера, набрал в легкие много воздуха и выдохнул свое многозначительное: «Да-а-а...» Стал свертывать из куска газетной бумаги «козью ножку», насыпал в раструб табачной крошки, деловито загнул его края, чтобы не высыпался табак, вынул из кармана кресало (фронтная зажигалка)... Все терпеливо ждали, верили: Сысину есть что добавить. И перед тем как запалить самокрутку, заряжающий первого орудия решил объяснить свое многозначительное «да-а-а»: «Это он, понимаешь, не японца пугает. А — нас, чтоб мы, эта ...» Каждый, конечно, понял, какой смысл надо вкладывать в слово «эта». Но все ждали, что я скажу. И я сказал, что для нас окончанием войны является приказ о прекращении военных действий. И кто кого пугает — дело не наше, а политиков. «Мы с вами — военные. Выполняем приказ. Чтобы его быстрее и лучше выполнить, отдохайте: старайтесь надышаться подобием воздуха до завершения привала...» Вацлав порозовел — наверное, был не согласен со мной, но понимал, конечно, что вступать в спор сейчас — не самое подходящее время. Мы еще поговорим на эту тему. А тогда — все пошли «дышать».

— А письма на Большую землю не передумали отправить? — спросил пилот, несколько расстроенный поворотом разговора. — А то мне скоро поднимать... Давайте, давайте.

Все, кому было куда и кому писать, молча принялись за дело. Я поднялся в кабину машины, в которой обычно ездил, открыл планшет и наткнулся на Not-Buck — тетрадку, подаренную Геленой. Хотел ей сначала написать, высказать все те слова, которые не получилось произнести при расставании. Подумал, что надо бы с ней поделиться новостью и размышлениями по поводу атомного демарша американцев, что наш поход к Ла-Маншу (по ее просьбе!) ничего не смог бы изменить... Но, не обнаружив ее адреса ни в тетради, ни на фотографии, стал писать незнакомой москвичке.

Я писал долго. Не мог отделаться короткой восточкой. Мы, как правило, обменивались пространственными многостраничными посланиями. Пилот уже не мог меня ждать. И мы условились о встрече на следующем привале. Но мы не встретились ни на втором, ни на третьем привале, и... вспомнил! Я переслал письмо значительно позже с демобилизовавшейся медсестрой из нашего медсанбата, которая, как оказалась, жила в Москве и почти что рядом с моей незнакомкой.

Но я в тот раз не закончил письма к москвичке. Все никак не мог сделать его приемлемым для военной цензуры. Потом, никак не шла из головы атомная атака американцев — сам не знал, как к ней относиться. Что мы будем делать, если окончание войны застанет нас здесь, в пустыне? Я посмотрел на спидометр — мы прошли почти половину пути. Тут Николай Васильевич Гоголь напомнил мне, что «редкая птица долетит до середины Днепра». Меня всегда занимал вопрос, а что случится с птицей — редкой птицей, которая все же долетит до середины? И я не мог не подумать о себе, обо всех нас, которые почти добрались до середины маршрута, очень трудного маршрута — Гоби, ведь это не Днепр и мы — не птицы...

А тогда движение, несмотря ни на что, продолжалось.

И несмотря на спокойные разведанные, которые регулярно приносили из внешнего мира «мечтатель-хохол» с разведчиками, напряжение не спадало. Ведь воздушное наблюдение и боевое охранение вряд ли могли разглядеть искусную маскировку окопавшегося задолго до нашего появления противника и его минные поля. А мы — как зашоренные кони!

Но непредсказуемей и ожесточенней была пустыня... После тех слов Степняка о «дыхании подснежников» стало почему-то еще тревожнее. Не веря в высшие силы, мы были безмерно суеверны. Почти никто не брился перед боем, чтобы «не побрило!». Не запевали на привале «Эх, дороги!», потому что, не дав отдохнуть, через минуту нас подымут «по тревоге!», пели эту песню только на марше. А если приснятся женщины — то неминуемо к сильной бомбежке. Да мало ли? У нас было много всяких примет, в которые мы верили и многих остерегались, что-то предпринимали, чтобы не попасть впросак. Поэтому в словах Степняка почудилось что-то таинственное,стораживающее.

Я невольно стал вглядываться в туман, стараясь не терять из поля зрения абрис идущей впереди машины. А вместо этого отчетливо увидел отдельные песчин-





ки и под влиянием рассказов, размышлений Вацлава разглядел в каждой из них частичку стихии, как личность (!), и сам безвольно стал обретать этот же статус, теряя вес, меняя объем, прежний смысл. И совсем уже бессмысленно вращаясь в круговороте стихии, не понимая, что делаю, куда несет нас рок событий. Не понимая, как и зачем совершаешь какие-то движения, поступки... Движешься, не видя ничего, кроме туманной пыли, куда и почему...

Но стоило закрыть глаза, как начинал ясно видеть, как взлетаю и устремляюсь к ней. Я часто мысленно к ней отправляюсь, днем и ночью. Да, к ней — незнакомой москвичке. Почему незнакомой? Я ведь хорошо знаю, что ее зовут Зорька — Зоря Владимировна Лаврентьева! И, естественно, прекрасно помню адрес. Туда, собственно говоря, и лечу... опускаюсь... оказываюсь в трамвае № 22. Он ходит от центра, от Политехнического музея, на окраину к поселку имени 1905 года, к новым домам. Мне до войны доводилось пользоваться этим маршрутом. Мы не раз могли встретиться. Должно быть, ездили в одно время. Я хорошо знал Москву, а в том краю, в новых домах, никогда не приходилось бывать. Но решительно выскакивая из вагона, никого ни о чем не спрашивая, смело шагаю по направлению к угловому дому № 5–9, как будто всю жизнь только и делал, что ходил по 3-й Звенигородской улице. Встречные, в основном женщины, здороваются со мной, как в деревне, пристально всматриваясь, стараясь во мне разглядеть знакомого, вернувшегося с войны. Такого молодого! С наградами! И целого? Чей он?! К кому? А я не даю возможности угадать, ничего не объясняю — тороплюсь. Тем более что увидел в открытом окне на шестом этаже — ее. Сразу узнал — Зорька! — точь-в-точь как на рисунке в одном из ее писем. Так же одета — косынка, майка, фартук и трикотажные черные брюки, закатанные до колен. Она соскабливает с оконных стекол бумажные перекрестья, наклеивавшиеся во время войны для предохранения от взрывной волны при бомбежках. Хотелось окликнуть ее, но побоялся напугать, и помчался на шестой этаж. Лифта нет. Да он и не нужен. Эти дома строились для молодых людей, которые никогда не состарятся! Все двери были распахнуты. Какой сквозняк! Подумалось: она может простудиться! И я, быстро шагая к ней, методично захлопывал за собой двери. Вот она — передо мной — темный силуэт в открытом окне на фоне крыши. Да, она себя изобразила тогда в письме вот с этой стороны. «И кусочек надоевшей крыши», — писала она в стихотворении. Только и со стороны комнаты она была хорошо прорисована. А сейчас... Я же был достаточно освещен — и она тоже, узнав, при том ни капельки не удивившись, сказала: «Где же ты так долго пропадал?»

Мне стало стыдно — Зоря эту фразу не могла произнести. Эту фразу подсказало мое воображение. Она же в письмах этому даже повода не давала. Когда я перед боем (!) (еще в той войне) отправлял письмо, завершая словами «обнимаю», «целую» и еще какими-то в этом роде, то она меня упрекала в развязности, посмеивалась надо мной. О тоске, о любви она заговорит в письмах, когда узнает, что мы отправились на Восток, и почувствует, что на этот раз сможет потерять меня. Эти письма я получу, когда на Востоке уже все закончится. А в тот момент мое воображение подтолкнуло Зорю, она спрыгнула с подоконника и очутилась в моих объятиях. Мне оставалось только крепко прижать ее к себе. И так захотелось поцеловать! Но не решился. Даже воображение не смогло помочь. Я застеснялся, боялся обидеть. Она потихоньку пытается высвободиться. Мне же трудно разомкнуть руки — боюсь потерять ее. На помощь пришла музыка, неожиданно зазвучавшая из открытого окна дома напротив. Я пытаюсь увлечь Зорьку ритмом мелодии, завертеть, заплясать, чтобы подольше не выпускать из объятий. Она не так отзывчива в танце, как чешка Гелена. Да это и неважно! Мне нужно просто быть с ней вместе, близко-близко — все время и всегда: днем и ночью, зимой и летом. Но вот ее освободил из моих объятий звонок, и она побежала открывать входную дверь. Не позволил ей вернуться ко мне и зов с улицы: Зорька, нужная всем, переговаривается с подругой через открытое окно. Она перебегает из комнаты в комнату, что-то берет в руки, от чего-то освобождается. До чего ж она сама и все, что она делает, — схоже с рисунками, которыми она иллюстрировала свои письма. Мое воображение, моя фантазия не позволяли почему-то еще раз приблизиться и осязать плод моих представлений об очень нужной мне, любимой уже девушке. Она все удаляется от меня со своими заботами, делами, а я почему-то стал двигаться в противоположную сторону к неизвестной цели. Мне неведомо было, что вслед за нами почта неторопливо везет сложенные треугольниками Зорькины письма, переполненные тоской, мольбой, признаниями в любви. Не знал. Даже представить не мог, что такое возможно. Поэтому не переставал думать, что предпринять, чтобы очаровать ее, завоевать, наконец. Но из всех перебираемых способов на первое место вышла задача — у ц е л ь т ь.

...Резко скрипнули тормоза. Я раскрыл глаза, рефлексивно выставил перед собой руки, чем обезопасил себя от удара головой о лобовое стекло. Правда, руки чуть не повыскакивали из плеч. Но я сумел отчетливо разглядеть главную опасность, грозившую машине и мне: с внешней стороны кабины вплотную к стеклу прижалась тупорылая морда пушки в наморднике (так мы называли чехлы, которые наде-

вались на жерла орудий). Еще мгновение, не нажми шофер вовремя на тормоза, и ствол пушки разнес бы в куски кабину нашей машины, и мне не сносить бы головы.

Я выскочил из кабины, чтобы узнать причину столкновения: пушка ли оторвалась от машины или машина сама сломалась? Выставив перед собой руки, чтобы ни на кого и ни на что не натолкнуться, стал считать шаги, имея в виду длину пушки, машины. Вскоре послышались голоса, обсуждавшие случившееся. Оказалось, что летучка ремонтников, вытаскивавшая на буксире заглохшую машину на обочину, совершила не очень удачный маневр. Разобрались, что к чему, я дал команду «по местам», шофер торопливо, чтобы наверстать упущенное время, двинулся, не заметив, что я не успел отойти от передка, и задел меня буфером. Правда, вскользь. Меня хорошенько крутануло на месте. На третьем обороте на меня наехал борт машины и тоже успел скользнуть по моей спине. После чего я почувствовал, как у меня плоть отделяется от скелета, и невольно вспомнился эпизод, произошедший вначале нашего движения, когда погибли двое наших танкистов. Мне повезло, притом дважды. Первый раз, когда шофер Федор Залозный успел вовремя затормозить и не дать общей любимице — пушке — совершить непоправимое. А второй раз, пока стояли машины, пыль успела немного осесть и Федя смог заметить, что я как-то не так передвигаюсь. (Мой поврежденный хребет еще долго будет давать о себе знать.) Залозный выскочил из кабины и помог мне дойти до машины, подняться на подножку и усадить рядом с собой. «Позвать Гичкина?» — спросил он. А Гичкин уже открывал дверку кабины. Протянул ко мне свою огромную, сильную, добрую руку, от прикосновения которой сразу стало легче. Прийти же окончательно в себя мне помогло чувство вины: ведь я вскоре должен был подменить за рулем Залозного, чтобы дать ему хоть немного отдохнуть. А Федора взбодрила радость оттого, что спас меня, и, включая скорость, он запел: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою!» Залозный вообще мало разговаривал, особенно за рулем, больше объяснял жестами, а тут — запел! Я невольно улыбнулся и подумал: неужели он читал мои мысли, когда я разбирался со своими видениями?

Движение почти не сбивалось с ритма. Медленно, но верно, подобно черепахе, ползли мы к поставленной цели. Хотя дышать становилось все труднее и труднее. То ли дорога пошла в гору и стал разреженной воздух, то ли в нас самих заметно поубавилось сил, чтобы втягивать, перерабатывать и выталкивать из себя заметно изменившийся воздух. Чаше стали впадать в дремоту — точнее сказать, терять

сознание. Дольше стали вспоминать, что предшествовало отключке...

Двигались мы уже, как теперь сказали бы, на автопилоте. А полурасплавленный мозг все чаще и чаще подбрасывал нам бредовые мысли о воде — та вода, которая к нам попадала, больше походила на пар и мало чем помогала.

В бреду кому-то хотелось ощутить на своем лице легкий душ, ну хоть несколько капель! У кого-то появлялось желание набрести на лужу, обыкновенную лужу, и прошлепать по ней, этой самой воображаемой луже, босыми ногами...

Лопалась земля, трескалась каменистая твердь, по которой мы двигались. Почему? Отчего? Трудно сказать. Возможно, от жары или от нашей тяжести? Но, скорее всего, от неровного характера пустыни. Нам из-за этого приходилось застревать, наезжать друг на друга, наводить мосты и переправы из бревен, досок, канатов и тросов, которые в нашем батерейном хозяйстве были припасены на все случаи жизни. Мы рыли ямы для опор, засыпали рвы и неожиданно образовавшиеся маленькие ущелья...

И вдруг словно по команде расчет первого орудия, за ним второго, потом все... сбросили обувь и стали демонстративно прохаживаться босиком по колкой и горячей поверхности пустыни. А потом валиться наземь и задирали ноги кверху. На мой удивленный взгляд командир первого орудия сержант Архипов ответил: «Говорят, Европа воспринимает мир головой, а Восток — ногами. И когда проходят незащищенными ступнями по горячим или холодным камням, то собственными подошвами чувствуют, что идут по векам, и начинают понимать и ощущать все по-другому...» «Откуда это Архипов узнал?» — подумал я и стал среди «медитирующих» высматривать Вацлава, понимая, что всему этому научил товарищей он. Ташков лежал с закрытыми глазами: спал или дремал. Но когда ощутил на себе мой взгляд, порозовел.

В это время ко мне подбежал Гичкин и настоятельно попросил отменить указание или разрешение «сушить ноги». Он, должно быть, подумал, что «массовая медитация» происходит по моей команде. «Пусть хоть ноги остаются влажными», — мотивировал он свою просьбу. Я поручил Архипову «обуть босоное братство», потому что в этом, казалось, был резон. Подчиненные, которые слышали наш разговор, эхом передали готовящееся распоряжение товарищам. Архипов не успел его произнести, как все бойцы (видно, чувство самосохранения взяло верх над любопытством), словно по тревоге, в мгновение ока намотали портянки, надели сапоги, заправились и обрели справный вид. В том числе и Вацлав. Мне стало жаль его — он сделался пунцовым.



Ташков умел быть самокритичным. Если в незнании каких-то исторических фактов и понимании событий его трудно было упрекнуть, то в области физиологии человека, как мы увидели, у него открылся пробел. Но дело, конечно, было не в этом. Мне хотелось попросить его не вовлекать других в свои игры, да еще в такое время и в таком месте! И напомнить ему, что его разного рода инициативы часто наказывались в школе, и из университета его отчислили, а про штрафбат он забыл?! Но Вацлав опередил меня, встретившись со мной взглядом, закивал головой, давая понять, что согласен со мной.

Всматриваясь в лицо Вацлава и оглядывая его с ног до головы, я подумал: такой узкий, тонкий, чтобы не сказать худющий, с почти прозрачной кожей, под которой видна каждая жилка, кажущийся болезненным, — и никогда ни на что не жаловался. Ни на фронтовые тяготы, ни на суровую хватку пустыни. Он всегда подчинялся любым приказам и выказывал завидную изобретательность, чтобы в трудную минуту поддержать товарищей. Он мог пробираться по любому болоту, взбираться на любую гору, и здесь, в Гоби, он оказался в числе самых выносливых. Неужели интеллект способен заметить физическую приспособляемость к трудным испытаниям?!

А испытания не убывали. Они даже набухали, множилось...

Потребность в воде все возрастала. Авиация уже не успевала обеспечивать нашу нужду. И здесь вода не показывалась — ни на глубине, в которую мы порой зарывались, ни рядом... Не вытекало, не выдавливало ни ручейка, ни лужицы, ни росинки — последние, слышал я, в других пустынях по ночам появляются, а здесь накал чертовой сковороды не спадал. Постепенно наши бредовые мечты о воде превращались в мольбу, мольба — в стенания... Нет, вслух никто никак ничего не выражал. Не жаловались командованию, даже друг другу. Позже, далеко от пустыни, лежа на берегу прохладной чистой речушки, мы будем вспоминать, делиться перечувствованным... А в походе мечты, мольбы, стенания были только внутри каждого, но вероятно, все вместе звучали так сильно, что не могли не быть услышанными.

Небеса? Или верховные жрецы пустыни, гор?! (Как объяснил бы Вацлав, и я, кажется, стал так думать...) Но кто-то нас услышал! Только не совсем так понял, как нам хотелось. Сначала неизвестно откуда взявшийся буйный ветер разметал наш пыльный покров, и мы впервые увидели, как на самом деле выглядит движение армии: увидели зенитные батареи, расставленные по бокам колонн, техников, ремонтирующих не выдержавшие напряжения машины; увидели впервые группу генералов, собрав-

шихся у передвижной радиостанции; не могли не обратить на себя внимания только что приземлившийся самолет и подъезжающие к нему санитарные машины... А вокруг — не о б о з р и м а я п у с т о т а п у с т ы н и ! Но пустота какая-то очень уж многозначительная. Казалось даже, что она смотрит на нас как-то изучающе, выжидающе, что ли?

Все больше рассеивающееся желтоватое пыльное марево открыло нам вдали одинокое дерево, будто выточенное из кости. Плотный ствол его и мощные редкие ветви были старательно обглоданы и вылизаны ветрами. Ни коры, ни листочка, даже сухого. Сухие ветви, тянущиеся вверх, создавали полное впечатление мольбы... Да-да, казалось, будто живое изможденное существо молит о пощаде небо.

— Что это? — спросил кто-то растерянно.

Вацлав Ташков посмотрел на меня, как бы извиняясь за то, что собирается сообщить, и на полном серьезе сказал: «Это, может быть, человек, отбывающий наказание за какие-то тяжкие грехи в своей предыдущей жизни, а в иной для себя...»

Мне ничего не оставалось, как улыбнуться. Не переделать его!

— Какой такой и н о й жизни, предыдущей? — спросили Вацлава сразу несколько человек.

Он начал было рассказывать о реинкарнации (о множестве жизней, которые проживает человек), составляющей многих религиозных течений здесь, на Востоке, но младший лейтенант Гринев, штангист и философ, который никак не мог оторвать глаз от многозначительной п у с т о т ы, перебил его:

— А что она хочет от нас?

— Что может хотеть одухотворенная необузданная стихия? Жертвоприношений, — ответил Вацлав, порозовев.

— Каких еще жертвоприношений? — переспросил Гринев.

— Ну, это нужно спросить... — Вацлав развел руки, как бы обращаясь к многозначительной п у с т о т е п у с т ы н и ... Которая не позволяла ни о чем, кроме нее, думать и представлять, будто что-то кроме нее существует.

И тут ветер, будто сам на себя разозлившийся за нечаянно проявленную доброту, та-ак взвыл, так заметался, срывая с машин капоты и брезенты... Все больше распаясь, он начал раскачивать машины и валить их. Они падали, задрав колеса, будто беспомощные насекомые. Разметал буйный и зенитную батарею, перевернул самолет, у техников унес летучку... А люди (независимо от звания), как впечатанные в землю, лежали ничком вокруг машин. И всех-всех ветер стегал, как провинившихся малышей, тугим жгутом из песка и камней, иссекая

в кровь сквозь плотную армейскую одежду ослабевшие от долгого напряжения тела...

В это время передо мной неожиданно появился Степняк, и я не удержался:

— Ты почему не предупредил о приближающемся урагане? — орал я не своим голосом, чтобы быть услышанным.

— Я ж казав, що дыхають пролиски! — ответил Степняк.

Я не понял: открывал ли мне «мечтатель-хол» шуткой или эти слова в его устах прозвучали знаменем. Я наклонился к нему, чтобы заглянуть в глаза, но в этот момент порыв ветра разбросал нас. Меня швырнул на что-то жесткое, и я потерял сознание. А когда очнулся, то рядом Степняка уже не было. Мы потом долго искали его, но не нашли. Трудно, кажется, потеряться в пустыне, но найтись, оказалось, совершенно невозможно.

Потом вконец обезумевший ветер схватил в охапку все, что смог: песок, камни, доски, детали машин, брезенты, — и вознес все в поднебесье, превратив по пути эту охапку сначала в темно-коричневые облака, а затем в черную-пречерную тучу. Она-то и разверзлась, сверкая слепящими молниями, все сотрясая оглушающим грохотом, выплеснув на нас сплошной неустойчивый поток студеной воды... Мы захлебывались в этом ледящем водопаде. От него нигде не было спасения. И наше счастье, что он был непродолжительным. Дождь, если так можно назвать это вселенское извержение воды, так же быстро прекратился, как и начался. Солдаты, офицеры и генералы остались лежать или едва держались на ногах посреди океанических луж, насквозь промокшие и дрожащие от холода.

Нам, обманутым и униженным, никак не удавалось взять в толк: откуда появилось столько воды? Из песка? Из камней? Вырвалась из преисподней? Или ветрище (должно быть, очень именитый) решил доказать нам свою немереную силу, выплеснув на наши головы воды Индийского или даже Тихого океана? Вот-вот, именно на дне этого океана мы себя и ощутили...

Вдруг разом исчезли мокрые грязные тучи, обнажилось бескрайнее синее-синее небо, с любопытством взирающее на нас и, казалось, о чем-то спрашивающее. Но свет, озаривший нас и все вокруг, позволил нам разглядеть то, что недавно именовалось гвардейской армией! И мы тут же напрочь забыли об удовлетворении собственного любопытства, отложили разговор с небом до лучших времен и буквально ринулись, скользя и падая, приводить в порядок технику, оживлять ее. Порыв наш был не только привычным, так сказать, солдатским реф-

лексом: нас подталкивало не только хорошо воспитанное чувство долга, но и остро прочувствованная опасность.

Разумеется, мы тогда особенно не раздумывали — руки сами хватались за нужные выступы, разбирали кучи, ставили на колеса машины, пушки, правили станины, прилаживали капоты, регулировали двигатели, натягивали брезенты... Нужные люди оказывались под рукой, значит — у нас все целы. Пусть кто-то оборван, помят, ушиблен... Но в такой передряге могло быть и хуже: у других попадались машины, превращенные в металлолом, санитары подбирали раненых... А поодаль лежали тела, укрытые плащ-палаткой с головой. Гичкин уже знал: среди тех тел Степняка нет...

В работе, барахтаясь в невообразимой слякоти, мы не заметили, как согрелись и немного обсохли. Подумать только: слякоть! Как неожиданно и быстро кремнистая дорога превратилась в жидкую вязкую массу. Ни дать ни взять — весенняя распутица образца 1944 года на Украине.

Трудно, очень трудно далось начало движения. Танки зарывались в колдобины, ложась на брюхо. Автомшины буксовали. И странное дело — колеса скользили, упрямо не подчиняясь воле водителей, — было полное впечатление, что они разъезжаются в разные стороны, как ноги у малыша, впервые вставшего на коньки... Все батарейцы баграми, бревнами досками, тросами старались регулировать движение автомашин: притормаживали, подталкивали...

Вдруг все замерли, увидев приближающегося Гичкина: батарейцы знали, что он бегал к соседям узнавать о судьбе Степняка. Еще издали, жестами, санинструктор стал отвечать на немой вопрос товарищей. Он вскинул широченные плечи, развел ручища, расширил до невероятных размеров свои огромные серые глаза, в которых почему-то не было веселинки... Значит, и этот поиск не увенчался успехом.

Всего несколько секунд отвела судьба на немой разговор и естественную грусть батарейцам, и ровно столько же понадобилось автомашине с пушкой на прицепе, чтобы соскользнуть с горки, раскатанной впереди идущими машинами... даже не горки, а какой-то шишки — ровно столько же понадобилось огромному студебекеру, чтобы поехать юзом в сторону застрявшего танка. Нагруженный под завязку кузов неумолимо наращивал скорость машины, за рулем которой был лучший из наших водителей, но и он не сумел предотвратить катастрофу. Санинструктор первым заметил и оценил грозящую опасность машине и, возможно, водителю, упрямо не выпускавшему баранку из рук. Ребята всегда шутили: Гичкину сверху видно все... Раньше всех



он ринулся к студебекеру, мчавшемуся уже, как болид, навстречу замершему танку... Что хотел сделать младший сержант Гичкин, нам уже не дано узнать. Здоровяк неловко поскользнулся, беспомощно взмахнул руками, как крыльями подбитая на лету птица, и машина буфером впечатала его в жесткую бесчувственную броню неподвижного танка.

Четырнадцать человек неловко скользили в грязи, пытаясь извлечь тяжеленное обмякшее безжизненное тело санинструктора, зажатого, словно тисками, двумя железными монстрами.

Федя Залозный, водитель экстра-класса, за всю войну ни разу не застрял ни в болоте, ни на крутых подъемах Карпат, ни зимой, ни осенью. Он умело уворачивался от бомбежек и обстрелов. Ни одной аварии! И этот водитель не сумел избежать аварии, которая привела к гибели его земляка, друга, с которым он с первых дней войны — не разлей вода. Оба они не пили, не курили, не играли в азартные игры... Сядут, бывало, рядом, и все говорят, говорят о прелестях украинской земли, о ее степях и садах, и напевают тягучие украинские песни. На два го-лоса. У Гичкина, как ни странно, тенор, а у Федеи — сочный баритон...

Несколько дней мужественный, сдержанный и обычно очень уравновешенный Федор Залозный плакал навзрыд в полный голос, стучась головой обо все твердое. Он был безутешен в своем горе, даже не понимал, что горе-то: общее! Не мог Федор прикоснуться к баранке... Да в этом в те дни и нужды особой не было, потому что сильно покоренную машину таскали на буксире, пока не привели в полный порядок. В полный порядок привела Федора Залозного дорога! Понял сам, что по такой дороге без него — никак.

Но неожиданно на помощь пришел сухой, и на глазах исчезали лужи, деревенели недавно совершенно мокрые наши одежды; хорошо разбитые колеи, рытвины и колдобины превращались в жесткие надолбы, которые армейские танки и автомашины старательно превращали в гравий, песок и, наконец, в пыль, снова окутавшую армию.

Но если в том начальном движении все плавилось, что-то к чему-то прилипало, то в этом обезвоженном движении все заскрипело... Скрипели танковые траки, колеса машин, одубевшие одежды, скрипел на зубах песок, скрипели от малейшего движения тел личного состава позвонки, и мысли, едва появившиеся в пересохших мозгах, тоже, казалось, скрипели...

Когда же мы уткнулись в горы и повеяло свежестью, запахло соснами, горными речушками, то подумалось, что все невзгоды позади, что все круги ада пройдены! Даже показалось, что можно на спор типа «слабо» — повторить!

Но горные тропы не были легче. Возможно, они и годились для Суворовской пехоты, но для тяжелых танков, неповоротливых самоходок, автомашин с прицепами? Не-ет... Нам еще не было известно, что кроме снежных и каменных лавин, как на Кавказе и в Карпатах, бывают лавины глиняные. И что они движутся не только сверху вниз, но и справа, слева! Они швыряли танки из стороны в сторону, переворачивали навзничь... Саперы, инженеры, да и мы с танкистами творили чудеса. Я не могу объяснить, как, но мы перешли, переползли... Мы вышли на оперативный простор, который оказался небо-зримым болотом, не отмеченным на карте, похлеще смоленских и белорусских. Может быть, у нас уже не хватило бы сил выбраться из них, если бы... не комары! Ух какие! Как крокодилы! Нам ничего не оставалось, как по-мюнхгаузеновски выдернуть себя из коварной жижи, а вместе с собой вытащить машины и танки!

Это, конечно, шутка. На самом деле произошло еще более фантастическое событие. Не желая топить танки в болоте или испытывать таким способом их возможности, командующий решил искать обходы. Обход нашелся, когда развеялся утренний туман. Оказалось, совсем рядом с намеченным маршрутом возвышалась железнодорожная эстакада. Тоже не отмеченная на наших картах.

На железнодорожное полотно въехал первый танк, не уступающий по весу локомотиву и нескольким вагонам, прошел перегон. Следом — второй. За одиночками — по два... С напряжением наблюдая за передвижением танков, как за смертельным номером в цирке (ведь стоило одной тяжеленной машине оступиться — могла рухнуть вся конструкция!), я еще подумал, что в конце эстакады удачно прошедшие машины могут встретить пушки и танки противника. А наши танки, лишённые на эстакаде маневра, перекрывая друг друга, могли стать легкой добычей для врага. И все мы ничем не сможем им помочь! Ох, это обескураживающее чувство беспомощности!

Все же рискованная операция складывалась удачно. И мы каждый танк провожали бурными аплодисментами. Но когда на воздушную колею, взметнувшуюся примерно на высоту трехэтажного дома, стали въезжать основные части танкового корпуса, появился японский самолет. Он стремительно, на бреющем полете, приближался к эстакаде — похоже, что его вел камикадзе. Мы, застрявшие в болоте, переживавшие за своих товарищей, осторожно двигавшихся по хрупкой (во всяком случае — на вид), казалось, даже нарисованной на небосклоне конструкции, уже чуть-чуть ставшие приходить в себя, при виде вражеского самолета испытали непередаваемый ужас. Не зная, чем помочь

товарищам, мы все разом, не сговариваясь, выхватили стрелковое оружие — пистолеты, автоматы, карабины — и открыли пальбу. То ли мы попали в какое-то уязвимое место самолета, то ли сам пилот решил проучить покусившихся на него незадачливых стрелков — во всяком случае, японская машина сделала крутой вираж, развернулась в нашу сторону и, немного не долетев до нас, рухнула в трясину. Там, на глубине, она взорвалась. И взрывная волна страшной силы вытолкнула многие наши машины вместе с людьми на земную твердь. Опешившие, мы долго молчали. Долготу нашей растерянности трудно было измерить. И сколько бы она длилась, трудно сказать, если бы не вопль солдата первого расчета Ермоленко. Он заорал срывающимся голосом: «Попал! Наконец попал! Давайте Героя!» Дело в том, что еще в ту войну говорили, будто сбившему вражеский самолет из стрелкового оружия присваивают звание Героя Советского Союза. Так ли это, никто толком ответить не мог. Но Ермоленко в это твердо верил и каждый раз при появлении вражеского самолета хватался за свой карабин, с которым никогда не расставался, и стрелял. Стреляющих в этот раз было много, но все, не сговариваясь, поздравляли именно его, Ермоленко, и приговаривали: «На, получай!» А он с радостью благодарил: «Спасибочко, спасибобчо...»

После этого спасенные, проверив свою спасенную взрывом технику, ринулись помогать остальным товарищам выбираться из болота. Растянули тросы, проложили настилы, пошли в дело ваги...

Сколько мы прошли? За сколько? Сколько не спали? Да и не могли заснуть от напряжения... Не ели из-за отсутствия аппетита, не пили, сберегая воду для машин... Но почти все сберегли и сами были готовы к выполнению любого боевого задания!

Почуввав под ногами нормальную землю с травой и кустами, все в приятном возбуждении, без команды привели в полный порядок матчасть, себя и в ожидании дальнейших распоряжений, как подкошенные, повалились в траву, засыпая еще в падении, как это умеют делать только солдаты... Те, кто по долгу службы не спал, рассказывали, что стоял такой храп, что трава от храпа гнулась... Проспали больше суток, и никто нас не будил, потому что командование уже знало: противник сложил оружие и готов подписать акт о капитуляции!

Какой подарок для пробуждающихся! Силы, едва вернувшиеся к нам и нужные было для похода, снова иссякли... Не будучи в состоянии подняться на ноги, мы от радости валялись по высокой пахучей траве, вяло дурачась... И кто-то наткнулся на колышек. Значит, мы на месте! В районе, указанном на карте и не обнаруженном воздушной разведкой!

Мистический пункт нашего сосредоточения! И к тому же к колышку была привязана овца! Разведчики обследовали окрестности нашего расположения и, не обнаружив ни пастуха, ни хозяина, решили, что это — божий дар нам в награду за все выдержанные испытания. И был он очень кстати, потому что голод, наконец, напомнил о себе. Наши батарейные умельцы быстро обработали жертвенную овечку, создав такие блюда, которые мало кто из нас помнил: шашлыки, отбивные, рагу, плов, бульон, а из костей да кожи получился чудесный студень, который в лотках из-под снарядов прекрасно застыл несмотря на неспадающую жару.

— Какая вкуснятина! — расхваливал очередной кусок мяса наводчик третьего орудия Лакманчик, жизнелюб и насмешник. Обсосав, причмокивая, смачную косточку, он добавил: — А мы не слопали Степняка? Он же тут мог превратиться в эту ме-е-е?

Кому-то шутка понравилась, и они поддержали ее смехом, а другие... Сысин, не дожидая еще свою порцию, обтер жирную руку о голенище сапога и вlepил Лакманчику крепкий отеческий подзатыльник.

— Чего несешь сдуру?

Сразу несколько «стариков» объяснили Лакманчику действие своего единомышленника.

— «Чего несешь»? Вон «профессор» все объяснил, как тут...

Все разом посмотрели на Вацлава. Кто с неприязненной настороженностью, кто-то с надеждой, а большинство — с любопытством: мол, что скажешь, «профессор»? Ташков покраснел, сделал несколько движений губами, челюстью, словно пытался пережевать неловкую ситуацию. Не привык и не любил он оправдываться. Побледнел. Заметно стало, что он волнуется. Надо было бы ему помочь. Но, побледнев еще больше, он начал сам:

— Религия, поклонения разным богам, философия, тесная связь с природой в жизни людей здесь, на Востоке...

— Хватит пудрить мозги молодежи, — перебил Вацлава дивизионный комсорг лейтенант Фролов. Он был большим поклонником поварского таланта солдата Ермоленко, поэтому большую часть времени проводил в нашей батарее.

— И верно — на кой ляд нам чужие боги, прости господи, — поддержал странным образом комсорга командир третьего орудия Патрин, из раскулаченных, и к тому же размашисто перекрестился. Сделал он это на людях впервые, и символический жест, само высказывание не выглядели шуточными, поэтому всех удивили. А комсорг Фролов даже открыл рот. Товарищи стали живо перешептываться. В это время отчетливо послышалось:



— И еще накаркал тогда ураган с потопом — жертвы ему подавай...

Я не мог не удивиться наплыву столь неоправданных, незаслуженных укоров Вацлаву. В моей, казалось, дружной батарее?! Неужели так подействовало присутствие комсорга? Показалось даже, что многие почувствовали в нем опору против непонятого и легко отдались во власть привычной стихии единодушия против чужого... Надо было вмешаться.

— Та-ак, — пришел на помощь Вацлаву и мне командир взвода артразведки Иосиф Иванович Казаков. — Мистико-христианско-антирелигиозная атака на товарища, боевого товарища. Скажите, что он плохого сделал? Струсил? Предал? Растерялся? Да вы должны быть благодарны ему за то, что он вам всем много рассказал о сути Востока, где нам придется еще поработать. А то, что записной хохмач Лакманчик сморозил глупость...

Никто не возражал, многие поддержали взводного. Так-то лучше... И когда Лакманчик попробовал снова оправдаться, его подняли на смех. И так же со смехом сторонники и противники теории переселения душ затеяли нешуточный спор, от которого аппетит разыгрался еще больше. Известно, что неутоленный голод — не тетка, что соловья баснями не кормят, поэтому...

Два дня наша батарея пировала! Правда, пришлось прибегнуть к добавкам с армейского склада, на котором продукты за время похода почти полностью сохранились и в обработке нашего умельца — солдата Ермоленко приобрели неповторимый вкус. Его все дружно благодарили. А он, похлопывая себя по тому месту на груди, где должна крепиться золотая Звезда Героя, говорил: «И вторая за *это!*» — показывая на расставленные в снаряжных лотках угощения.

Казалось, что эпизод с Ташковым был исчерпан. Но вышло не так. Никто не заметил, что он исчез. Командир орудия Патрин, к которому Вацлав был приписан, тихо шепнул мне: «Ташков плохо себя почувствовал и отпросился в санбат». Потом пришел к нам в гости уполномоченный смерша. На это тоже никто не обратил внимания. Он часто к нам захаживал, любил пробовать «горяченькое с ножа», изготовленное солдатом Ермоленко, бывшим «подкулачником». Да и со мной уполномоченный частенько подолгу разговаривал об искусстве, литературе... Мы сели в сторонке, и он мне сказал, что Вацлав попросился на психиатрическую экспертизу, так как трибунала не вынесет, особенно в мирное



время. «Я его понимаю — последнее донесение тянет на трибунал», — закончил свою информацию гость. Я принялся защищать Вацлава, объяснять его поведение особенностями характера, попробовал похвалить Ташкова как хорошего, надежного солдата... А уполномоченный смерша встал, не доев угощения, посмотрел на меня не то с сожалением, не то с пре-

небрежением (при том что мы с ним приятели), и сказал: «Я все это прекрасно знаю. Поэтому и пришел. Не понял? И вообще — твоя батарея не на очень хорошем счету. Дело Меркулова (ох, это дело о драке!), теперь — религиозная пропаганда, да еще недавно судимого. Незрелое высказывание Еськи, прости, взводного Казакова. Что за речь он сегодня произнес?! Мало тебе тех бесед о Троцком, Есенине (он имел в виду случай еще в Карпатах)?! Так что имей в виду. Крепи дисциплину...»

Он дал мне понять, что я всего лишь частичка хорошо организованной стихии, в круговороте которой мое место четко определено. И мне пришлось испытать то же чувство, какое уже довелось, когда недобрый ветер пустыни попытался отнять мой остров. А Вацлава я больше не видел. И никакие справки о нем навести не удалось.

Два дня пированья пролетели, как один. На третий день появился хозяин овцы. Старый, худой, очень растерянный — или таким казался? Переводчик объяснил, что овца и глиняная фанза — единственное достояние его большой крестьянской семьи. Крестьянин спрятал овцу от предполагаемых посягательств беженцев, которые из предгорных ущелий возвращаются по своим домам. Их много и среди них есть всякие. А тут у непроходимых болот было безопасно. Тут люди еще никогда не ходили. Мы не знали, как искупить свою вину за то, что прошли пустыню, горы и болота — непроходимые! Взглянув на небо, крестьянин пожал плечами и развел руками, что на всех языках мира означает: «На все божья воля!» Трудно предположить, что в этом случае Бог был с нами заодно, но наши интенданты помогли нам оправдаться — освободители все-таки, — нагрузив крестьянина продуктами, которых должно было хватить не на одну семью и не на один месяц.

Командование сочло возможным продлить наш отдых. И мы еще несколько дней лежали, распластавшись, на той же поляне в сочной душистой траве, нежась на солнце, которое, оказывается, умеет не только обжигать и душить, но и ласкать. Лежали

мы, почти не двигаясь. Уже даже спать не хотелось, есть, пить (а казалось, что мы никогда не сможем утолить жажду!), не хотелось даже разговаривать... Только прислушивались к болтовне прибежавшей к нам с гор чистой, прохладной говорливой речушки, заискивающе журчавшей у нас под боком, будто извинявшейся за родные горы, которые нас неласково встретили и грубо с нами обошлись. Нет-нет да поглядывали в ту сторону, откуда пришли «по ази-муту». Посматривали с опаской, потому что оттуда веяло холодноватым ветерком неприятных воспоминаний, от которых сразу начинала мучить жажда, болели суставы, поскрипывал на зубах песок и саднило все тело, иссеченное свирепой бурей и искусанное злющими комарами. Посматривали для того, чтобы попытаться найти все же ответ на мучивший нас вопрос: «Кем и зачем был избран столь тяжкий путь к поляне, на которой мы валяемся, — поляне, которая навечно будет отмечена в нашем сознании колышком, ставшим уже символическим? Ради этого сосредоточения?!»

Но больше всего мы смотрели на простершееся над нами небо и дивились его несхожести с нашим, российским. Наше ведь голубое, прозрачное, бездумное, бесхитростное и очень непостоянное: то веселое в кудряшках облаков, то грустное, затянутое серой дымкой или вдруг обиженно насупившееся мрачными тучами... А это, маньчжурское, густо-синее, непривычно чистое-чистое, плотное, тяжелое, казалось задумчивым, проворачивающим в глубине своей синевы огромную вязкую думу о прошлом, о настоящем и будущем. Думало небо отрешенно... Философическое небо. Ни мне, ни моим товарищам думать не хотелось, но небо втягивало нас в круговорот своих раздумий...

Я услышал, как Сысин сказал Архипову: «Да-а-а... Смотришь туда — и хочется повиниться, помолиться...»

— Винись, молись, — спокойно, великодушно решил командир орудия заряжающему.

— Да нет, не выйдет — забыл, как это делается, и грехов такая тьма. Ну чего я тогда Лакманчика того этого... Да-а-а, не шибанул бы его, может, и с Вацлавом ничего бы... Да-а-а...

Мне подумалось, сколько слов помещается между привычными для нас «Да-а-а»! А сколько мыслей заключает в себе само «Да-а-а»!

— Вот тогда, когда тот переворот был, смерч, дождина, — продолжал Сысин, — а мы уцелели... развиднелось... Помолиться бы, говорю Вацлаву, а он — молись. А я, говорю, как сейчас, не могу. Не получится. И грехов — не счесть. Вацлав спрашивает: у тебя? У кого их нет, говорю. А он тогда сказал: все-все (в какой стране — запамятовал) — и король

(или царь?), и самый ну что ни на есть прошельга — идут на целый год в монастырь, чтобы замаливать грехи, что были и что будут! Да-а-а...

И об этом говорят мои самые лучшие бойцы! Да-а-а, распустил я их! Мне не могло не вспомниться замечание уполномоченного смерша: «Крепи дисциплину, твоя батарея не на очень хорошем счету». И было, казалось, самое время сделать серьезное замечание собеседникам, напомнить... Но что-то помешало мне. Может быть, то, что я услышал.

— Да-а-а... помолиться бы за сынков моих! Им только семнадцать стукнуло. Что с ними? От мамки и — в бой. Да-а-а... Клава писала, что говорила военному: молоденькие еще. А он — надо, страна требует. Так что ж, сразу обоих? А он смеется: выбирай сама, какого из них оставить. Она в слезы. А он смеется. Второй месяц Клавдия плачет. Молись, говоришь? Они ж — неверующие. Да и я...

Услышав эти слова, и мне захотелось помолиться, замолвить перед Всевышним словечко за этих людей. Но я, неверующий, тоже не знал, как...

Не могли мы не размышлять о пройденном нами пути. Трудно было вот так сразу о нем забыть, отрешиться от пережитого. Размышляя о том, что было с нами недавно, многие медленно, но все же переставали думать плохо о вздорной и по-восточному жестокой пустыне, капризном Хингане. И находили, что и Хинган, и Гоби не идут ни в какое сравнение со Сталинградом (ни осенним, ни зимним) или с высотой 190,7 в Румынии, где наш дивизион потерял почти треть своих людей, пушек и машин. Кто-то высказал мысль, очень похожую на поговорку, и мы ее дружно подхватили: «Самая лучшая дорога — которая уже пройдена!»

Это позже наши дети будут петь, что лучше гор могут быть только горы, на которых они не бывали... А мы вынуждены будем им подпевать, потому что наш опыт их ничему не научит. Каждый должен пройти свою дорогу. Да и эта наша не была последней.

Вскоре все мы понадобились командованию. И наша гвардейская танковая армия двинулась вглубь Маньчжурии — в сторону города русской военной славы, к Порт-Артуру. Двинулись принимать капитуляцию. На этот раз наше движение напоминало торжественный марш, под стать Параду Победы.

И, как достойный рефрен нашему движению, с равными интервалами двигались встречные стройные колонны капитулировавшего противника. Солдаты во главе с офицерами без всяких поводырей и охраны шли добровольно сдаваться в плен. При этом они приветливо нам улыбались и церемони-



ально кланялись, будто за что-то нас благодарили. Конечно же, за этим лицедейством должно было скрываться глубокое сожаление о том, что на этот раз не удалось повторить Цусиму и оккупацию нашего Приморья. А может быть, восточная мудрость и врожденная дальновидность нашего противника подсказали ему, что нас действительно следовало благодарить! Ведь мы их, японцев, избавили от милитаристской гордыни и позволили Стране восходящего солнца стать такой, какой мы видим ее сегодня.

Вот, кажется, и все. Все, что запомнилось.

Ведь то, что потом было в Манчжурии и Китае — все радостное и горькое, неожиданное и загадочное, — почему-то в памяти плохо сохранилось. Так — в общих чертах, без цвета и звука, без восторгов и боли, покрытое патиной забвения. А вот поход через Гоби и Хинган — от начала до конца, от восходов до закатов (каждая мелочь!); камни и лужи, грохот и гарь; замутненные пылью машины и лица товарищей — всем осязаемых: кажется, протяни руку... Помнятся!

Да, еще хорошо помню платформу на станции Харбин.

Это когда мы уже отправлялись домой, в Россию, и наша батарея перегружалась с узкой маньчжурской колеи на нашу широкую. Последний аккорд в нашем походе...

Увяло лето, осень сдалась на милость зимы. Стояли морозные солнечные дни и яснозвездные ночи. Снег скрипел под подошвами наших теплых сапог японского производства. Мы все были надежно укутаны в японские армейские бушлаты — трофеи с арсенальных складов капитулировавшего противника. Ничего не поделаешь — и в Манчжурию неожиданно приходит зима, поэтому нам не успели подбросить собственную экипировку... Мороз пытался остудить нас, но у него ничего не получалось. Ему оставалось только раскрашивать наши щеки и щипать носы. Но это только веселило. Разговаривающие, как снежками, перебрасывались клубками легкого пара. А в воздухе — прозрачном и, казалось, хрупком — под хрустальный перезвон храмовых колоколов струилось (для одних забытое, а для других совсем не знакомое) слово «сочельник». Праздник! Вкусно пахло пирогами из домов, стоявших близ платформы... Странно: в центре Манчжурии — пахло Русью, здесь был русский дух! И это не цитата, а ощущения, которые хорошо сохранились в моей памяти.

Наш эшелон уходил последним, поэтому нам достались все невысказанные остатки поздравлений и почестей, предназначенных всей группе войск!

К нам на платформу приходили редакторы местных газет, торговцы, представители религиозных общин — китайцы, гражданские японцы и русские. Русских было много. С ними хотелось обниматься — не

получалось: совсем недавно мы были «белыми и красными»! Мы еще оставались Красной армией, а они... Поэтому наши объятия сами собой не распахивались, сдержанными были и эмигранты. Еще очень мешала их чистая, правильная, почти книжная речь. Все без исключения желали нам счастливого пути и в который раз поздравляли с большой победой (и на Западе, и здесь, на Востоке). В нашем лице — всю армию. При этом они тактично опускали слово «Красная».

Все наши бывшие соотечественники заводили разговоры о будущем мира, России, русских эмигрантов... Навязанная нам и несвойственная солдатам миссия очень тяготила нас, мы не знали ответов на многие вопросы, но старались быть дипломатичными: иногда кивали, чаще пожимали плечами... Приходили музыканты из соседнего со станцией ресторанчика под названием «Эдем» — чехи, бывшие военнослужащие мятежного корпуса, доставившего в свое время нашему молодому тогда государству много неприятностей, и спрашивали, что с ними будет. Мы не знали, что отвечать. Как не знали, какой дать совет гимназистке Ниночке, которая родилась в Харбине и мечтала поехать на историческую родину, но побаивалась...

Приходила падшая женщина, как ее называли местные жители, и предлагала себя нам, победителям, за так! И не понимала, почему ею не пользуются. Как не понимали ее наши люди: как можно вести себя вот так?!

Тогда же появился на нашей платформе и Кларнетист. Ему было немногим за пятьдесят, а он казался совсем древним, помятым, истертым, но не временем, скорее, таким его сделала «страшная несправедливость» — как говорил он сам, этот осколок Белой армии, — «всю жизнь играть победные марши в полку, который постоянно отступал: от Перемышля, Львова, Киева до самого... Харбина!». Поэтому он с удовольствием играл нам, победителям! Даже специально для нас разучил Гимн Советского Союза. Правда, партию кларнета...

Но батарейцы были очень благодарны ему за это: жали руки, похлопывали по спине и предлагали ехать с ними... «Я с удовольствием, — воскликнул высоким голосом кларнетист, — но ЧК поставит меня к стенке... Я же — белый!»

Мы с любопытством и удивлением стали рассматривать нашего нового знакомого, стараясь разглядеть в нем белого. Каждый из нас, должно быть, имел свое представление о белых. Мне почему-то вспомнились рукописные листочки, прикрепленные к входным дверям парикмахерских и ресторанчиков — «Только для белых». Кому-то, возможно, вспомнились рассказы о колчаковцах, вырезавших на телах красноармейцев звезды...

Но ни одно понятие, заключенное в слове «белый», не вязалось с нашим кларнетистом, почерневшим, как пересушенный годами сухарь, обсыпанным множеством деталей, отрицающих суть «белизны», особенно с его длинными музыкальными пальцы с нестриженными ногтями, траурно выглядывающими из прохудившихся перчаток...

Этот? Да и за что его «к стенке»? Конечно же, никто из нас не был уверен, что точно знает, кого и почему ставили к стенке в те, молодые годы кларнетиста и в наше (то) время.

Правда, бдительность у нас ценилась высоко, поэтому беспечный обычно наводчик второго орудия Сигбатулин подумал вслух: «А что? А зачем он приходил на платформу? Играть всякие турли-мурли? И, наверное, к другим эшелонам присматривался?»

— Зачем? — спросил Сигбатулина рассудительный заряжающий Фахман.

— Пушки посчитать, нас. Разузнать все.

— Что? Тогда почему он с нами не едет, хотя бы до границы — больше узнал бы...

Поток поздравляющих не иссякал. К нам на платформу приходили целые делегации и случайные прохожие... Но нам становилось все труднее и труднее принимать поздравления и похвалы. Было очень неловко. Ведь мы за всю кампанию ни разу не встретились с противником в боевой обстановке! Главные сражения (и жестокие!) — шли на севере и востоке Манчжурии... А мы, застрявшие в пустыне и в Большом Хингане — на Западе, — ничем не смогли помочь сражающимся...

В то время я не мог предположить, что через много лет и совсем неожиданно эта история получит продолжение.

В конце семидесятых, когда я работал на телевидении, мне довелось во время подготовки одной из передач познакомиться с генералом Ивановым, который в 1945-м году возглавлял Штаб всей группы войск на Дальнем Востоке. Он рассказал о том, как готовилась и проводилась кампания. Я не преминул вставить несколько слов о своем участии в Гоби-Хинганском походе.

— О-о! — воскликнул генерал. — Это была удачная, нет, прекрасно проведенная операция! Как только эта махина (он имел в виду нашу танковую армию) в боевом состоянии появилась в тылу Квантунской армии — противник сразу капитулировал! Шах и мат! Их командиры хорошо знали эти места и были уверены, что такому роду войск в таком количестве и с такой скоростью — пройти невозможно! Мне докладывали, что противник даже ловушек не устраивал, не направлял в этот район авиацию!

— А мы не знали, что этим маршрутом пройти невозможно, — сказал я, будто извиняясь. — Нам го- ворили местные жители...

— Вот именно! И все-таки — прошли! И с минимальными потерями для такого похода!

Мне сделалось не по себе: сразу вспомнились машины, превращенные в металлолом; перевернутый ураганом самолет, раненые, ждущие отправки, тела, накрытые плащ-палаткой с головой. И почему-то через столько лет припомнилось, что из-под плащ-палатки виднелись два сапога солдатских и один — офицерский. А Степняк? Гичкин?

Генерал уловил смену моего настроения и попытался успокоить меня:

— Шла война, молодой человек...

Пришедшие откуда-то из очень далекого детства стихи прозвучали во мне, как реквием: «Отряд не заметил потери бойца и “Яблочко”-песню допел до конца»... Я рассказал генералу о Кларнетисте и добавил:

— Можно считать наш поход своеобразной партией... кларнета, что ли? Не мы же играли главную партию?

— Конечно, — подхватил генерал. — Но без вашей партии мощная мелодия победы не прозвучала бы так ярко и содержательно!

Генерал был поэтом, писал стихи, любил метафоры. Но мне все равно были приятны его слова. Я был горд. Я вполне мог гордиться тем, что участвовал в этом необычном походе и порученную нам партию достойно исполнил вместе со своими товарищами, с теми, кто дошел и не дошел до конца...

Но тогда, во время той войны, нам не удалось поставить точку, завоевать вечный мир! Ведь мы там, в Китае, ввязались в гражданскую войну между Китайской красной армией и силами законного правительства Чан-Кайши, к тому же нашего союзника в войне против Японии. Американцы стали поддерживать договорного правителя. А мы, конечно, красных. И вместо точки в конце войны время поставило многоточие, каждая точка которого вскоре стала превращаться в *горячую*.

Корея, Вьетнам, Берлинская стена, Афганистан... Да всех не перечесать! Почему так вышло? Но это уже другая история, другой рассказ.

Я так и не привел в порядок свой домашний архив. Передумал.

Вспомнил, как фото сынишки увело меня в Харбин, к старому кларнетисту Белой армии, а рассказ об этом музыканте воскресил в памяти поход через Гоби, Хинган...

Вспомнил, с каким удовольствием мои друзья-однополчане сами роются в фотороссыпях, письмах — каждый находит свое, что-то всплывает в его памяти и радуется или заставляет грустить. Порой кажется, что им нравится сам процесс. Ради которого, думается, они любят чаще всего собираться в моем доме.

«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...»

Хасанов З. О силе духа, любви и милосердии. — М.: Творческое агентство «Вперед, к мечте!», 2011. — 198 с.: ил.



Калуга — небольшой губернский город, от Москвы недалеко, но у Калуги свой нрав, весьма экстравагантный. Видимо, поэтому литераторы не обошли Калугу своим вниманием. В частности, считается, что

прототипом Пиковой Дамы из драмы Пушкина послужила Наталья Петровна Голицына, получившая прозвище Усатая княгиня за усы, которые выросли у нее в старости. Имение Голицыных — Городня (Красный городок) — в десяти километрах от Калуги. Понятное дело, что Наполеон бежал из Москвы именно по Калужской дороге не за тем, чтобы узнать, чем славен этот городок. Но все же примечательно: Калуга — эпицентр, без которого важнейшие дела, которые задумываются в Москве или вообще в центре, не имеют своего разрешения. Если бы не было Калуги, то и варилась бы Россия в собственном соку. Если добавить сюда Циолковского, то и вовсе понятно: Калуга дала России космос. А без космоса что за Россия?

Зулкар Бикмухамедович Хасанов родился далеко от этих благословенных мест, в деревне Султан-Муратово, что на Южном Урале. Через десять лет грянула Великая Отечественная. Лишь в 1949 году молодой человек окончил семь классов Большедмитровской средней школы. А потом были его рабочие университеты.

Про таких людей, как Зулкар Хасанов, говорят «становой хребет»: от рабочего человека он прошел долгий и трудный путь до главного инженера. Выйдя на пенсию, Хасанов не стал вести традиционный для пенсионера образ жизни. словно бы не успокоившись на достигнутом, он бежит своих болезней, горьких сетований на судьбу, старости. В свои семьдесят он бодр, подтянут и полон разнообразных планов. Планы эти связаны в основном с литературой. В 1998 году у Зулкара Хасанова вышла книга «Записки обывателя», в которой нашли свое отражение 30–50-е годы уже прошлого века. Отзывы знакомых, друзей да и просто людей, хорошо знавших его, не заставили себя долго ждать.

Вот лишь несколько из них.

«Не хотим проводить какие-либо параллели на то чувство, с которым мы перевернули последнюю

страницу книги, наполнившее нас впечатлениями от нашего детства. Поэтому сразу хотим признаться. Наш отзыв ведется восхищением книги Зулкара Хасанова».

«Об этой книге лаконичнее всего можно сказать словами автора: “Дань памяти той жизни, которую мы прожили”».

«Творение Зулкара Бикмухамедовича — череда историй, главным героем которых оказывается сам Зулкар Хасанов, его родные односельчане. Все краски повествования переплетаются и пересекаются друг с другом. Сама жизнь тоже ведь великий и прекрасный узор».

И вот — новая книга, «О силе духа, любви и милосердии». Повесть «Женщины» и многие из рассказов, вошедшие в эту небольшую, но аккуратную и с любовью сделанную Светланой Крыловой книжицу, были опубликованы в журнале «Юность»: «Сновидение», «Дунул», «Дядя Вася», «Случаи», «Зачет», «Едем на черное море», «Развод», «Журавель», «На даче “Наша доля”», «Люди и бесы». Проиллюстрировала рассказы своего земляка калужская художница Лариса Могильная.

А ветеран труда Калужского турбинного завода Нина Ивановна Буцына откликнулась на нее взволнованно: «Эта книга мне близка по духу и содержанию. Она до слез навеяна воспоминаниями



Заместитель главного редактора журнала «Юность» Игорь Михайлов плотно опекает калужского прозаика Зулкара Хасанова

о моем босоногом, безрадостном и безотцовском детстве, о красивой небольшой деревне с названием Садовка, в которой проживала моя семья — мама с тремя детьми. Кругом цветущие сады, много солнца, рядом речка и луга, лес, огромные поля. Тяжело было жить и нашим деревенским женщинам, в основном вдовам, работать в колхозе от зари до зари».

Небольшая книга, всего-то двести страниц. Много это или мало? Наверное, по нынешним временам — немного. Но за ними большая, трудная, но

такая славная жизнь рабочего человека, о котором у нас в последнее время стали забывать. А зря...

Небольшая книга... Несколько рисунков, выполненных в манере наивной черно-белой графики, украсили страницы книги... Хочется добавить — жизни. Ведь книга — все равно что пройденная жизнь. С той лишь разницей, что, переверачивая последнюю страницу, благодарный читатель не прощается с автором. Он говорит ему: «Спасибо! И — до новых встреч!»

Юлия ГИАЦИНТОВА

ПРАВДИВЫЕ НЕБЫЛИЦЫ

Попов И. Московские были-небыли. — М.: Кстат, 2011. — 400 с.: ил.



Совсем недавно, в этом году, появилась на свет причудливая, сказочная, точно вынутый из печки румяный пирог, книга о тайнах Москвы... «Москва-матушка, хлебосольная, златоглавая, белокаменная,

красногрознозвонная» предстает перед нашими глазами. Ступаем за незримым экскурсоводом, автором душевной книги «Московские были-небыли» Игорем Поповым, и по маленьким миниатюрам собираем мозаику истории Москвы от ее первозданного деревянного убранства, с ее расцветом XV века, с царями и удалыми мастерами до ее нового облика советского периода, оставшихся в памяти города и его жителей. Игорь Попов проделал большой труд по собиранию и исследованию московской истории и городского фольклора. Легенды, мифы, неожиданные и малоизвестные подробности о различных исторических личностях, о памятниках архитектуры, которые имеют свою вереницу преобразований, рассказываются здесь с особым трепетом, теплотой и тщательным изучением материала.

Состоит эта чудная книга из двух частей, первая из которых представляет собой небольшие краеведческие заметки, очень легкие для чтения и возбуждающие необыкновенную любознательность у всякого читателя. Вторая часть, литературная, именуемая как «Завитушки из жития Алексея Ремизова», открывает Москву замечательного русского

писателя, яркого стилиста, перу которого и принадлежит этот точный, колоритный образ *Москвы красногрознозвонной*. Марина Цветаева, нутряным голосом воспевавшая Москву, так говорила о нем: «Здесь, за границами державы Российской, не только самым живым из русских писателей, но живой сокровищницей русской души и речи считаю — за явностью и договаривать стыдно — Алексея Михайловича Ремизова... Для сохранения России, в вечном ее смысле, им сделано более, чем всеми политиками вместе». Читая книгу Игоря Попова, мы путешествуем по ремизовской Москве, по его родным местам, от дома в Малом Толмачевском переулке, с которым связано детство писателя, до колокольни Ивана Великого в Кремле, Большого Каменного моста, Подсосенского переулка (бывшего Введенского), которые часто упоминаются в его произведениях. Любопытно, что повествования о жизни, мыслях и творчестве Алексея Ремизова дополняются у Игоря Попова фотографиями, картинками и даже картой Москвы писателя с комментариями.

После прочтения книги хочется выйти на улицу Варварку, взглянуть на Никольскую башню, погулять в Замоскворечье, зайти в Тургеневскую библиотеку и многое-многое обвести новым взглядом, новым мироощущением, которое подарил своей книгой Игорь Попов. Может, всего этого и не было, но в «московские были-небыли» хочется верить (и веришь!), как в детстве в самую увлекательную и любимую сказку.



Продолжение.
Начало в № 4, 7–8, 10 за 2010 г., в № 1, 4, 6 за 2011 г.

ИНДИЙСКИЙ ДНЕВНИК

28 ноября 1998 г., суббота

Пишу, чтобы хоть не потерять счет дням. Пеший марш не всегда позволяет уединиться и пообщаться с вами. Даже просто записывать события — на это у меня редко находятся силы.

Через полтора месяца пребывания в Индии — наконец-то! — у меня проблемы с животом. Весь вчерашний вечер провалялся на соломе в муках после обеда в одной деревеньке. Но у главного нашего лекаря — Тимура нашлись какие-то чудодейственные бактерии в капсулах, и вот утром все нормализовалось.

Название деревни, где мы проснулись, — Будда Марг, то есть Путь Будды. Она действительно находится на той дороге, по которой Будда совершил свое последнее путешествие — в Кушинагар, где он ушел из мира. В Вайшали — поля. Здесь же природа другая. Деревья склоняются над дорогой, ведущей к месту нирваны Будды, образуя уютный туннель. Мы идем по нему, обгоняемые редкими машинами, а когда останавливаемся и перестаем бить в барабаны — нас обступает тишина. Люди живут в этой тишине и не нарушают ее...

Я понял, наш марш — это признание в любви человечеству.

Очень смущает, когда заходишь в деревню, и все подряд — дети, взрослые — начинают кланяться тебе, дотрагиваясь руками до твоих стоп. Они приветствуют так каждого из нас. Это древняя традиция почитания монахов.

Господи, как там вы? Мне становится страшно, когда ловлю себя на мысли, как я далеко от вас... Милые мои, пусть у вас все ладится!

Многие индусы вдохновенно берутся идти с нами аж до самого Лумбини — места рождения Будды в Непале. Там мы хотим завершить Широкий марш мира



Будда у деревенской школы

по Евразии, начавшийся полгода назад в России, в Ясной Поляне. Однако почти все они исчезают через один-два дня. Поначалу я переживал, что наши тяжелые русские монахи чем-то задевают ранимые индийские души. Но потом понял: это черта индийского характера — быстро зажечься и скоро потухнуть¹.

Из двух профессоров-пандитов, присоединившихся к нам в Вайшали, остался только один, самый неутомимый, в очках. Он все время что-то записывает и, забегавая вперед, организует нам в деревнях торжественные приемы. До Вайшали мы везде были

¹ Впрочем, это касается лишь оседлых индусов, которые привязаны к традициям своих деревень. Но как показал в 2007 году Джанадеш — многотысячный марш крестьян, лишившихся жилья из-за затопления земель при строительстве гидроэлектростанций, — индусы, которым нечего терять, способны на гораздо более долгосрочные подвиги: их марш продолжался около месяца и покрыл большое расстояние от индийских окраин до столицы — Дели.

не столько неожиданными, сколько неожиданными гостями, которым крестьяне радовались и без всякой предварительной подготовки.

Тэрасава-сэнсэй сказал, что при проведении маршей мира в ордене Ниппондзан Мёходзи устоялась японская традиция заранее планировать до мельчайших деталей весь путь, каким бы долгим он ни был. За месяц фиксируется, где будут только пить чай, где как следует поедят, где поспят, где помитингуют. В этом смысле наш учитель не типичный монах ордена — у Сэнсэя все получается спонтанно.

Так же, как у самого Махатмы Ганди. Но не у его неудачных последователей. Например, Веноба-джи, которого какое-то время считали преемником Ганди, первым делом спрашивал подобных гостей, почему они заранее не уведомили, что придут. Думаю, многие искренние порывы индусов погасли из-за этого. Ну что ему стоило просто промолчать и улыбнуться гостю, как это делал Ганди, который говорил, что способность от души улыбнуться при любых обстоятельствах отличает истинного мудреца!

29 ноября 1998 г., воскресенье

Однако зима. Утром изо рта идет пар. А вода в колонке теплая: земля за ночь не успевает остыть. Днем воздух прогревается до плюс двадцати. Вообще-то по московским меркам это лето.

Вчера перед сном, когда уже легли, неожиданно для самих себя стали вспоминать русские и украинские песни, и получился целый концерт — подношение приютившим нас жителям деревни. А еще это наш ответ банте-джи, индийским монахам буддийской традиции Тхеравада, участвующим в нашем Марше и неизменно исполняющим громкие молитвы посреди ночи, когда всем так хочется спать.

Оказывается, многие из деревень, через которые мы проходим, населены кастой неприкасаемых, то есть отверженных, другие касты категорически не хотят общаться с ними¹. Им очень трудно найти свое место в обществе, и буддизм — один из немногих способов их самоидентификации. Целые села становились буддистами благодаря нашему появлению. Ведь по традиции это невозможно сделать самим, без присутствия монахов. Это одна из причин, почему нам здесь так рады.

1 декабря 1998 г., вторник

Забавно, когда мы проходим, ударяя в барабаны, мимо коров и волов, они автоматически испраж-

¹ Хотя Ганди и Амбедкар боролись с этим пережитком и по современной Конституции все граждане Индии обладают равными правами, вопрос касты неприкасаемых по-прежнему остро стоит в индийском обществе.



Защитники неприкасаемых Будда и доктор Амбедкар

няются от переживаний, а некоторые начинают метаться, отрывают привязь и уносятся прочь. Заметив это, мы стали тише стучать возле них.

В отличие от городских «лысых» домов, хижины здесь «с прической» из соломы на крышах.

Итак, деревня Джагираха. Ночевали в строении на краю широкого поля, посреди которого круг из кирпичей обозначает место, где ночевал Будда по дороге в Кушинагар. Об этом рассказал учитель местной школы, проезжавший мимо нашего Марша на велосипеде. Мы не могли не остановиться здесь, хотя еще была середина дня и можно было бы пройти еще несколько километров.

Позже выяснилось, что об историческом значении места повествует и каменная плита у дороги, проходящей через деревню. Правда, плита упала вниз надписью и уже основательно вросла в землю. Но нам дали ломик, и, подкопав плиту, мы все вместе вернули ее в вертикальное положение.

Придя на поле, мы легли прямо на траву, поставив алтарь в центр круга из кирпичей. Я заснул, утонув в чистом небе, которое ближе к вечеру стало уже не таким ярким и перестало резать глаза. Когда смотришь на небо, лежа навзничь, оно становится продолжением твоего лба, стирая разницу между внешним и внутренним миром. Теперь понятно, по-



Поля Индии

чему религии всю психологическую реальность помещают именно на небо, населяя его божествами...

Когда проснулся, почему-то стало грустно. На закате мы совершили молитву, и я пожелал, чтобы солнышко в тот самый момент, как исчезнет за горизонтом здесь, передало от меня привет вам в Москве, где вы еще будете его видеть.

Вчера у меня был день рождения. Мы отметили его в Наванагаре, впервые за последние дни сделав покупки. Набрали мандаринов, яблок и бананов. От фруктов мы успели отвыкнуть, так что это был настоящий праздник.

А сегодня трапеза наша попроще: длинная белая редька «мули» да сату — шарики, слепленные из горохового порошка, разведенного в воде. На сладкое — сухой давленный рис. Его не варят. Зернышки расплющены до тонких пластинок, которые едят, просто залив водой и засыпав сахаром. В особых случаях заливают не водой, а дахи — чем-то вроде кефира.

По многочисленным проповедям, которые Тэрасава-сэнсэй произносит перед индийскими крестьянами, потихоньку изучаю хинди. Например, «родители» будут «мамбаб», а «слушаться родителей» — «мамбабка пичипичи». Смешной язык!

К слову, о языке. Индусы не воспринимают отказ и сами не умеют отказывать. Когда им прямо отвечаешь, что тебе в принципе непонятно, что они говорят, они относятся к этому как к шутке и продолжают объясняться с еще большим вдохновением: авось дотумкаешь. Если же они сами не понимают тебя или у них нет того, что ты просишь, они никогда в этом не признаются, до последнего будут предлагать какие угодно варианты ответов, доходя до абсурда, только бы не отказать. Так, Тимур пришел в аптеку купить вату и какое-то лекарство. Вату ему дали, а вот лекарства в аптеке не оказалось, но вме-

сто того, чтобы прямо сообщить об этом, фармацевт стал предлагать Тимуру чуть ли не весь ассортимент, какой у него был, включая ту же вату. Впрочем, может быть, он просто не понял названия лекарства, и тогда его поведение было вполне логичным: если не по названию, то по виду из выложенных на прилавок лекарств Тимур мог выбрать нужное. По-моему, это гораздо лучше привычки наших продавцов, родившей советский анекдот о гномике, который приходит в магазин: «Сметана есть? — Нет! — Ну так вам и надо!»

3 декабря 1998 г., четверг

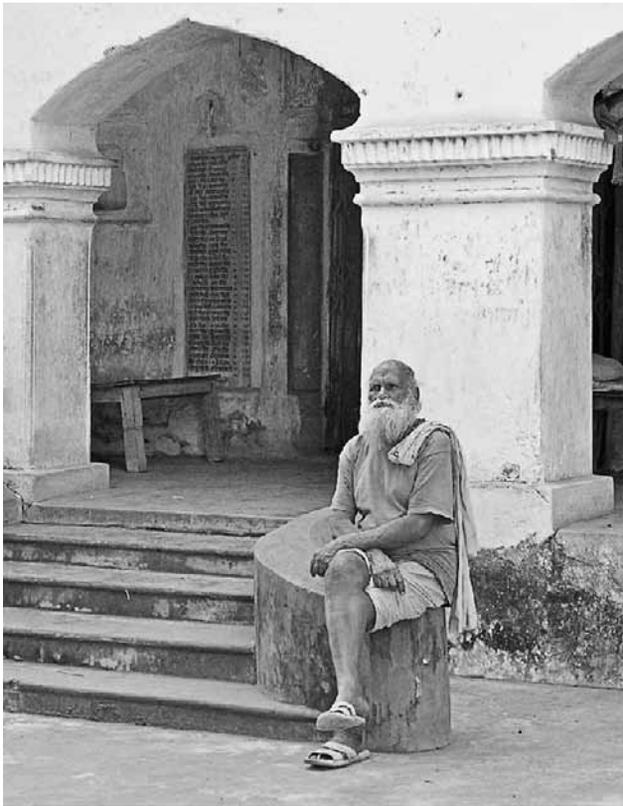
Шли допоздна. Уже наступили сумерки, а с ночлегом не было никакой ясности. Сэнсэй разнервничался: мы оказались в каком-то городе, где кроме гостиницы остановиться совершенно негде. Но в гостиницу мы не хотим селиться принципиально — наш Марш проходит в древней традиции монахов, целиком живущих на подаяние. В этом смысле многолюдные равнодушные города совершенно не подходят. К тому же в них, в отличие от деревень, очень грязно.

Пандит в квадратных очках, идущий с нами от Вайшали, мы его еще называем «историк», одновременно и помогает, и мешает нам. Сэнсэй говорит, это типичный индийский интеллигент. Этот человек постоянно хочет, чтобы его оценили, вмешивается, например, когда Тэрасава-сэнсэй начинает говорить проповедь, пандит отводит главного слушателя в сторону и берется объяснять цели нашего Марша на свой лад.

В то же время пандит последнее время очень помогает нам, по крайней мере организацией ночлега. А сегодня он совершенно ничего не подготовил. Утром он уже попрощался с нами, но потом почему-



Тэрасава-сэнсэй беседует с индийской молодежью



Индийский саду

то продолжил идти вместе со всеми. В конце концов, когда в полной темноте мы подошли к какому-то индуистскому храму, Сэнсэй сделал пандиту самый строгий из всех выговоров, какие он делал ему за все время нашего Марша.

Неожиданно из храма подоспела помощь. К нам вышел настоятель «саду» — старичок, божий одуванчик, он сильно отличается от встречавшихся нам до этого пузатых и бородатых индуистских священников. Настоятель отнесся к нам очень почтительно и рассказал, что еще утром почувствовал: сегодня его посетит нечто святое, и поэтому прибрал вокруг храма. Действительно, посреди ужасающей городской грязи территория храма выглядит необыкновенно чистой.

4 декабря 1998 г., пятница

Заночевали в городке Малагия, на территории какой-то академии. Хотя все классы были закрыты и нам пришлось спать на полу галереи, зато вокруг не было толпы наблюдателей: территория обнесена забором. Правда, от древней традиции мы на этот раз отступили, купив еду, а не получив ее как подношение. И готовили самим — на костре из сломанных парт.

Сидя у костра, обсуждали, отчего индусы не любят чистоту. Возможно, все дело в кастовой системе,



Современная соломенная хижина на фоне древних каменных развалин

по которой только неприкасаемые убирают грязь, но при этом должны жить где-нибудь в стороне от всех других каст. Остальные же считают уборку мусора ниже своего достоинства. При этом индусы изобрели изощренные способы выжить в этой грязи. Например, к людям другой касты в буквальном смысле нельзя прикасаться — отсюда и название «неприкасаемые». Мы увидели, что это делается во многом по гигиеническим соображениям. Даже собственное тело индусы поделили по кастовому принципу. Так, брать пищу и вообще любую вещь, а также приветствовать друг друга можно только правой рукой, а левая предназначена для подмывания. При этом туалетная бумага да и вообще туалеты у них до сих пор предмет роскоши. Многие даже в городах по-прежнему открыто справляют нужду прямо на улице.

Поначалу это шокирует. Но мы-то уже привыкли.

6 декабря 1998 г., воскресенье

Полнолуние.

Мы в районе Чампаран. Отсюда к названию нашей дороги — Путь Будды — прибавляется еще одно — Путь Ганди: в Чампаране стартовал Соляной марш Махатмы Ганди к Индийскому океану, на берегу которого участники этой ненасильственной акции стали демонстративно вручную добывать соль, чтобы показать, что они не зависят от Английской империи.

Прямо сейчас — полдень, мы отдыхаем под большим раскидистым деревом бодхи у проселочной дороги из городка Рамапура. Там нас очень почтительно приняли на ночлег и накормили, как королей.

Скоро прибудем в Кушинагар.

Продолжение следует.



Мариам ГЛЕКЕЛА



Здравствуйте. Меня зовут Мариам Глекела, мне двадцать лет, живу в Латвии, студентка.

Я родилась в 1991 году, окончила школу в Риге в 2010-м, в том же году поступила в университет. Сейчас учусь на втором курсе Восточного отделения Латвийского университета. Лауреат конкурса крымско-татарской поэзии им. Ахмеда Ихсана Кыргызлы 2010 года, других литературных успехов нет. Из поэзии нравятся Анненский, Эйнерлинг.

С уважением.

Спасибо за прочтение письма.

* * *

Дождь каплями вливает тучу в лужу,
И ветер обдирает лицо стужей,
И небо, засерев, закрыло душу,
И бойся кто покой его нарушить:
Не то гроза раздастся над землей;
Покроет белой пеленой тумана,
И не понять — то ль поздно, то ли рано
Вставать, ложиться — ночь сейчас иль день,
Лишь во дворе мелькнет, неуловима, тень:
Не угадать никак, что это было, —
Бежала кошка, птица ль пролетела,
Последние упали ль листья с клена,
Переплелись над головой деревьев кроны,
Отбросив невидимую сень.
Читать, писать в такую морось лень.
Не ходится, не дышится, не спится,
В часах тоскливо в полдень синькает синица —
Но не кукушка. Старые часы!..
Вам больше ста лет, может, вы вечны?
Если сломаетесь — отправитесь на свалку.
Нет, не отправитесь — вас станет очень жалко
И скажут: «Антиквариат. Не трожь
Фамильную реликвию!» и дрожь
В сердцах забьется, когда вас починят,
Повесят заново на место, а потом
Лишь в праздники дотронуться посмеют
До циферблата заводным ключом.
Звоните же, часы, качайся, маятник, неспешно,
Туда-сюда идешь ты, словно в никуда,
Дни длинно долгие листаешь, как страницы,
Спроваживаешь быстролетные года.
Не плачь, молчи, расстроенное пианино!
Хотя тебя пора отправить на погост:
Ты недостаточно старо, чтоб быть старинным,
И недостаточно ново, чтобы не вызывать вопрос:

«К чему этот рыдван? Стесненность в средствах?
По вечерам устраивать концерт?
Подставка для поделок à la нэчке?
Но слишком много занимает места...
Отдайте в наш любительский оркестр!
А мы — “спасибо” скажем вам!
Обижены? Не стоит. Простая шутка.
Нам указывать на дверь?
Какая наглость — мы к вам с чистым сердцем,
И после кто-то наставляет: “Людам — верь”?!»
Ушли. Опять кругом царит молчанье.
Желанья посторонних не сбылись.
Оркестр концерт без клавишных сыграет,
А ветер с земли листья поднимает
И гонит их не вдаль, а ввысь, все ввысь!
Но падают они, не удержавшись.
Ведь это осень, что тут изменить?
В листве лип, тополей, осин найти нельзя вчерашних красок,
Но можно взять бумагу, карандаш, сесть и следить:
Вчера желто-зеленые сегодня красны,
А завтра бурыми на дворницкой лопате кончат век.
Их подожгут, свалив в центре двора сырой огромной массой,
И нос поморщит, гарь учуяв, каждый проходящий мимо человек.
Потянется премеделенно, несмело
Навстречу кислороду затхлый дым.
А через час костер горящий кто-нибудь увидит
И сразу вспомнит, как был молодым.
И молодость покажется пожаром,
Хотя прошла, бесцельна и скучна.
От подожженных листьев никогда не тянет жаром,
Хоть прутом их железным вороши до дна.
Растает с дымом и дождем цветная осень,
Посыплет небо на дороги мелкий снег:
Где слякоть, где сугроб — мороз, но временами сыро.
Зима придет — уйдет, а время не замедлит бег.

Латвия, г. Рига



Уважаемая редакция журнала «Юность»! Я являюсь давним читателем вашего журнала.

Родился в 1960 году в Ереване. Отец был военнотружущим, мать — учительницей французского языка. В 1986 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета.

Издal книгу «Все когда-нибудь заканчивается». Публиковался в журналах «Законность», «Российская литература», литературном альманахе «Спутник» и других.

Предлагаю вам для принятия решения о возможной публикации в журнале рассказ «Орден за заслуги».

По отзывам, ваш авторитетный журнал относится к числу тех, которые не только «забывают» страницы известными, маститыми авторами, но и дают путевку в жизнь неизвестным, начинающим!

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ

РАССКАЗ

Мария Дмитриевна, консьержка элитного дома, смотрела в окно и прислушивалась к сообщениям радио. Прислушиваться она привыкла. В молодые годы прислушивалась к гулу турбин самолетов, потом к сопению сыновей в кроватках, затем к шуршанию ручек в классе. Теперь вот к сообщениям радио.

За окном сияло летнее солнце. Из динамика радио зычным голосом сообщали новости. Выросли цены на мясо и молоко. Неурожай хлеба. Обнаружен новый наркопритон. В результате очередной бандитской разборки взорван еще один ресторан.

«Послушаешь радио и на улице выходить побоишься, — сморщила нос Мария Дмитриевна. — А выйдешь на улицу — все наоборот. Деловито снуют прохожие. Детишки беспечно играют. В магазинах избытие продуктов. И рядом никаких воров и бандитов.

Раньше было по-другому. По радио и телевизору — все у нас хоро-

шо. Надои молока росли. Поголовье скота увеличивалось. Цены на продукты снижались ударными темпами. Благосостояние народа неуклонно повышалось. Организованная преступность канула в прошлое. Количество преступлений строго на пятнадцать процентов сокращалось каждый год. Уже маячили признаки коммунизма. А выйдешь на улицу — все наоборот. На улице залежи мусора, хмурые, озлобленные лица прохожих.

Почему у нас в стране информационная политика прямо противоположна действительности? Если все плохо, то в средствах массовой информации будут утверждать обратное, если все стало налаживаться, то пресса и телевидение заполняются чернухой, боевиками, кровью, развратом», — продолжала не спеша размышлять Мария Дмитриевна, но потом засмотрелась на девочек, играющих в классики. А она думала, что это игра ушла в прошлое. Нет. На асфальте мелом были разрисованы клеточки, и маленькая бело-

брытая девочка с большой косой, высунув язык, старательно скакала на одной ноге из одной клетки на другую. А две девочки постарше с замиранием сердца следили за ней.

Мария Дмитриевна вспомнила себя. Она с детства была робкой и застенчивой. Ее подружки играли в классики, прятки, догонялки, а она стояла в стороне. Они носились во дворе до позднего вечера с изодранными коленками, намазанными зеленкой, а она тихо играла с еще одной девочкой в «секретки». Это когда переливающийся на солнце осколок стекла от бутылки заворачиваешь в фантик из-под конфеты и зарываешь в песок, а потом на следующий день приходишь и проверяешь — как будто что-то могло с ним случиться.

В воспоминаниях отошла от окна. А потом поймала себя на мысли, что вот буквально месяца два назад вот так же смотрела из окна на улицу, гладила собачонку и размышляла, что делать дальше.



Собственно, с этой собачки все и началось.

Бедное животное она увидела, когда возвращалась из магазина. Маленькая собачка испуганно жалась к кустам, затравлено дрожала и жалобно бросала взоры на окружающих. На шее у нее болтался ошейник с волочащимся поводком.

Сразу видно, что домашняя, и кроме квартиры больше мира для нее и не было. Белого цвета. Небольшого размера. Уши прямостоячие, треугольные, закругленные на концах. Морда напоминает лисью. Спина прямая и широкая. Хвост сильно опущен, высоко посажен, закинут на спину.

«Похоже, это эскимосский шпиц — миниатюрная домашняя собака, — шуря глаза, размышляла Мария Дмитриевна. — Такая сразу пропадет: ни пищу добыть себе не сможет, ни защитить себя. А люди — они тоже разные бывают».

Как-то из окна квартиры видела, как прилично одетые, ухоженные мальчики с непонятным радостным злорадством забрасывали камнями скулящую от боли собачонку. Кто-то из жильцов не выдержал и угрожающе выкрикнул им из окна. Этого хватило. Мальчишки разбежались.

И вот сейчас, глядя собачку, размышляла, как быть дальше. Прежде всего, нужно дать объявление в местную газету о том, чтобы откликнулся хозяин собаки. Можно размножить объявления и расклеить у магазинов, в иных видных местах. Рядом есть несколько элитных домов. Эскимосский шпиц — дорогая порода. Не исключено, что владелец этой симпатичной собачонки проживает именно в этом доме. Можно обойти консьержек.

Определив стратегию действий, Мария Дмитриевна решила позвонить сыновьям, начав с младшего. На компьютере они наберут текст объявления, размножат и распечатывают. Сама она компьютером так до пенсии и не научилась пользоваться, а дети овладели компьютерными

навыками только так. Собственно, детьми их давно уж не назовешь. Младшему Артему двадцать пять. Год назад женился. Старшему Косте тридцать три. Возраст Иисуса Христа. Его сыну Вадику уже девять лет. В третий класс пошел. Как раз младшему сыну Артему было девять лет, когда погиб ее муж. Он был летчиком. Истребитель сорвался в штопор при полете. Модель самолета была только в испытании. Создатели спешили. Сверху была дана команда сделать все в сжатые сроки. Они были нереальны, но никто их изменять не собирался. Руководители различных рангов только пожимали плечами и указывали пальцем вверх, мол, мы бессильны. В результате спешки испытательная модель оказалась с конструктивными недоработками, которые стоили жизни мужу. Посмертно его наградили орденом, над которым она долго плакала ночами, качая в кроватках сыновей. Вроде только уходил на работу. Высокий. Статный. С добрыми синими глазами и извиняющейся улыбкой. И вот его нет. Было очень тяжело и тоскливо. Хотелось плакать навзрыд. Вот тогда у нее появилось отторжение к самолетам вообще. В военном городке уже было привычным засыпать, вставать, работать под гул самолетов. Каждая жена уже по гулу узнавала не только самолет мужа, но и его состояние. Но после случившегося у Марии Дмитриевны гул самолетов стал вызывать сначала злость, а через неделю — беспричинный страх. Ее бросало в пот, по телу пробегали судороги. Военный врач городка сказал, что это устойчивая психическая реакция организма на сложившийся в сознании негативный источник, и посоветовал сменить место жительства. Поехать она могла только к матери в Амурскую область. Туда и стала собираться. У матери ее страхи постепенно прошли. И как-то заметила, что гул летящего самолета стал восприниматься спокойно. Наконец-то появилась возможность устроиться работать по специаль-

ности. Ведь она окончила педагогический институт с отличием и могла стать учителем французского языка. Но в военном городке школы как таковой не было, и вообще женам работать было негде. Сначала родился один сын, потом другой, и уже было не до работы. И вот теперь она с вдохновением отдалась тому делу, о котором в свое время мечтала. В школе ее приняли приветливо, контакт со школьниками нашла. Будучи по характеру застенчивой и мягкой, смогла обратить черты своего характера на пользу делу и стала для детей словно второй матерью. На каждом выпускном вечере ученики со слезами на глазах расставались со своей любимой учительницей.

Новый нервный срыв наступил, когда старший сын заявил, что пойдет по стопам отца и поступит в местное летное воздушное училище. Однако ни слезы матери, ни мольбы и уговоры не подействовали: сын был неумолим. Весь в отца. Потихоньку Мария Дмитриевна смирилась, успокоив себя, что гражданская авиация — это все-таки не военная. А что ей оставалось делать, как не уговорить себя! Так получилось по жизни. Младший — коммерсант, старший сын служит в гражданской авиации. Работает пилотом самолета «Як-40». Это пассажирский самолет, предназначенный в основном для перевозки пассажиров местных авиалиний. Среди летного состава получил прозвище «окурок» из-за короткого фюзеляжа и дымного выхлопа двигателей.

Сыновья хоть и выросли, но мать не забывают. Минимум раз в неделю звонят. Раз или два в месяц, на ее радость, поодиночке или с женами, приезжают. Тогда дома становится шумно и весело. И не обходится без споров, инициатором которых бесшумно становится младший брат. Причины почти всегда одни и те же. Артем начинал наезжать на старшего брата, что, мол, давно пора уйти с государственной службы, которая ни

денег, ни благ и преимуществ не дает. Костя как всегда объяснял, что нельзя все мерить деньгами и есть такие понятия, как долг, совесть, Родина. Такие споры могли возникнуть неожиданно, могли длиться долго, а могли и сразу утихнуть.

Как и в предыдущую встречу, Артем снова не на шутку разошелся.

В ее памяти всплыли фразы младшего сына: «Для меня Родина — это наш двор, в котором мы выросли. Школьная парта. Мои школьные друзья. Но все это в прошлом и далеко от меня. Сейчас Родина — это место моего проживания, где ты не отличаешься от прохожих языком, на котором они говорят, внешностью или цветом кожи и тебя не бьют по роже за то, что ты иной нации или цвета кожи. И никому ты ничего не должен. Ни школьной парте, ни детскому двору».

— Типичная позиция коммерсанта. Деньги во главе угла! У кого деньги — тот друг! Где деньги — там Родина! — горячился Константин, размахивая руками.

Но одна из снох сообразила, что на этот раз спор может затянуться, и мудро перевела разговор на «новоиспеченную» пенсионерку. Да, Мария Дмитриевна стала пенсионеркой. Перед уходом на пенсию директор школы даже хлопотала, чтобы ее наградили орденом. Но наверху отказали, мол, орденом награждаются за большие заслуги перед государством. Цена ордена очень велика. Ограничились награждением почетной грамотой. Вот так и ушла на пенсию с грамотой. Конечно, сама по себе пенсия — это хорошо. Но сразу словно проваливаешься в какой-то вакуум. Буквально недавно работала. Жила полной жизнью. Утром на работу. Далее рабочая круговерть. Вечером бегом домой, заскочив по пути в магазин. Наскоро готовила обед, смотрела новости и заваливалась спать. И вот все сразу как-то прекратилось. И оказывается, уже никому не нужна, и спешить некуда.

Костя, старший сын, сказал: — Пришло и для тебя счастливое время. Работать не надо. Пенсия идет. Отдыхай. Путешествуй. На путевку деньги найдем. Как почтальон Печкин в мультфильме говорит? «Я может, только жить начинаю — на пенсию выхожу».

Послушав сына, Мария Дмитриевна решила, что надо съездить на минеральные воды. Давно хотела там побывать. Все как-то не получалось. Взяла путевку в санаторий «Бештау» и через неделю уже была в Железноводске, дышала горным, чистым, как слеза, воздухом, прогуливалась по терренкуру, принимала грязевые ванны, три раза в день ходила к бювету, пила минеральную воду. Здесь и сама атмосфера была другая, и люди другие. С некоторыми она подружилась. Они обменялись адресами и даже первое время перезванивались. Но главное, что эта поездка ее как-то успокоила. И для себя она решила, что как минимум каждый год будет ездить сюда, даже просто для сохранения жизненного тонуса и душевного равновесия.

Но после санаторного отдыха надо было жить дальше новой, уже пенсионной жизнью и как-то развлекать себя, чем-то заниматься.

Обычно новый начальник начинает свою карьеру с кабинета, словом, меняет или переставляет в ней мебель предшественника. Затем меняет, как правило, секретаря, а дальше обычно и кадровый состав, приводя свою команду.

Мария Дмитриевна тоже начала пенсионную жизнь с изменения порядка в квартире. Повесила картину, которая ждала своего гвоздя на стене пять лет. Перебрала документы в ящиках личного стола, больше половины из бумаг за ненадобностью выкинула в мусор. Пригласила сыновей и переставила мебель. Наконец-то подобрала в магазине и купила в гостиную новую люстру. И дальше по мелочам, включая покупку новой миски кошке Муське.

Однако с этими делами она быстро управилась. Переход к следующему этапу — смене кадрового состава — объективно не мог произойти ввиду отсутствия такого. Можно ли отнести Муську к кадровому составу — сказать сложно. Скорее, к лицам, находящимся на иждивении в форме пожизненного содержания.

Словом, закончив перестановку мебели, она вдруг поняла, что дальше делать нечего. Испугавшись, стала бросаться из одной крайности в другую. Смотрела подряд все сериалы по телевизору, но это быстро надоело. Затем накупила и стала перечитывать художественные книги. Но надолго и этого занятия ей не хватило. Самое главное, что стало недоставать того, от чего она раньше, наоборот, уставала — человеческого общения. Сыновьям она старалась часто не звонить и не отвлекать от работы. Подруги пока еще не были на пенсии, и им тоже некогда было. Образовался некий коммуникационный вакуум. Осознав его опасность, она и стала искать выход из положения. Пробовала общаться с бабушками на скамейках, которые сидели рядом с подъездом. Пыталась в очереди в магазине и поликлинике. Особенно удачно в поликлинике. Там таких пенсионеров было много. Никуда они не спешили. Но долго там общаться у нее не получилось. Поскольку общение шло в медицинском учреждении, все разговоры сводились к болячкам, и ей казалось, что у нее стали возникать те же симптомы болезни, что и у рассказчиков. Поэтому туда она быстро перестала ходить.

И тут как-то, включив телевизор, увидела документальный фильм, в котором авторы словно давали ей повод для размышлений. В нем показали, как пенсионеры преодолевают кризис пенсионного бытия. Одни заделались диск-жокеями, другая пенсионерка увлеклась бальными танцами, какие-то бабульки ездили автостопом по Европе.



Этот фильм взбудоражил ее.

«Вот верну для собачки хозяев и затем найду себе занятие по душе», — твердо решила она.

Текст объявления в голове сложился сразу: «Двенадцатого июня у магазина “Продукты”, расположенного по адресу... нашла собаку. Эскимосский шпиц. Окрас белый. Верну хозяевам».

«А что, собственно, мне беспокоить сыновей?» — подумала Мария Дмитриевна. — Напишу сама. Развешу вблизи магазина. Рядом, кстати, три элитных дома. Зайду, оставлю объявление консьержке».

Она уже заканчивала писать объявление, как услышала зловещее шипение Муськи. Мария Дмитриевна быстро подскочила и забрала на руки съжившуюся дрожащую собачку. Она знала нрав кошки и последствия, которые могли наступить для чужака квартиры. А сейчас Муська показывала, что это ее территория, на которой эскимосскому шпицу делать нечего.

— Война в отдельно взятой квартире уже началась, и с развешиванием объявления надо спешить, — сморщила нос Мария Дмитриевна и начала переписывать объявления с одного листа на другой.

Объявления развесила у магазина, затем у подъездов двух ближайших к нему зданий, отдала консьержкам элитных домов.

— Теперь осталось только купить хлеба — и домой, — решила она.

В продуктовом магазине была очередь. Душно, собачка начала скулить. Но надо выстоять. Ну вот, уже очередь и впереди нее стоящего дедушки. Берет сто грамм дешевой колбасы и полбуханки хлеба.

— За квартиру заплатил — и пенсии как не бывало, — вздыхает старичок.

«Да это хорошо, когда дети могут помочь. А так на пенсию не прожить. Это на Западе люди уходят на пенсию и начинают по миру разъезжать на экскурсии. Им пенсия позволяет. А нашим пенсионерам лишь бы свести концы с концами», — думала она.

— Что заснула? Раззява! — прервал ее мысли грубый окрик раздраженной продавщицы, которая сверлила глазами съжившуюся Марию Дмитриевну.

— Ой! Извините. Сейчас! Сейчас! Мне только половину буханки хлеба, — залепетала она.

— И из-за этого очередь задерживает. Сил моих больше нет! — с обиженным видом запричитала продавщица.

Взяв хлеба, она пошла домой, думая про себя: «Ведь именно на мне зло сорвала, будто понимала, что тут-то можно».

Дома она приготовила скромный ужин. Накормила кошку с собачкой и села смотреть телевизор. А что еще делать? Позвонил сначала старший сын. Спросил о том, развесила ли она объявления и есть ли звонки. Затем попросил продиктовать текст объявления. Записал. Обещал, что поместит текст на интернет-сайтах.

— Собака дорогая, а значит, ее хозяева будут использовать Интернет, — убежденно заключил он и передал трубку жене. С ней еще она проговорила минут двадцать.

Потом позвонил Артем. Интересовался тем же. И тоже хотел разместить объявление в Интернете.

Мария Дмитриевна рассмеялась: — Костя тебя опередил. Уже взял это на себя.

— Ну, тогда я попробую в местной газете дать, — нашелся сын.

Больше вечером звонков не было. «А если вообще хозяин не объявится?» — подумала она перед сном с тревогой.

В любом случае не допускала мысли, что вынесет во двор собачку, оставит у какого-нибудь кустика и быстро уйдет как ни в чем не бывало.

«Значит, будем жить втроем, — подумала Мария Дмитриевна и добродушно улыбнулась. — И Муське придется смириться с новым квартирантом».

Однако ее опасения были напрасны.

На следующее утро раздался телефонный звонок. Она услышала протяжный, грудной женский голос.

— Але? Я не ошиблась номером? Это вы дали объявление о том, что нашли собаку?

— Да, — обрадовано воскликнула Мария Дмитриевна.

После того, как она описала время, место обнаружения и внешние данные собачки, женщина на другом конце провода с радостью воскликнула:

— Это она. Моя Юджин. Слава богу. А я уж не знала, что делать. Вы мой спаситель!

Потоки радостных восклицаний захлестнули женщину. Наконец она пришла в себя от радости и уже деловито заговорила:

— Подскажите, где вы живете? Поняла, что недалеко? Я пошлю к вам человека. Сколько я вам должна заплатить за вашу доброту?

— Ничего вы мне не должны, — завила ее Мария Дмитриевна.

— Как так? Мне, право, неудобно. Так не принято.

— Не беспокойтесь. Я ничего не возьму. Это не в моих правилах.

Чувствовалось, что женщина растеряна. После некоторого молчания она уже более напористо сообщила:

— Значит, и такие люди бывают. Хорошо. Тогда сама к вам приду. Диктуйте адрес. Когда вам удобно?

Через час в дверь раздался звонок.

На пороге стоял шкафообразный атлет, одетый в добротный костюм с галстучком. За его спиной слышался уже знакомый грудной, протяжный голос:

— Коленька, к черту эту инструкцию. Проверили ведь. Бывший учитель. Сейчас на пенсии. Характеризуется положительно.

Шкафообразный Николай был в растерянности. Видимо, по инструкции он должен убедиться, что клиенту ничего не угрожает. Но об этом говорил и вид хозяйки квартиры. Типичная пенсионерка. В очках. На вид божий одуванчик. Да и полученная оперативная информация успокаивала.

— Ладно, — наконец пробасил он. — Заходите. Но я буду рядом с дверью. Имейте в виду.

И вот перед ней предстала невысокая полная женщина с холемым лицом. По возрасту лет под сорок. Одежда, кольца и перстни на руках сразу выдавали в ней человека, живущего в большом достатке.

Но не успела Мария Дмитриевна до конца оценить гостью, как женщина уже вбежала в квартиру с криком:

— Где моя малышка?!

И вот уже радостная собачка повизгивает в объятиях гостьи.

Затем в течение получаса Мария Дмитриевна слушала историю детства, отрочества, юности собачки. Расставив широко ноги, причмокивая, гостья с вдохновением говорила и говорила. Запах дорогих французских духов щипал нос.

— Детей у нас нет. Вот Юджин и стала нам вместо дочки, — заканчивала монолог женщина.

Успокоившись, гостья, которая представилась Екатериной Сергеевной, снова впала в растерянность.

— Знаете, я так не могу. Если денег не хотите, то я вам должна сделать что-то хорошее. Я многое могу. У меня муж генерал — командующий нашим военным округом. Неужели у вас нет никаких проблем по жизни или по работе? — выспрашивала генеральша.

— Да какие у меня сейчас могут быть проблемы: я на пенсии, — вздыхала Мария Дмитриевна.

— Не скучно?

— Бывает. Надо найти хобби.

— А лучше хорошую непыльную работу. Чтобы и при деле были, и деньги еще получали.

— Молодые не могут найти. А уж меня кто возьмет?

— Подумаем, — попытожила Екатерина Сергеевна и, величественно приподняв голову, закончила: — Теперь будем дружить. Хоть муж у меня и господь и бог, но я простая и для меня люди все равны. Да и муж у меня такой же.

Только очень переживучий. Природу, животных очень любит. Сейчас, когда Юджин пропала, он в один миг всех на уши поставил — и милицию, и воинские части. Даже командиров частей из отпуска вызвал.

Екатерина Сергеевна начала собираться.

Не успел еще остыть след стремительной гостьи, как вновь раздался телефонный звонок.

— Это я! — вновь в трубке звучал грудной голос. — Я минуту назад зашла в свой подъезд и сразу чуть ли не по лбу себя стукнула! У нас одну из консьержек увольняют. А вы бы не пошли? Работа по графику: сутки через двое. Работа непыльная.

— Даже не знаю.

— Тогда подумайте. Я вам перезвоню завтра.

Так Мария Дмитриевна и стала консьержкой.

Работа действительно была непыльная. В ее обязанности входило дежурство в вестибюле на первом этаже у входа, пропуск в дом жильцов, проверка документов у посетителей, прием почты и иных сообщений для жильцов, поддержание порядка в холле, хранение запасных ключей.

Но это только часть, и не основная, обязанностей.

— Самое главное, — сразу предупредила ее сменщица. — Надо как можно быстро запомнить внешность жильцов. Простых здесь нет. Или при высоких государственных должностях, или при больших деньгах. Только банкиров пять семей. Не дай бог спутаться и принять их за посетителей: шуму не миновать.

Консьержка была в годах, худая, с большими синими глазами. Пахло от нее всегда квашеной капустой. Звали ее Вероникой Васильевной. Она два дня преданно находилась рядом с Марией Дмитриевной в целях опознания и запоминания жильцов.

И вот через две недели так называемой стажировки она уже начала работать одна. Сначала те-

ряясь и волнуясь, затем все спокойней и уверенней.

Конечно, российская консьержка мало похожа на сложившийся стереотип той же французской. Французская — это неизменные атрибуты: очки, телевизор, конечно, чай, сплетни и толстый кот. У нас облик консьержки: бдительный взгляд, звонкое приветствие, опрятная внешность и никакого чая или телевизора.

Мария Дмитриевна благословенно была принята жильцами. Видимо, этому способствовал ее кроткий смиренный взгляд, интеллигентные очки. А может, еще и благодаря слуху, что ее приняли на работу по протекции жены командующего военным округом — и вроде даже консьержка имеет звание заслуженной учительницы России.

Генеральша и сама подтверждала это, регулярно останавливаясь и общаясь с консьержкой, открыто демонстрируя свое покровительство и подчеркивая свою демократичность.

Если честно, то и Марии Дмитриевне среди всех жильцов больше всего импонировала именно жена генерала. По крайней мере, она пыталась быть демократичной. Порой из окна было видно, как Екатерина Сергеевна, выгуливая собачку, пыталась завязать разговор с прохожими. Правда, это смотрелось несколько комично: когда дородная дама, стоящими рядом двумя-тремя шкафообразными охранниками, заговаривала с какой-нибудь старомодно одетой женщиной или старушечкой. Но очередная жертва демократического эксперимента только вжимала голову в плечи и, пообщавшись, спешно уносила ноги.

Итак, Мария Дмитриевна, консьержка элитного дома, смотрела в окно и невольно прислушивалась к сообщениям радио.

И в это время раздалась трель звонка домофона. Она подошла к табло. Встрепенулась, узнав лицо своей снохи.



— С чего бы это? И как она узнала, что я именно в этом доме работаю? — встревожилась Мария Дмитриевна.

Но вид Веры ее еще больше встревожил: лицо заплаканное, глаза красные. Запахло сыростью и ко- ньяком.

— Что-то случилось?

— Мария Дмитриевна, лучше сядьте на стул. Не переживайте! Обещайте мне!

— Верочка! Говорите же! С Костей что-то случилось?

— Пока нет. Словом. Сегодня у него должен был быть очередной рейс. Пассажиров было мало. Человек семь. Меньше половины. Еще хотели отложить полет. Но там пассажир солидный попался. Полковник. Из военных. В нем-то все и дело. А он как люки закрыли, так шасть к экипажу корабля — и под дулом пистолета приказывает лететь за границу. Как он пистолет-то пронес? Пилоты сначала растерялись. Думали, что розыгрыш или какая-нибудь проверка бдительности экипажа. Оказалось, нет. Ну, тут переполох. Все руководство области в аэропорт приехало. Милиция. Военные. Пилоты говорят террористу, что, мол, дозаправиться надо, а то не долетим. Начали торговаться. В это время мне уже сообщили, и я в аэропорту была. Словом, добились, что постепенно всех заложников из числа пассажиров освободили. И даже пилотов. Костя как командир и единственный пилот остался. Самолет стали дозаправлять. Решили, мол, шут с ним: путь уматывает. Тем более как специалист он никудышный был. Что в самолете еще и летчик есть — все забыли. Все бы хорошо. Но тут стало известно, что, оказывается, этот вояка прихватил с собой за границу копии секретных разработок нашей военной техники и другие секретные документы. Словом, не просто так полетел, а продавать Родину. Тут у руководства области вообще шок наступил. Вроде ситуацию почти разрулили и могли замкнуть на областном уровне, а тут сразу

вышла на политический и не только российский, но и почти мировой уровень. И со страху, покумекав, решили сбить самолет ракетой. Конечно, не сразу, а когда он наберет необходимый порог высоты.

— Так там же Костя!

— Об этом вспомнили, но, видимо, недолго думая, порешили, что интересы государства — выше личных!

— И что делать?! Господи!

— Мария Дмитриевна, я помню, что вы нашли потерявшуюся собаку семьи командующего военным округом и его жена устроила вас сюда работать. Надо с ней поговорить! Нужно, чтобы она уговорила мужа отменить решение. Это в его власти!

— Так кто я! А кто — она! Мало что собаку нашла: эго невидаль! Да и дома ли Екатерина Сергеевна? Но надо что-то делать!

— Выхода нет. Надо идти. Медлить нельзя. Промедление смерти подобно! Смерти Костика.

— Ладно. Иду!

Мария Дмитриевна застыла в нерешительности. На лице одно выражение сменяло другое. Шел процесс преодоления ее извечной смиренности и нерешительности. Затем решительно вскинула голову и за- семенила к лифту, машинально повторяя про себя: «Государственные интересы выше личных».

Этот лозунг она слышала много раз, будучи пионеркой, потом комсомолкой, и его содержание не вызывало размышлений. Но именно сейчас он стал не только спорным, но и пугающе зловещим!

Сразу всплыла в памяти картина, как Костя еще в восьмом классе пришел домой весь в ссадинах и кровоподтеках. Он всегда защищал слабых. И в этот раз заступился за пятиклашку, которого избивала свора старшекласников. Боли тогда у него были сильные: губы, которые периодически шептали «Как же так — семеро на одного!», искусал до крови. Приехавший врач срочно госпитализировал, определив сотрясение головного мозга и перелом руки и ноги.

А в девятом классе у него была первая и безответная любовь, которая отразилась в двух тетрадках детских стихов и возникшем подергивании правого века.

Мария Дмитриевна в нерешительности остановилась у двери генерала. Вся вжалась, уменьшилась. Помялась с ноги на ногу. Наконец, взмахнув головой, словно перед прыжком в пропасть, решительно нажала на кнопку звонка. Но тут же глаза испуганно забежали, и она в страхе, словно от раскаленного утюга, отдернула руку от кнопки звонка.

— Это вы? — раздался удивленный грудной голос генеральши.

Екатерина Сергеевна встречала в цветистом ярком халате с вее- ром в руке. Лицо выражало вопро- сительное удивление.

— У меня просьба к вашему мужу личного характера, — начала неуверенно Мария Дмитриевна и осеклась, понимая, что надо было начать разговор по-другому.

— У него прием по личным вопросам каждую среду. Могу записать вас на личный прием, если... — не докончив фразы, генеральша остановилась и вопросительно посмотрела на гостью, ожидая разъяснений.

— Мне сообщили, что сегодня террористом был захвачен самолет, — заикаясь, тараторила Мария Дмитриевна, словно боясь, что еще немного — и перед ней просто захлопнут дверь. — Пассажиров удалось освободить. Но оказалось, что террорист прихватил с собой документы, составляющие государственную тайну. И сейчас самолет хотят сбить. Так это?

Хозяйка квартиры растерянно кивнула и снова вопросительно посмотрела на консьержку. Ее глаза спрашивали: «Но вы тут при чем?»

Поняв взгляд, Мария Дмитриевна с болью в голосе выдохнула:

— Пилот самолета — мой сын!

Ноги у нее стали подкашиваться. В глазах поплыло.

Екатерина Сергеевна ойкнула и опустила руку с веером, взмахом приглашая зайти в квартиру. Посадила в кресло и подала стакан с водой.

— Я понимаю ваше состояние, — начала механически говорить плакатными, заученными словами генеральша. — Но как быть? В опасности интересы нашего государства!

Не закончив фразу, она нахмурилась и с испугом посмотрела на гостью.

— Но в чем вина сына? Он тут причем?! Почему он должен быть убит вместе с террористом?! И что, ничего нельзя сделать?! Как же так! — тихо стала бормотать Мария Дмитриевна.

Глаза ее лихорадочно блестели, лицо побелело и стало покрываться каплями пота.

Генеральша безнадежно развела руками и опустила глаза.

— Но я же спасла вам собачку! — бессмысленно продолжала лепетать Мария Дмитриевна.

— Как вы можете сравнивать! — воскликнула осуждающе Екатерина Сергеевна.

— Почему не могу? Моего сына хотят убить! Открыто! Исходя из интересов государства! И все шитокрыто! Да что это жизнь за такая?! Что за государство такое?! — Фразы уже одна за другой вырывались из нее.

И тут рядом к ней подошла собачка, добродушно виляя хвостом.

Словно судорога пробежала по лицу Марии Дмитриевны. Она подняла глаза кверху, словно прося прощения у бога, схватила в руки собачку и, сжав одной рукой ее шею, пересохшим голосом твердо заявила:

— Звоните мужу! Пусть отменит запуск ракеты! Иначе я оторву голову вашей собачонке. Я ее нашла, я ее и убью!

Собачка жалобно взвизгнула.

Вид ее настолько был решительным, что генеральша вся побелела и уже сама залепетала:

— Сейчас позвоню. Владик! Нет, я по делу. У меня в квартире наша консьержка. Пилот самолета, который захватили, ее сын... Она захватила Юджин и угрожает свернуть ей голову, если ты не отменишь пуск ракеты. Она это сделает. Не знаю... Будет уже поздно... Решай, что можно сделать. Должен же быть выход. Хорошо, жду твоего звонка.

Что отвечал на ее слова генерал — можно было только догадываться.

Женщины замолчали.

И вот через пять минут выстрелом прозвенел телефонный звонок.

— Поняла. Хорошо. Он отменил пуск ракеты, хотя целенавешение уже пошло. Сейчас поднимут истребители-перехватчики. Но если они не успеют, то... — она снова остановилась.

— Истребители? А почему сразу нельзя было их поднять?

— Насколько я знаю, подавляющая часть самолетов из-за технического состояния вообще не способна выполнять полеты, а тем более боевую задачу.

— Получается, моего сына стали сбивать ракетой из-за неисправности истребителей? Поддерживались бы самолеты в исправном состоянии, а деньги на текущий и капитальный ремонт не разворовывались — истребители подняли бы в воздух?! А так получается, надежней сбить самолет ракетой! И самое страшное, что при этом безразлично, что будет убит человек?! Безвинный человек!

— Ну вы скажете!

— Скажу! А как вообще террорист прошел досмотр и пронес пистолет? Ведь опять кто-то или халатность проявил, или, того хуже, — взятку получил! А ведь если кто-то бы исполнял должным образом свои

обязанности, то и захват судна можно было предотвратить. Так почему мой сын должен своей жизнью расплачиваться за чужие грехи? И почему ваш муж имеет право решать, жить моему сыну или нет?

— А разве вы имеете право решать, жить нашей собачке или нет? Нашей бедной девочке.

— Я действую в состоянии необходимой обороны!

— И голову отвернете ей, прикрываясь этим словом!

— Так же как и вы словами о том, что интересы государства выше личных и человеческой жизни!

Обе женщины застыли. В тишине был слышен ход стрелок часов и раздававшееся урчание живота у Юджин. Мария Дмитриевна вздрогнула и испуганно ослабила хватку рук, держащих животное, а Екатерина Сергеевна съежилась и жалобно посмотрела на свою питомицу.

Обе думали об одном и том же — лишь бы истребители перехватили самолет.

Только продолжение этих мыслей у них расходилось. У генеральши они заканчивались фразой: «Тогда Юджин будет жить!» У Марии Дмитриевны — словами: «Тогда мой сын будет жив. А иначе и думать страшно. И она получит орден. Уже за сына. За его заслуги перед Родиной. Цена ордена — жизнь! Цена жизни — халатность других!»

Телефонный звонок оглушительным выстрелом заставил их вздрогнуть и напрячься. Екатерина Сергеевна с осунувшимся лицом боязливо потянула руку к телефонной трубке. Затем замерла и посмотрела на собачку. В глазах женщины смешались страх, надежда, растерянность, стыд. Затем она подняла глаза на Марию Дмитриевну и увидела в них тоже страх, надежду, растерянность, стыд.

г. Москва



Галина ПИЧУРА



По-моему, есть две категории людей: живущие и исследующие жизнь.

Когда оставаться за окнами жизни становится нестерпимо, исследователи, зажмурившись, ныряют в нее. Жизнь быстро возвращает их на место. Если уцелели. Потом, когда начинают заживать раны, стремительно пишется. Не знаю, хорошо ли, не мне судить, но зато жадно, как острая необходимость выжить, напомнить, что ты существуешь, и заодно поделиться пережитым.

Я родилась и выросла в Ленинграде. С 1991 года живу в США (Нью-Джерси). По российскому образованию я библиограф, в США — программист.

Давно пишу стихи, несколько лет назад начала писать прозу. В настоящее время на сайте «Испытательный стенд» журнала «Юность» вы можете прочитать мой рассказ «Завтра в Америку».

Публикации в журнале «Листья» (США, Калифорния, 2006), в «Нашем альманахе» (Нью-Йорк, 2006), в сборниках «Общая тетрадь» (Москва, 2007), «Неразведенные мосты» (Санкт-Петербург, 2007), а также «Нам не дано предугадать» (Нью-Йорк, 2007 и 2008) и в газете Davidzon (Нью-Йорк, 2010). В 2006 году вышел в свет поэтический сборник «Пространство боли» (Санкт-Петербург). Приглашаю посетить мой личный сайт www.pichura.com.

Я пишу для тех, кто не исчерпал вопросы к жизни, для кого душа — по-прежнему загадка, достойная мук постижения.

Ушедшие

За круглым столом собираются души
Ушедших на небо родных.
Узнать бы их чувства, их мысли послушать,
О чем их печали и сны?
Подвластно ли им наблюдать за живыми,
Мольбой ограждая от бед?
Мы временно их представляем во имя
Их жизни! Остался чтоб след!
Я чувствую взгляд и родное дыханье...
Как больно! И как хорошо!
И пусть не открыты замки мирозданья,
Я их угадаю душой.

* * *

В Нью-Йорке так же одиноко,
Как в Ленинграде и в Москве!
Внутри себя ищу пророка
И утешителя в тоске!

Друзья, общение, приколы...
Но в чем-то главном ты — один!

Совсем беспомощный и голый,
Ребенок, а не господин.

Игра

Вся наша жизнь — лишь репетиция:
Мы все готовимся к премьере.
Премьера жизни! Состоится ли?
И кто же зрители в партере?

* * *

Те, кого бросают,
Продолжают жить
Или умирать тихо.
Научите, как разлюбить,
Боль остановить, вихрь!
Вихрь воспоминаний, что вновь
Рвется изо всей силы!
Если умирает любовь,
То зачем она, милый?

Нью-Джерси, США



Зулкар Хасанов родился в деревне Султан-Муратово Башкортостана на Южном Урале в 1931 году. Пять лет прослужил в армии, работал главным инженером Калужской нефтебазы, а с 1974 года — на Калужском турбинном заводе в СКБ, затем в ОАСУП.

Публиковался в журнале «Юность» и литературном альманахе «Спутник».

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

ПОВЕСТЬ

1.

Удивительно красива средняя полоса России. Она манит к себе в любое время года. Зимой кажется, что снежное покрывало укрыло невообразимые просторы земли русской на зимнюю спячку. Ан нет! Хозяева этих просторов — дикие кабаны, косули, волки — живут своей размеренной жизнью в любое время года. Пение и крики десятков видов птиц заораживают человека, находящегося в лесу и в поле зимой и летом. Неброская средняя полоса летом непередаваемо прекрасна: большие и малые реки, извиваясь, кружат возле небольших российских деревень; на заливных лугах возле рек произрастают сплошным цветастым ковром травы чарующей красоты. Пряные ароматы и дивное разнообразие вызывают у человека радость и восхищение, гордость за свой родной край.

На пригорке, за рекой под названием Взоры, расположена большая деревня Заречная.

Июнь. Пора сенокоса.

Василий Фролович Торбенев со своим сыном Андреем пришли на покос рано утром, пока еще не сошла утренняя роса.

Тихо. Только одинокие шлепки красноперок в речной заводии нарушают речную тишину. Солнышко уже взшло, вспорхнули

ночные птицы из зарослей густых трав. И вот упрямые и стремительные косы косарей, старательно вжикая и укладывая в ровные ряды скошенную траву, нарушили утреннее безмолвие.

К обеду стало жарко и томно. Поплыли по небу темно-свинцовые облака, нагромождаясь друг на друга, норовя обрушиться на землю всей своей богатырской мощью. Повелитель молний ярко осветил луга возле реки. Гром небесный прокатился своими колесницами над лугами, где косят Василий Фролович и его сын Андрей. Упали первые тяжелые капли небесные на руки, лоб, шею косарей. Василий махнул еще трижды косой по уже влажной траве, приосанившись, поглядел вокруг, кинул взгляд на сына, точившего косу:

— Андрюха, давай, сынок, закругляйся, ишь дождик подпустил еще сильней. Ить еще матери надо помочь, уже вечерет, надо встретить скотину, прибраться во дворе. Дрова мы с тобой напилили, а убрать не успели.

Сверкнула серебряным огнивом молния над рекой, загрохотало. На землю обрушился ливень вперемешку с ветром.

Василий Фролович вместе с сыном, быстро разворошив копну, сделали глубокую нишу, затем неуклюже, то-

ропливо забрались в нее и укрылись разворошенным сеном.

Но дождь скоро кончился.

— Папа, ты не промок?

— Есть немного. — Василий слегка провел рукой по мокрой щеке. — Дождь вымочит, а солнышко высушит, сынок.

Серебристые бисеринки от дождя стекали со стеблей уже высохшего в копне сена. Ярко засветило солнце, и над рекой выросла многоцветная радуга, изящно обрвав луговину, небольшой подлесок и лоскут синего неба.

— Папа, устал? Пошли домой!

— Андрюха! Воздух-то каков, а? Сынок! — воодушевленно промолвил Василий, вытянув руки вверх. Большие зеленые очи брызнули радостью, он вздохнул шумно и глубоко. Затем поправил примятую копну. — Не забудь, сынок, косу взять. Пошли домой. А ить могли бы, Андрюха, еще покосить, будь неладен дождь.

— Папа, давно уже не было дождичка, а картошке нужен полив.

— Наверное, сынок, Бог ить все знает, когда надо что делать.

Василий Фролович с возрастом заговаривал, как его отец, сокращая, словно серпом, отсекая лишние слова. Его отец, Фрол Андреевич Торбенев, родился в годы нэпа, в 1926 году.



Окончил церковно-приходскую школу, а потом всю жизнь занимался самообразованием. Фрол Андреевич и его жена Евдокия Семеновна прожили трудную и славную жизнь, сделали немало для советской власти. Не миновала их и Великая Отечественная война, получили за свои великие труды много правительственных наград.

Фрол Андреевич — потомственный кузнец и немало ребят научил профессии кузнеца. Сейчас очень не хватает Евдокии Семеновны.

Василий сохранил добрую память о маме. Помнит, как она провожала его в школу в первый класс. А потом начались школьные будни. Мама каждый раз встречала своего сыночка, а он торопливо, весь измазанный чернилами, бежал ей навстречу.

— Мама, — кричал еще издали, — я получил сегодня по чистописанию оценку «отлично». Вера Павловна меня похвалила.

— Я рада за тебя, сыночек. Только постарайся больше не пачкать свое лицо чернилами.

Евдокия умерла два года назад, в 1990 году, на Святую Троицу. Хоронили всем селом, отпевали в церкви. Односельчане любили ее. Она многие годы учила детей русскому языку и литературе.

Жизнь не стоит на месте. Василий Фролович Торбенев занял место отца, он вполне успешный человек. Потомственный кузнец, как и отец, Василий по воле судьбы освоил и литейное дело, работал модельщиком на заводе.

Модельщик — дело непростое, требует высокого профессионализма, умения работать с чертежами, со сложными инструментами. Старые мастера говорили, что дерево — такой теплый и живой материал, что кожа ребенка, приласкай — и будет лады. Сделать модель из дерева — все равно что сотворить Галатею. Модельщик не имеет права ошибиться даже на миллиметр.

Дома Василий бондарь на всю деревню. Человек необходимый, с заказами к нему обращаются не только соседи, но и люди из ближайших поселков, деревень.

Он делает хорошие бочки для солений, вина и наливок. Большим спросом пользуются бадьи, шайки и квасная посуда. С охотой изготавливает резные наличники и другие художественные изделия самого разного назначения. Талант он и есть талант, он всегда востребован, и этим Василий очень гордится.

Правда, занимается этой работой только в свободное от работы время.

По характеру Василий человек покладистый, уживчивый. Горячность проявляет редко, только по делу.

Василий видный, не дурак, мужчина хоть куда. Всегда чисто выбрит, на здоровье никогда не жалуется, правда, просвечивает лысина, но это нисколько не портит мужика. Хотя остряки говорят, что если у мужика лысеет макушка, стало быть, он протирает ее на чужой подушке!

И правда, многих женщин лысина на голове мужчины привлекает, как пятно на солнышке. Ему лет-то совсем ничего — сорок четыре.

Но Василий не из тех, кто бегаёт налево. Екатерина Матвеевна — его любимая женщина. Как говорится, все при ней: красота и деловитость, хватает и красноречия. Ей только сорок два, самый сок.

У Василия и Екатерины — взрослые дети: сыну Андрею двадцать лет, дочери Наташе семнадцать. Андрей недавно вернулся из армии. Отслужил в воздушно-десантных войсках. Войсковое товарищество и ежедневный неустанный солдатский труд научили его многому. Учиться пока никуда не поступал. Решил помочь отцу и матери заготовить сено, дрова. В институт вот так сразу, наскоком, не поступишь, надо готовиться! Наташа оканчивает в этом году школу.

Жизнь прожить — не поле перейти. Она устроена, как нехоженые тропы на Луне, ухабиста и труднопреодо-

лима. Счастье и несчастье шагают всегда рука об руку, и с этим ничего не поделаешь.

Славно поработали они с сыном, да вот дождик заставил их прекратить косьбу. Сын с отцом, шумно отряхиваясь от дождя, завозились в сених.

— Батюшки мои, — певучим звонким девичьим голосом встретила хозяйка дома Екатерина Матвеевна своих мужчин. — Вот они, мои родители, явились не заплылись. Небось дождик вас прихватил.

— Да, мама, немного достал. Можно было еще покосить, да папа сказал: «Сынок, намокли, как бы не простудились. От сырости, говорят, к человеку липнут всякие болячки».

— Не дай бог, сынок!

— Да и домашние дела нам с ним надо доделать.

— Ну и хорошо, что пришли. Сейчас будем обедать. Наташа, — ласково позвала хозяйка дочь, — давай помогай накрывать стол.

Дочка похожа на маму и невероятно красива, еще жениха себе не нашла, но многие заглядываются на лакомый кусочек.

Времена сейчас непростые, воспитать в хороших правилах ребенка достаточно трудно. Подростковый возраст требует большого терпения, такта и деликатности. Большая семейная дружба помогает родителям найти взаимопонимание с детьми, и они ведут себя вполне достойно, в рамках приличий. Андрей и Наташа с товарищами и друзьями общаются запросто и родителям помогают. Сын — первый помощник в доме во всех хозяйственных делах. Наташа много читает, играет на пианино, вечерами часто аккомпанирует родителям, все семейство поет самозабвенно.

Засуетились женщины и стали накрывать на стол. Василий, сняв мокрую рубашку и умывшись, протирая лицо на ходу красочной вышитым полотенцем, присел. Устало откинув голову, полулежа с любовью рассматривал свою ясочку. Глядя на

ее ножки, высокую грудь, румяное личико и голубые глаза, прикрытые прядью каштановых волос, Вася улыбается. Ему захотелось прижать Катю, самую красивую и родную, к себе сильно-сильно и зацеловать. «Ведь красивая, добрая жена мужику — что качественный бензин к автомобилю», — подумал Василий и крикнул.

Прикрыв глаза, он вспомнил свою молодость. Это было двадцать два года назад. По осени он вернулся из армии. Впереди предстояли заманчивые круговерти жизни: куда пойти учиться, где работать. Любил Василий прогуляться поутру за деревней, где начиналась лесостепь.

Дни стали прохладные, недолго грело солнышко, начала опадать листва на деревьях, только серебристые нити паутины, которые мелкой сеточкой еще висели на ветвях липовой поросли на опушке леса, и напоминали о лете.

Пришло время уборки картофеля на колхозном поле. Картошка так картошка. Надо же кому-то убирать. Стариков не пошлешь на эту работу. Управлял Василий картофелекопалкой.

Механизированная копка картофеля не трудоемка, следи за тем, что механизм был исправен, и вся недолга. Василий уже успел опухать картофельное поле, поджидал молодежь. А вот и подмога колхозу, приехали ученики старших классов.

Василий тут-то и заметил Катю, с которой учились в одной школе. Василий считал ее тогда малолеткой. А теперь посмотрите на нее — одно загляденье.

Курносая дивчина явилась на картофельное поле, словно месяц в ясном морозном небе, в цветастом красивом платье, черном трико и в аккуратных черных ботинках. Картинка Катеринка, Вася залюбовался ею. Старшая группы, она порхала, как бабочка, впрочем, проявляя боевитость и недюжинные организаторские способности.

На вспаханном картофельном

поле лежали и радовали глаза только что появившиеся на свет золотистые клубни картофеля. Катя взволнованно, как-то не по-девичьи, серьезно спрашивала:

— Девочки, ну как, успеем собрать картошку с поля?

— Справимся!

Вася не сводил восхищенных глаз с этой молоденькой девочки. Ему хотелось, чтобы она сейчас немедленно обратила на него внимание. Но скромность не позволяла. Он уже был готов позаигрывать с Катей. Но осекся, подумав, что она ведь отбрить может запросто: «Мальчик, ты заблудился, мы пришли картошку собирать, а не влюбляться, тоже мне ухажер нашелся».

От этих невеселых мыслей Вася нахмурился. Зачем так важничать, молодость — не порок, и все же не удержался:

— А почто ты, девица-озорница, мальчиков не зовешь картошку собирать?

— Я не виновата, что мальчики отвлеклись от девочек и стоят в стороне. Ребята, давайте все весело за работу!

Вот так запросто, на картофельном поле, и состоялось первое свидание Васи и Кати.

После жарких встреч пришла к ним любовь — настоящая, добрая, и пришла навсегда. Потом они поженились.

2. Из полудремотного состояния вывела Васю Катя:

— Вася, ты что, заснул? Давай иди обедать. Мы тебя ждем.

— Катя, вот ить опять вспоминал нашу молодость, какие мы с тобой были. Помнишь?

— Ну, ну, и какие же мы были?

— Счастливые!

Андрей и Наташа сидели и сияли, слушая разговор папы с мамой.

— Мама, конечно, наша семья счастливая, — сказал Андрей.

— Вася, я хорошо помню, как ты меня и моего братишку спасал. Ты

помнишь тот трагический день? Если бы не ты, мы сгорели заживо! Зима пришла рано, суровая и холодная. Мой покойный отец, Матвей Филимонович, любил, чтобы было натоплено жарко. С вечера заготавливали дрова, а мать старалась испечь к завтраку свежего хлеба. Я и мой старший братишка Сергей еще спали. Мы не слышали, как загорелся дом. Папа с мамой кинулись на улицу сбивать пламя снегом. Но не тут-то было. Огонь набирал силу. Хорошо, что ты, Вася, оказался рядом с нашим домом. Увидев тебя, мама закричала: «Вася, в доме дети! Помогите их спасти!» Каким-то чудом из полыхающего дома ты вынес меня и братишку. Правда, были ожоги, у тебя больше всего. Вася, я хотела с тобой дружить, когда учились с тобой еще в школе. Ты был старше меня, но ты спешил домой к отцу делать бочки. Если помнишь, я дружила с Александром из твоего класса.

— Я помню, что вы с ним встречались. Но я как-то не обращал внимания на то, кто и с кем встречается. Видимо, я не был готов в то время к ухаживанию за девчонкой.

— Ты тоже мне нравился, но ты очень важничал и не обращал внимания на меня.

Обед удался на славу. После сытного обеда Василия охватила сладкая дремота.

— Мама, что, папа все еще спит? — спросила дочь.

— Да пускай поспит, наверно, устал. Ведь он у нас такой заботливый, постоянно в работе, как тут не устать! Совсем заработался, а дома забот тоже не меньше. Кроме того, пошли слухи, что теперь будет частная собственность.

— Катя, я уже не сплю, и меня одолевают эти тревожные слухи, — заявил Василий, проснувшись. — Лучше это будет или хуже, я не знаю. Надо быть ко всему готовым.

Тем временем Наташа напевала замечательный романс «Любовь и разлука»:



Еще он не шит, твой наряд под-
венечный,
И хор в нашу честь не поет,
А время торопит, возница бес-
печный,
И просят кони в полет,
И просят кони в полет...

Она часто вспоминала эту песню,
любимую песню своих родителей.
Все семейство подсаживалось к до-
чери и, обнявшись, подхватывало:

Чем дольше живем мы, тем годы
короче,
Тем слаще друзей голоса,
Ах, только б не смолк под дугой
колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза,
Глаза бы глядели в глаза.

То берег, то море, то солнце, то
вьюга,
То ласточки, то воронье,
Две вечных дороги —
любовь и разлука
Проходят сквозь сердце мое,
Две вечных дороги —
любовь и разлука
Проходят сквозь сердце мое.

— Наташенька, нам с матерью нра-
вится слушать этот замечательный
романс, только теперь редко испол-
няют эту песню по радио и телеviso-
ру, а жаль!

1991 год. Страна жила в ожидании
перемен. Люди ждали улучшения
жизни. Вершилась революция, и мно-
гие боялись этой круговерти. Ва-
силий ходил в киоск, купил газету.
Решил почитать, что там пишут.
Газет стало много, как грибов после
дождя, каждая, чтобы выделиться,
спешит сообщить что-то невероятное,
доселе нечитанное и невиданное, а по
телевизору спорят до хрипоты, го-
ворят о демократии, свободе слова,
гласности. Но у каждого своя прав-
да. И никто не знает, что это такое:
гласность, свобода, реформы. Но все
этого хотят. В голове хаос, в магази-
нах шаром покати.

Человек ведь по натуре какой:
ему хочется лучшей жизни. Только
не всегда до конца понимает, что
делать и кто виноват. Главное —
каждый хочет высказаться! Покуда
спорили, искали виновных, стра-
на и развалилась.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день! — сказала Екатерина. — Стро-
или, строили коммунизм, теперь
говорят, надо разрешить частную
собственность. Если все люди будут
хорошо работать, быстрее разбога-
теем. Вот так незадача. Опять надо
перестраиваться.

— Катя, ить мы люди, привыкшие
преодолевать трудности, только на-
долго ли все это?

— Не знаю, Василий, — сказала
Катя и пригорюнилась.

И пошла писать губерния: взлете-
ли цены, рубль обесценился, продо-
вольственные магазины не радовали
глаз до реформ, а теперь ждали
перемен, но когда это случится, ни-
кто не знал. Начались дележ и про-
дажа государственной собствен-
ности, причем недорого. Появилась
частная собственность. Происходила
ваучеризация, приватизация, многие
толком не понимали, что это такое.
Собственность распиливали в виде
акционирования, каких-то бумажек,
приватизационных чеков, якобы на
каждую акцию будет приходиться по
автомобилю «Волга».

Жизнь дала трещину!

В новой жизни довольно быстро
появились жулики, мошенники,
которые ловко использовали бре-
ши в законодательстве. Родились
финансовые пирамиды с много-
обещающей рекламой о быстром
обогащении людей, всеобщее «Поле
чудес». Многие обманывались, от-
давали безвозвратно деньги мошен-
никам. Появилось неисчислимое
количество целителей, знахарей.
Происходили рейдерские захваты
предприятий, где были кровь и сле-
зы. Где-то, что-то не так подели-
ли, кому-то голову откусили. Кто
смел, тот, естественно, больше съел.
Деньги улетучивались как дым, над

страной взошло черное солнце бар-
тера. Меняли шило на мыло, гвозди
на лес, муку на картошку, зарплату
давали сахаром, товарами, которые
сами производили.

Многие предприятия остано-
вились, ждали команды сверху, как
раньше, что делать, как быть? Где
взять деньги на зарплату? Куда идти,
зачем, и тысячи других вопросов.

Зато появилось новое мерило
всех ценностей: деньги! Деньги
решали все. Появилось множество
институтов, университетов, разных
академий на платной основе. Люди
растерялись в новой жизни!

3.

— Вот ить оказия какая... — ворчал
Фрол Андреевич. — Хорошо ли мы
заживем после перемен?

Дюже переживал Фрол Андреевич
по поводу происходящих собы-
тий в стране. Он всю жизнь про-
работал в деревенской кузнице, что
находилась возле речки, ближе к лу-
гам. Кузница известная всей округе.
Она построена еще до революции
совершенно просто, из шлакоце-
ментных блоков, люди называли ее
«ковальня».

Много повидала в своей жизни
кузница. Здесь опытные кузнецы
подковывали лошадей, ковали
орудия труда местным крестьянам,
изготавливали кованые заборы, во-
рота и калитки — богатеям. Во все
времена кузница являла собой край-
не необходимый атрибут деревни.
Без кузницы никак не изготовить ни
лемех плуга, ни борону, ни грабли
для крестьянина, ни ажурный таран-
тас, ни ворота, ни калитку с завитуш-
ками. Святые отцы да и прихожане
всегда обожали высокие кованые за-
боры, с любовью относились к раз-
нообразным украшениям внутри.

Да и в старые времена профессия
кузнеца высоко ценилась. По ле-
генде, царь Соломон после оконча-
ния строительства иерусалимского
дворца пригласил строителей к себе.
Он проявил учтивость и великоду-
шие к профессиям, посадив кузнеца

на царский трон на время пира, считая, что такой чудо-дворец удалось построить благодаря тому, что каменотесов, плотников обеспечивал кузнец коваными инструментами. Многие народы считали кузнеца волшебником, творившим чудеса из железа. Эта таинственная профессия издревле порождала самые различные мифы. Например, в Африке доверяли изготавливать деньги только кузнецу, в Англии удачливые кузнецы богатели и становились даже лордами.

Сколько воды утекло с тех пор... В конце второй половины пятидесятих годов прошлого века Фрол Андреевич работал в кузнице. Деревенские мальчишки часто заходили к нему посмотреть, как шумит огонь в горне. Фрол Андреевич благоволил ребятам.

— Дядя Фрол, а что это такое висит у вас под потолком?

— Я накачиваю с помощью этих мехов в топку воздух, чтобы лучше горели угли. Печь, где лежит моя заготовка, называется горн. Там и лежит моя подкова — заготовка. Ее надо сделать точно по размеру копыта коня. В горне очень высокая температура, металл можно нагреть добела. Но надо строго следить за нагревом, чтобы определить по цвету нагретой заготовки началоковки.

Фрол тщательно разогревал заготовки подковы в горне, потом их ковал на большой наковальне по размеру старой подковы. Подковы после окончательнойковки друг за другом летели в ведро с водой для охлаждения, откуда шипя, словно пузырьки шампанского, выходил пар.

Часто заходили к Фролу Андреевичу в кузницу повзрослевшие его сын Василий с друзьями Александром и Афанасием, где они получали уроки кузнечного дела. Когда ребята заглядывали к нему, лицо старого мастера преображалось: он стирал пот полотенцем, которое всегда висело рядом с рабочим местом, с умилением и любовью рассматривал совсем юных ребят и спрашивал:

— Ну как, озорники, нравится вам моя кузница?

— Очень нравится нам ваша кузница, дядя Фрол. Вы просто чародей и волшебник. Большое спасибо, что вы есть!

— Папа, я тоже хочу быть кузнецом, — говорил его любимый сынок Василек.

— Василь, сынок, будьешь, будьешь обязательно кузнецом.

Дети с интересом следили за работой кузнеца и помогали Фролу Андреевичу качать воздух мехами в горн, подкладывали туда же угли. Иногда по просьбе кузнеца ребята по очереди держали клещами огнедышащую деталь, которую ковал Фрол Андреевич. Нельзя было допускать ребят пока к ковке — это опасная работа, требует точного удара, иначе можно получить серьезную травму, да и деталь можно испортить.

— Дядя Фрол, как вы только управляетесь здесь? — спрашивали дети.

— Так ить я не один работаю, у меня есть помощник Ваня Увалов, хороший парень, правда, у него еще опыта маловато. Сейчас пошел посмотреть за телочкой, которая пасется на лугу недалеко от кузни. Вот наберитесь побольше сил и тоже приходите ко мне в кузницу. Мне надо думать о новой смене, я-то ить уж стар. Я вас выучу, как нужно нагревать металл и когда можно его ковать. Ковка металла требует большой физической силы, выносливости, сноровки, остроты глаз, немалого умения разговаривать с металлом. Недопустимы спешка и суета, а с другой стороны — все надо делать с первого раза, ить металл быстро стынет. Это наука требует точности и аккуратности, а самое главное, любви. Это дело надо любить, в противном случае не выковать хороший плуг, борону и другие необходимые предметы в крестьянском деле.

Ребята услышали топот копыт. Это подъехал верхом на коне пегой масти колхозный конюх Савелий Ев-

севич Парфенов. Конь упитанный, исправный, но прихрамывал чуть на правую переднюю ногу.

— Здравствуй, Фрол, вот привел к тебе подковать моего коня, что-то он у меня прихрамывает.

— Сейчас, сейчас посмотрим, Савелий.

Он подошел, приподнял хромящую ногу коня и заговорил:

— Ну ты, старый хрен, Савелий, не мог посмотреть больную ногу коня, ведь в копыте остался кусок старой подковы, который вонзился ему в ногу. Вот он и хромяет. Что ж ты, не мог привести ко мне раньше?

— Фрол, я думал, ничего, так часто бывает, потерпит немного конь.

— Дядя Фрол, а можно нам посмотреть, как вы будете подковывать лошадь?

— А почему нет, конечно можно, а заодно и поговорите с нашим колхозным конюхом Савелием Евсевичем. Много чего он повидал на своем веку. Ить он участник Великой Отечественной войны. Его отец был ох какой лихой кавалерист еще в Первую мировую! Из рассказов своего отца он знает, что такое конная атака лавой. Это страшно! Такие атаки совершать могут только лихие конные всадники, которые тренированы на занятиях по джигитовке. А вы знаете, как может всадник из-под брюха коня метко стрелять по врагу и уничтожать его? Вам будет интересно послушать какую-нибудь историю. Дети мои, надо знать историю жизни своих предков. В Великой Отечественной тоже принимали участие кавалерийские дивизии, воевали на конях партизаны, кони еще служили артиллерии, помогали подвозить артиллерийские пушки и боеприпасы.

— Фрол, ты чего-то замешкался, а нам с Силантием надо быстрее и шустрее, — заговорил Савелий, — мы с ним подрядились Игнатьевне, а она баба с норомом, переработать прошлогодний навоз. Нужно изготовить кизяки. Нором не бором, на убой не откормишь, —



говорил скороговоркой Савелий. — Надо постараться выполнить работу, иначе нам несдобровать, а дел много. Необходимо подвезти воду и мять навоз, она нам теперь не даст покоя, пока все не сделаем. Ты знаешь, как она нас называет: «Дармоеды, который день вы едите мой хлеб, а работу, старые хвостуны и пердуны, до сих пор не закончили, да еще просите, чтобы я вам подносила по чуточке, по стопочке! За что же, милые?»

— Что тут поделаешь, Савелий, как говорится, «взялся за гуж, не говори, что не дюж»!

— Фрол, не время сейчас мне рассказами забавляться, люди меня ждут, в другой раз, пусть ребята потерпят.

— Я сейчас, быстро, заводи коня в станок, — ответил скороговоркой Фрол. — Ить стыдно будет нам с тобой, если он у тебя вдруг взбрыкнет и мы не сладим с ним при ковке.

Савелий брал под уздцы своего коня и аккуратно заводил в рядом стоящий станок для подковки. Конь вертел головой, косил лиловым глазом, рассматривая людей.

Фрол — знаток в этом деле, поглаживал коня по шее, поговаривал про себя негромко какие-то волшебные слова, конь успокаивался, только моргал глазами. Фрол легким шлепком заставлял коня приподнять переднюю ногу, сгибал ее в колене, клал на полочку станка и принимался за работу. Легким движением рашпиля очищал копыто, примерял подкову, потом, сняв, подковывал и очищал копыто напильником-рашпилем. Конь вертел головой, видимо, беспокоился, что это с ним собираются делать. Проверив, что подкова хорошо прилегла к копыту, Фрол прибывал ее легким молотком прямоугольными гвоздями. Конь терпеливо ждал, когда кузнец, который не причинил ему никакой боли во время подковки, оканчивал дело. Савелий был тут как тут, быстро выводил коня из станка и поспешал во двор Игнатевны.

Фрол Андреевич улыбался, что удачно подковал коня, и подходил к ребятам.

— Дядя Фрол, а разве не больно лошади, когда вы прибывали ей подкову?

— Нет, дети мои, этого нельзя допустить, я старался прибывать непременно в роговую часть копыта, где нет мышц и нервных окончаний, — это совершенно безболезненно.

— Дядя Фрол, а кто придумал подковы и почему считают, что если в доме висит подкова, то она приносит счастье?

— Ишь, дети мои, эта целая философия. В старое время вещь из железа считалась большой ценностью. Если кто-то сумел сделать из старой подковы нож — это было большим счастьем. Если на двери висит подкова, то говорили, что злой дух в такой дом не войдет. Подкову надо вешать правильно — клещами вверх, чтобы добро, спустившееся с неба, оставалось дома. Если клещи смотрят вниз, то добрые силы уйдут в землю. Хорошо подкованные кони спасали воина в бою. Опытный кузнец, дети мои, может подковать коня и без примерки, по следу коня.

Дети привязались к кузнице, так что готовы были в ней дневать и ночевать.

Немалый интерес представляли для детей водяная мельница, рыбалка, ночной выпас лошадей, пожарка и пожарная наблюдательная вышка — деревенские достопримечательности.

Пожарка — вещь необходимая, так как рядом находились большой лесной массив и торфяники, да и немало деревень, где каждый год случались пожары.

На вышке, особенно в пожароопасное время, дежурили наблюдатели. Вышку строили добротной. Она стояла на дубовых смоленых столбах, неоднократно наращенных такими же бревнами с помощью хитрых плотничьих зарубок, когда зарубки одного бревна входят в другое. Смоленские опоры вышки смотрелись

красиво, как единое целое. Этот стык дополнительно скрывали металлическими обручами. По мере необходимости поочередно меняли сгнившие опоры.

Внутри пожарки стояли телега с крашеным ручным насосом и телега с бочкой, заполненной водой. Вдруг пожар, а тут все готово, запрягай лошадей — и вперед. Одежда пожарного — вот она рядом висит: робы несгораемые да головной убор металлический диковинной формы. Сторож, который охранял колхозный двор, пребывал в пожарке как командир на командном пункте. Кстати, там сохранился большой телефон в деревянном корпусе, как старинные настенные часы с гириями. Он раньше работал от сухих батареек. Теперь, конечно, не работает, висит как реликвия. По ночам в пожарке дежурит колхозный сторож Яким. Он строг, никого и поныне не пускает в пожарку и на вышку.

Дети, довольные встречей с дядей Фролом, отправлялись восвояси.

С малых лет Фрол Андреевич обучал и своего любимого сына Васю премудростям мастера.

В последние годы кузница захирела. Фрол Андреевич сильно постарел, болезни его не оставляли. Сильно переживал о происходящих событиях в стране. Он умер в самом начале новых реформ, не дожил до полного возвращения частной собственности. Не хотел он больше втягиваться в политику, здоровье не позволяло. Нет, нет, не хотел! Честь по чести его отпевали в церкви. Мир праху его!

4.

Года два назад односельчане Василия, братья Александр и Афанасий, работали с ним на одном машиностроительном заводе, только в разных цехах. Александру сорок четыре года, а Афанасию чуть меньше — сорок.

До машзавода надо добираться в два этапа. Первоначально шагать три километра от деревни Ивантеев-

ка до железнодорожной платформы Тридцатый километр, а потом ехать три остановки до города. Железнодорожная платформа — очаг цивилизации, которая приближала деревню к городу. Друзья Василия работали в кузнечном цехе завода, он трудился в литейном цехе модельщиком.

Но вот настало время, и частному владельцу стали не нужны лишние рты. Происходило сокращение рабочей силы на предприятиях. Появились безработные. В их числе оказались и друзья Василия. А хлеб с маслом кушать хочется каждый день. А где достать, где взять? Вот тут-то ребята и оробели. Жить стало тяжело, никто не спешил на помощь. Конечно, дома были кое-какие припасы. А тут у Александра заболела жена его, Нюся. Болезнь оказалась серьезной. Нужны были деньги, и немалые. Продав свою квартиру, большую сумму денег потратил на врачей и лекарства, но Нюсю не спасли. Александр, хотя и рубаха-парень, переживал по поводу смерти жены и потери работы, стал выпивать.

А работодателю нужны крепкие молодые люди, а не похмельные мужики с помятыми опухшими лицами, похожие на вечных изгоев. Александр расслабился, захирел, потерял документы, оставшиеся деньги быстро прокутил, живя без оглядки, одним днем. Афанасий давно уже жил один, так как жена погибла, попав в автомобильную катастрофу. Черные риелторы обманным путем лишили его квартиры, теперь он тоже без жилья и документов.

Василий, глядя на своих бывших друзей, был в глубоком раздумье, как-то помрачнел, посуровел. Надо же было им дойти до такой жизни! Чертовы прощельи, все свое добро спустили. Кому они такие, неумные, просмоленные, вечно пьяные от сердечных настоек, нужны? Все это так. Только Василию не легче! Стыдно и больно ему за своих бывших друзей!

Пошла жизнь наперекосяк!

Литейное производство завода временно приостановили. Василий уволился со своего предприятия. Получил в результате долгих хождений по кабинетам свидетельство частного предпринимателя по бондарному производству и деревообработке. Двор и дом Василий хорошо обустроил. Занимаясь своим делом, он построил во дворе мастерские и другие подсобные помещения, так что на первых порах они его вполне устраивали. Теперь, как частному предпринимателю, надо пересмотреть все свои владения, а может, дополнительно арендовать новые площади. С накоплением капитала нужно приобрести новое оборудование, инструменты и много чего другого. Человек ведь каков? Ему стало лучше — хочется еще большего.

Решил посоветоваться с женой Екатериной Матвеевной.

— Слушай, Катя, ты, наверно, знаешь Александра и Афанасия.

— Александра я хорошо знаю, мы вместе учились в одной школе. У нас была даже небольшая любовь, мы встречались.

— Катя, стало быть, его можно теперь назвать в какой-то степени моим соперником?

— Вася, какой он соперник? Что было, былшем поросло! Еще не вздумай ревновать!

— Так вот, Катя, они работали на одном заводе со мной. Жен своих они похоронили.

— Вася, я их часто вижу возле магазина, да еще и в аптеке. Они что, теперь безработные?

— Они не работают, промотали все свое состояние, на работу их не берут, паспорта потеряли. Что с ними происходит, они сами до конца еще не понимают.

— Что тут, Вася, понимать, они уже кандидаты в бомжи.

— Мы свое дело открыли, слава богу! Но мне жаль их, как-никак на одном заводе работали, они могут в скором времени и до ручки пойти. Я думаю, что им надо помочь,

пока совсем не одичали, хочу пригласить их к себе. Придется их подучить, если, конечно, они согласятся.

— Вася, я не возражаю, но где мы их поселим?

— Я уже говорил с администрацией села, обещали помочь.

Задудли холодные ветры, над поселком повисли тяжелые свинцовые тучи, пришла осень. Вдруг за обедом Василий услышал шум во дворе и, накинув пиджак, выбежал на улицу. Около изгороди на засохшем травяном газоне лежал Александр. Привалившись к жердине хлипкого забора, покачиваясь, стоял его собутыльник Афанасий Федорович Борткин, брат Александра.

— Вот горе-то луковое, — с досадой говорил Афанасий, — прям-таки беда с моим братцем, выпил пузырек боярышника — и готов, лежит калачиком, я вот теперь майся с ним. Надо бы его как-то дотащить до нашего жилища.

— Ну, окайные, по какому же случаю вы так набрались? Ить нельзя же себя угрождать таким отношением к своему здоровью. Сейчас помогу.

— Ну, спасибо тебе, сердешный человек, если нами не брезгуешь.

Возвратившись домой, Василий сидел опечаленный. Поговорить с товарищами не удалось. О чем можно говорить с пьяными людьми? Да, срочно нужна помощь этим людям.

Вскоре пришла зима 1993 года.

В один из вечеров Василий отправился к Александру и Афанасию. Дом находился на отшибе, не дом, а хибара. Почивший хозяин дома, Валентин Михайлович, оставил завещание, чтобы дом после его смерти отдали брату Павлу. Павел уже приходил, велел Александру и Афанасию немедленно убираться из его дома.

Вьюжит уже неделю, стоят морозы, может быть, поэтому Павел не торопит бедолаг. Снегу нанесло чуть не до крыши, тропа к дому не очище-



на, можно в снегу утонуть. Забор, которым был огорожен дом, давно пустили на дрова. Дверь сеней открыта всем ветрам и висит на одной петле. От сильного ветра раскачивается, ржавым эхом опустошает слух. Но братья Борткины не слышат этого скрипа, и он их не раздражает. Один шаг — до бомжей.

Бомжи живут прямо на свалке, добывая там себе пищу. Собирают бутылки, металл цветной и черный, а также картон, чтобы сдать это «добро» в пункте приема и заработать хотя бы небольшие деньги. На свалке, считают они, жизнь лучше, проще.

Устроиться ночевать зимой на теплотрассе или в подъездах крайне сложно. Поэтому Александр и Афанасий не на шутку испугались. Остаться зимой без жилья и пищи — дело пропавшее. А они как-никак хоть и бывшие, но квалифицированные кузнецы и совсем не готовы к жизни постылой.

В неприкрытую дверь дул зимний ветер. Порог покрыт наледью, поэтому дверь полностью не закрывается. Василий, войдя в комнату, увидел тусклый свет свечи, горевшей на верхнем приступке горнила жизни. Александр и Афанасий спали на старых железных кроватях, укрывшись потрепанными цветными одеялами.

— Кто там? — прошепелявил едва слышный голос из полутораспальной кровати.

Подойдя ближе, Василий увидел Александра с синяком под глазом.

— Здорово, мужики! — поздоровался Василий. — Это я, Василий Фролович Торбенева.

Александр пытался приподнять голову и разглядеть, кто к ним пришел. Это далось ему с трудом после вчерашней выпивки. В глазах все поплыло, зарябило, сердце гулко забарабанило где-то в голове!

— Пришелец, что ты говоришь! Тургенев помер давно, — надрывно кашляя, отозвался голос из односпальной железной кровати. Не шути, гость!

— Я и не шучу, это я, Торбенева.

— Это какой такой Торбенева?

— Что вы, неужели забыли своего друга Василия Фроловича Торбенева? Мы работали на одном заводе, неужто забыли?

Василия охватило огорчение и отчаяние. Наступило короткое затишье.

— А, это ты, Василий Фролович! Прости нас, что мы тебя не признали. От такой жизни свое имя забудешь. Ты же богатый, чего тебе от нас надо?

— На днях меня остановил глава сельской администрации Арефьев Григорий Иванович и сказал: «Что это, Василий Фролович, бывших друзей не замечаешь, не видишь, как они спиваются?» Действительно, мне стыдно за вас, ребята, что вы опустились до такой жизни! Почему же вы на работу не устраиваетесь?

— Пытались, Василий Фролович, да не раз. У нас нет паспортов и постоянного местожительства. Потом говорят, что такие старые люди им не нужны, принимают на работу только молодых. Говорят, что от нас идет одна вонь.

— Чем же вы питаетесь?

— Мы каждый день ходим на свалку. Туда привозят просроченные или уже испорченные продукты, вот мы все этим и питаемся.

— Ну, ребята, вы совсем опустились, есть ведь ночлежки, где могли бы вас накормить и устроить хотя бы временно на постой.

— Знаем, Василий Фролович, но мы туда не ходим. Нам стыдно. Вдруг увидят знакомые. В церквях относятся хотя и с пониманием, но тоже ходить далеко и несподручно.

— Хочу вас пригласить к себе на работу.

— Фролович, — продолжил шепелявый голос, — неужели ты возьмешь нас на работу? Какие мы теперь работники?

— Мужики, что мне вам объяснять? Только работа вам спасет жизнь!

— А ты, Фролович, правда стал буржуем?

— Что вы, ребята, каким буржуем? Таких частных предпринимателей зовут ЧП.

— Мы, Фролович, в этом деле слабо смыслим. Но ты хочешь принять к себе на работу людей, которые будут тебе помогать разбогатеть, стало быть, ты — капиталист и буржуй!

— Нет, нет, я никакой не буржуй. Я организовал свое дело, теперь это называется частный предприниматель.

— Значит, теперь ты господин, а что мы будем делать, Фролович?

— Понятное дело. Я вас приглашаю не масло сливочное вкушать и запивать его Абрау-Дюрсо. Можете меня звать господином, товарищем, горшком, только в печку не сажайте. И никакой я не господин, буду работать рядом с вами, учить вас своему делу — мастерству бондаря, мастера по обработке дерева. Это интересное дело.

— Ты же, Фролович, знаешь, что мы учены твоим отцом кузнечному делу. В бондарном деле мы вряд ли разберемся.

— Буду вас учить, разберетесь, никакой хитрости тут нет, было бы желание.

— Спасибо, Фролович, что ты заботишься о нас. Вряд ли мы пригодимся. Нам теперь стыдно появляться в твоём доме после наших походов. Как мы будем глядеть в глаза твоим соседям, твоим близким?

— Да, ребята, быть людьми всегда трудно. Гораздо проще быть скотиной. Удивительное дело, недавно вы, ребята, два молодых рабочих, ездили на работу, а теперь быстро потеряли веру в себя! Это как же надо понимать?

Василий не спеша достал из своей хозяйственной сумки буханку белого хлеба, колбасу, пачку чая и сахар.

— Вот что, дорогие мои сослуживцы, вставайте, умывайтесь. Покушайте, попьем чайку, поговорим.

Долго не решались ребята вставать. Первым решился Афанасий, худой долговязый мужик, грудь его чрезмерно выпирала наружу, к тому же надсадно кашлял не то от куре-

ния, не то от болезни легких. Он налил воды в чайник и поставил ее кипятить.

— Афанасий, ты, вероятно, серьезно болен. Надо тебе лечиться.

— Фролыч, не переживай, все будет нормально, я здоров.

— Ну, это еще проверим.

Александр, глотая слезы, смотрел, моргая, в потолок.

— Фролыч, дорогой ты человек,

спасибо, что проявил заботу о нас, бродягах.

— Подожди благодарить. Надо еще вам приложить большие усилия, чтобы привести себя в рабочее состояние. Необходимо научиться работать с деревом. Это будет трудно. Приходите завтра ко мне и решим, с чего начать. Все наладится. Вот увидите!

Закипел чайник. Мужики сели попить чаю. За разговором время прошло быстро. Василий вытер вспотевшее лицо платком. После разговора со своими друзьями он даже несколько помолодел, взбодрился.

— Пока, мужики, до завтра.

— До свидания, Василий Фролович, до завтра.

Продолжение следует.

г. Калуга





Валерий ИЛЬИЧЕВ

Продолжение. Начало в № 6, 7–8, 9 за 2011 г.

ПОХОЖДЕНИЯ «ПОДМИГИВАЮЩЕГО ПРИЗРАКА»

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА IV. Лихолетье

Губин оторвал листок от стенного календаря — до конца 1940 года оставалось чуть больше двух недель. На душе было муторно и тревожно. Накануне у него забрали для доклада самому наркомку Лаврентию Берии оперативное дело «Виртуоз». Это не сулило ничего хорошего. Докладывать результат разработки пошел начальник отдела Смирнов. Зайдя в кабинет всесильного наркома и вытянувшись по военному, кратко доложил и положил на стол толстую папку с собранными на фигуранта компроматериалами и подробной справкой на Губина, ведущего разработку.

Не предлагая сесть, нарком сквозь стекла пенсне внимательно прочитал сведения об оперативном сотруднике и молча воззрился на Смирнова. После мучительной для подчиненного паузы с нескрываемым раздражением поинтересовался:

— Почему в нашей системе работает человек с высшим образованием? Государство потратило на его обучение большие деньги, а он, вместо того чтобы трудиться в народном хозяйстве, занимается оперативной работой. Это нерационально. Вы знаете мое отношение к этому вопросу. Так в чем же дело?

— Товарищ нарком, вы абсолютно правы. Но товарищ Губин — старый член партии с дореволюционным стажем. К нам в госбезопасность перешел по набору из уголовного розыска в 1931 году. За десять прошедших лет зарекомендовал себя грамотным и умелым оперативным работником. И разработку изменника, английского шпиона Земнова он провел блестяще. Вот затребованные вами материалы.

— Хорошо, идите. Я посмотрю, что наработал этот хваленый вами Губин. Если хороший работник, то пусть пока работает, а потом видно будет.

Слово «пока» нарком намеренно выделил и произнес с неодобрительными металлическими нотками в голосе. Смирнов с облегчением покинул кабинет. Для него отношение наркома к сотрудникам с высшим образованием не было новостью. Но, идя по длинному служебному коридору, покрытому ковром, глушившим даже малейшие звуки шагов, Смирнов не переставал мучиться вопросом: «Почему именно сейчас у наркома возник интерес к довольно обычной разработке среднего уровня чиновника, работающего в наркомате иностранных дел? В последнее время слетали и превращались в лагерную пыль люди с более высоким служебным положением. А что если дело вовсе не в этом Земнове, а в самом Губине, завершающем его разработку? Это намного хуже. Мне могут припаять отсутствие бдительности. Скажут, что я пригрел в отделе скрытого врага. Мало того, что умудрился закончить рабфак и получить высшее образование, так еще в свободное время картины мажорет и бюстики из гипса вылепляет. Не любят его в нашем отделе. Вот и нарком проявил интерес. Губин явно становится для меня опасным. Надо срочно от него избавляться. А жаль: оперативник он все-таки классный. Поднаторел на разработках во время своей работы сыскарем в молодые годы. Но своя шкура дороже!»

Заметив возле своего кабинета ожидающего результатов доклада Губина, начальник отдела поспешил его успокоить:

— Все в порядке. Нарком оставил материалы у себя. Будет внимательно изучать. Если в материалах все в порядке, то и нечего беспокоиться. Ты человек опытный. Думаю, все обойдется. Иди работай. Пока.

Смирнов и сам не ожидал, что автоматически повторит интонацию наркома, произнося угрожающее слово «пока». Но оно вылетело у него непроизвольно, невольно заставив подчиненного насторожиться и почувствовать, как тревожное ощущение грядущей беды заполняет все его существо. Выйдя из приемной Смирнова, он направился к себе в кабинет. Сев в кресло, нервно закурил. Он знал, что сотрудники отдела не любят его, числящегося в передовиках невидимого фронта. К тому же лютое неприятие вызывало его увлечение живописью. Он и сам удивлялся, как при распространенных арестах среди чекистов его так долго не трогали. Объяснение было только одно: он умел ловко оформлять дела врагов народа. Его разработки отличались изяществом и, главное, правдоподобностью. Помогали безудержная фантазия и умение смешивать подлинные факты с выдумкой так, что им можно было верить. И начальству, ошалевшему от грубых подтасовок о тоннелях, прорытых под Красной площадью в целях терактов в Кремле, приходилось по душе дела, по которым опасные фигуранты очень правдоподобно вредили советской власти, шпионив в пользу враждебных иностранных государств. Материалы разработок, представленные Губиным, успокаивали совесть начальства, позволяли верить, что их ведомство действительно занимается борьбой с реальными врагами. Губин это хорошо понимал, и до поры до времени это спасало его от злокозненных попыток коллег подсадить удачливого майора. И на этот раз он вновь возвращался мысленно к материалам разработки «Виртуоз»: «Где я мог допустить прокол? Дело-то в общем рядовое. Этот Земнов долгое время подвизался при нашем посольстве в Англии. Даже проявил себя неплохо при организации забастовки английских рабочих в конце двадцатых годов. Но потом был отозван. Трудился на ниве торговых отношений. На него начали поступать сигналы. Сначала от соседей. Так, мелко-травчатая глупость: дескать, имеет патефон с заграничными пластинками и хорошо одевается. Невидимый доброхот даже сообщал о часто покупаемых на рынке семьей Земнова курице и мясе. Но помимо завистливых соседей кто-то из его коллег сигнализировал о частых неформальных контактах Земнова и его жены скрипачки Раисы с представителями иностранных разведок. Губин хорошо понимал, что по роду службы Земнов с женой должен был посещать посольские приемы. Но на сигнал надо было реагировать. Установленное наружное наблюдение

вскоре зафиксировало контакт семейной пары с английским торговым атташе при посещении Большого театра. Затем поступили сведения о совместном обеде в ресторане «Метрополь». Дальнейшее было делом техники. Губин затребовал материалы о совершенных торговых сделках, в которых принимал участие Земнов. Нашел в них массу упущенной выгоды и для оригинальности вменил в вину Земнову не шпионаж, а экономическую диверсию в пользу иностранного государства. Будучи арестованным, Земнов оценил ситуацию реально и признал свою вину при условии, что пойдет по делу один, не давая показаний против своих коллег. Еще он просил за жену, не зная, что она тоже уже арестована как его пособница. Зато Земновы избежали пыток и физического воздействия.

«Вроде бы все сделано правильно и четко: придраться не к чему. Хотя ошибки можно обнаружить в любом деле. Посмотрим! Зато я знаю, кто мог на меня накапать. Это работавший со мною по делу мерзавец Никонов с оловянным взглядом. Вот уж подлинно Иван — крестьянский сын. Крепко сложенный деревенский мужичок. Простого документа грамотно составить не может. А туда же: на мое место, сволочь, метит! Но ничего, я послал вчера запрос на его родину: действительно его отец из бедняков, как он сам написал в анкете, или подлежал раскулачиванию? Вдруг местные товарищи что-нибудь накопают?»

Губин не знал, что его шифровка пока еще не ушла. Продиктовав запрос, он не проверил его отсылку. Ему и в голову не приходило, что ответственная за передачу шифровки Галина из секретного отдела по уши влюблена в Никонова и успела его предупредить. Тот попросил не отсылать запрос в течение двух дней. Вместе с выходным воскресеньем это давало ему возможность успеть свалить ставшего для него опасным майора. То, что его отец не являлся кулаком, было правдой. Но в биографии папаша было темное пятно: в 1925 году он уезжал на заработки в Москву и устроился работать личным водителем к товарищу Троцкому. Но, будучи одарен природным умом, уже через год почувствовал близость низвержения своего высокого хозяина. Уволившись, отец поспешил вернуться в деревню и потому уцелел. Никонов никак не мог допустить, чтобы этот способный его погубить факт вскрылся так некстати. Конечно, Галина рисковала, но Никонов заверил ее, что знает наверняка о предстоящем аресте Губина. И она, поверив обещавшему в скором времени жениться сожителю, придержала отправку шифр-телеграммы. А Никонов решил идти ва-банк и за собственной подписью передал непосредственно в секретариат наркома рапорт о вреди-



тельской деятельности Губина, злонамеренно покрывающего врагов народа. В качестве вопиющего факта он указал на племянницу Земнова, которая неоднократно встречалась в неофициальной обстановке с сыном торгового атташе под предлогом совершенствования им общения на русском языке. Особенно подозрительной было совместное посещение консерватории, из которой молодые люди ушли с середины концерта и, сев в такси, сумели уйти от наблюдения. Вместе с тем, подчеркивалось в донесении, враг Губин предпочел закрыть глаза на предательскую роль племянницы Земнова Инны и этим потворствовал уходу от ответственности важного члена преступной группы. Закончил свой рапорт Никонов словами: «Надеюсь, враги будут наказаны. С коммунистическим приветом, лейтенант Никонов».

Сигнал сработал. В материалах дела четко были зафиксированы встречи Инны с сыном торгового атташе. А по уголовному делу ее не привлекли: девушка прошла лишь свидетелем. Сотрудники наркомата внутренних дел и с меньшей виной слетали с должностей, арестовывались и шли вслед за своими бывшими фигурантами. А с учетом высшего образования и увлечения живописью у Губина после поступления доноса шанса уцелеть вообще не было.

Губина арестовали в ночь с воскресенья на понедельник. Жена Лиза с ужасом смотрела на жалкое лицо поднятого с постели в одном нижнем белье мужа. Всегда уверенный в себе человек стоял неподвижно с вытянутыми вверх руками, терпеливо ожидая, когда ему позволят наконец одеться. Было ясно, что чекисты испытывают особое удовольствие от ареста своего уже бывшего коллеги. Они, проводя обыск, бесцеремонно толкали и переставляли Губина с места на место, словно это был уже не живой человек, а неодушевленный предмет наподобие старой обшарпанной табуретки. Позволив арестованному одеться, руководитель приступил к конфискации имущества. Губин с беспокойством наблюдал, как из квартиры выносятся наиболее ценные вещи. Внезапно руководитель оперативной группы стал небрежно перебирать стоящие на полках исполненные Губиным скульптурные изображения и сложенные в углу живописные творения в дешевых багетных рамках. Заметив встревоженный взгляд хозяина, небрежно пнул ногой его картины:

— Не волнуйся, с этой мазней связываться не станем. За нее и гроша ломаного никто не даст. Так что оставим их здесь, так сказать, на память.

Затем еще раз осмотрел голые стены и опустевшие комнаты:

— Ну все, пожалуй! Уже светает. Руки назад и вперед навстречу новой жизни.

Губин хотел на прощание обнять жену, но двое оперативников, крепко взяв его за руки, подтолкнули к двери. И тогда Губин выкрикнул заранее обдуманную фразу:

— Лиза, у тебя частые мигрени. Очень прошу, береги свою голову. Ты слышишь, береги свою голову!

Губина резко подтолкнули в спину, и он навсегда скрылся с глаз любимой жены. Через некоторое время до нее донесся урчащий рокот отъезжающей от дома машины. «Ну вот и все. Кончилась мирная жизнь. Впрочем, я никогда не верила в долговечность счастья с этим неординарным беспокойным человеком. Остро чувствовала, что он плохо кончит. Хорошо хоть детей совместных не нажили. Странный он: уже много лет плохо спит по ночам, мечется во сне. Вот и сейчас под арестом, жизнь кончена, а сам какую-то ахинею несусветную несет: никогда я от мигреней не страдала. Стоп! Он эту фразу дважды повторил. Муж никогда ничего зря не делал. Расчетлив и хладнокровен был при любых обстоятельствах. Что он имел в виду, давая наказ беречь свою голову?»

Внезапно ее взгляд упал на собственное запыленное гипсовое изображение, изваянное мужем. «Этот бюст мне никогда не нравился. Губин его изготовил за одну ночь еще пятнадцать лет назад, когда только поженились. Здесь я на себя не похожа: глаза выпученные и волосы спутаны. Похоже, муженек лепил ее в большой спешке. Стоп! Я, кажется, догадалась, что он хотел мне сказать».

Лиза взяла запыленное изваяние и безжалостно с силой ударила об пол. Среди разлетевшихся гипсовых кусочков сверкнул вкрапленный в лобную часть блестящий камушек. Схватив со стола нож, Лиза торопливо освободила спрятанную мужем от посторонних глаз драгоценность. Включив настольную лампу, поднесла бриллиант к свету. И камушек, словно выражая радость от долгожданного обретения свободы, поприветствовал свою новую обладательницу ярким переливом ровно выточенных граней. Лиза, боясь расстаться с внезапно обретенной бесценной вещью, крепко зажала ее в кулаке: «Скрытный был Губин и часто говорил загадками. Теперь понятно, почему он так хранил эту бездарную, наспех сляпанную в наш медовый месяц скульптуру. Считал ее своим талисманом, утверждал, что пока она в нашем доме, нам не страшны никакие потрясения. А от ареста его этот бриллиант все равно не спас. Зато сохранит от бедности и нищеты меня. Надо срочно продать этот камушек. Вырученных денег мне хватит на долгие годы. Среди наших многочисленных знакомых я могу обратиться лишь к адвокату Корину. Мы с ним знакомы много лет, и сам Губин говорил о его надежности. Главное, у

адвоката имеются связи среди торгашей с деньгами. К тому же этот хлыщ давно положил на меня глаз. Облизывался, как кот на сметану. Да мне и все равно больше обратиться не к кому».

И Лиза, быстро одевшись, поспешила на улицу к телефону-автомату. Набрал знакомый номер, попросила Корина срочно приехать. Вернувшись домой, села на стул и замерла в тоскливом ожидании. Раздавшийся звонок в дверь известил о приходе Корина. Этот тридцатилетний модно одевающийся холостяк слыл покорителем женских сердец. Елизавета ему действительно давно нравилась, но он не предпринимал активных действий, боясь мести ее мужа из грозных карательных органов. И, поспешив по вызову к Губиным, из осторожности запретил себе даже думать о плотских наслаждениях.

Но, едва зайдя в опустевшую после обыска квартиру, опытный юрист сразу осознал всю опасность своего визита: «Эта красивая дура не нашла ничего лучше, как подставить меня под подозрение после ареста мужа. Когда заматают человека из их конторы, за ним, как правило, тянется обвинение в шпионаже. Неужели она думает, что будет открытый суд и я посмею выступить в качестве защитника в таком тухлому деле?!»

Корин буквально физически ощутил, как давнее страстное влечение сменяется раздражением и антипатией к этой глуповатой дамочке. Но Лиза сразу отмела его обвинения в наивности. Она говорила четко и по-деловому сухо:

— Губина сегодня ночью арестовали. Скорее всего, мне придется долгие годы жить без него. После обыска в доме случайно остался только этот бриллиант. Помогите мне его продать. У вас есть люди из торговли. Они умеют выгодно вкладывать деньги. Цены этому камушку я не знаю. Полагаюсь на ваше усмотрение и опыт. Вы, естественно, в доле, возьмите сами свой процент. Это надо сделать срочно. И я тут же уеду из Москвы от греха подальше к тетке в Таганрог.

В душе Корина поднялась буря сомнения: «Очень уж рискованно! Но на этом камушке я смогу сделать солидный гешефт. Никогда не прощу себе отказа от такой возможности».

Пересилившая жажда легкой наживы заставила забыть об опасности:

— Хорошо, я попробую. Если компетентные органы заинтересуются о цели моего визита сюда, скажите, что обратились за юридической помощью, но я вам категорически отказал. Здесь, в вашем доме, я больше не появлюсь. Придите ко мне домой через три дня. Адрес вы знаете. Давайте сюда свое сокровище. И не сомневайтесь. Раз уж сказали «а», надо говорить и «б». Назад хода уже нет.

Лиза, помедлив, заставила себя преодолеть недоверие и протянула бриллиант адвокату. Тот взял драгоценность, положил в нагрудный карман пиджака и направился к выходу. Уже стоя в дверях, оглянулся и окинул похотливым взглядом стройную фигуру попавшей в беду женщины: «Пожалуй, в случае удачной сделки я легко стану обладателем этого роскошного тела. Мне стоит по этому делу расстараться».

И, успокаивая хозяйку вновь, заверил:

— Я жду вас в моей холостяцкой берлоге. Думаю, вы останетесь довольны.

Лиза по-женски чутко поняла намек сластолюбца: «Ну и черт с ним. Лишь бы дело провернул удачно, ловелас хренов».

В этот момент она уже не думала об арестованном ночью муже и всецело была поглощена планами об устройстве своего будущего. Но ее ждали напрасные хлопоты. За ней чекисты пришли на следующий день: Никонов постарался убрать лишнего свидетеля, опасаясь, что Губин проболтался жене о запросе о нем в провинцию. Когда ее уводили из окончательно опустевшей квартиры, Елизавета обреченно сознавала, что вряд ли когда-нибудь сюда вернется. И до боли жалела уплывший в чужие руки бриллиант, способный обеспечить ей безбедную жизнь.

Предчувствие ее не обмануло. Губина расстреляли через неделю, официально объявив, что он осужден на десять лет без права переписки. Впрочем, сообщать об этом было некому: Елизавета умерла в лагере от голода в бедственном 1943 году.

Впрочем, к истории бриллианта «Подмигивающий призрак» это уже не имело никакого отношения. Его новый владелец Корин после визита к Елизавете провел беспокойную ночь. «Зачем я, дурак, ввязался в эту историю? Торгаши могут легко сдать меня в БХСС с этим камушком. На вопрос, где его взял, придется отвечать честно. А это связь со шпионом. Сам себя под вышку подвожу. Нет уж, увольте! Не ползу я в петлю. Через три дня скажу дамочке, что получил отказ: никто не хочет связываться со столь примечательным крупным бриллиантом. Верну камушек и, как говорится, адьё, мадам. Не обесудьте. И никаких альковных игр. Надо от этой особы держаться подальше. Целее буду».

Прошла неделя. Елизавета у него не появлялась, и обеспокоенный Корин, решив проверить свою страшную догадку, поехал к дому Губиных. Войдя во двор, заметил выходящую из подъезда пожилую интеллигентную женщину. На осторожный вопрос, где живут Губины, та, испуганно оглянувшись по сторонам, сообщила:

— Их нет. Сначала муж уехал в длительную командировку. А следом за ним и жена отправилась. Так что не ищите их. Бесплезно.



Поблагодарив за благородное предупреждение, Корин поспешно отправился к выходу из двора. Оглянувшись, натолкнулся на наполненный искренним сочувствием взгляд седой, много повидавшей в течение долгой жизни женщины.

Приехав домой, закрыл дверь и достал из кармана бриллиант. После некоторого раздумья вынул из буфета жестяную баночку с надписью «Монпансье». Вскрыв крышку, выгреб часть леденцов и положил на дно бриллиант. Затем засыпал банку до верха сладким прозрачными конфетами и положил коробку в буфет на прежнее место. Он не знал, как распорядится доставшейся ему задаром ценностью.

До начала страшной Великой Отечественной войны оставалось менее шести месяцев.

1 октября 1941 года Корина вызвали в Бауманский райком партии. Его принял один из секретарей. Глядя поверх головы Корина, осуждающе покрутил головой.

— Что же это вы, товарищ Корин, дискредитируете нашу партию? Не стыдно? Враг у ворот города. В районе формируется народное ополчение. Энтузиазм людей велик. Не успеваем записывать добровольцев.

— Так я же как секретарь первичной ячейки лично сагитировал семь человек.

— Вот то-то и оно! Анонимка пришла: дескать, Корин Петр Сергеевич зовет всех в окопы, а сам не спешит вступать в ряды рядовых ополченцев. Ты, Корин, учти, стараниями врагов шушок по городу вредный ползет: коммунисты только на словах патриоты, а сами за спинами других прячутся. Злонамеренно вспоминают Бывалова из кинофильма «Волга-Волга», который, засучив рукава, призывал помочь кочегарам, а сам в стороне остался. Так что давай, не отлынивай. Подобные слухи надо пресекать в корне. Пойдешь на фронт в числе первых. Возглавишь благородный порыв, так сказать.

— Хорошо, я, конечно, выполню приказ партии. Но у меня нет боевого опыта. Хорошо бы назначить кого-нибудь из воевавших в гражданскую. Да и со зрением у меня нелады.

— Мы же тебя не навсегда на строевую призываем! Отгоним немцев от города — и через месяц вернешься к мирной жизни. Все, иди, записывайся. Завтра с утра будь на месте сбора. Смотри не опаздывай, а то лишим партбилета и зачислим в дезертиры.

Корин вышел из кабинета, ощущая дрожь во всем теле. Он никак не рассчитывал на подобное развитие событий. Когда пришел приказ о формировании народного ополчения, активно включился в агитацию: среди адвокатов смельчаков, желающих жертвенно сгореть в огненной буре войны, было не-

много. Избалованные безбедной жизнью, не привыкшие к физическому труду, эти люди хорошо понимали, что их ждет. Но, сагитировав семь человек, Корин посчитал свой долг выполненным — и вдруг теперь этот вызов. Корин, направляясь домой за необходимыми на фронте вещами, всю дорогу гадал: «Какая же сволочь на меня жалобу накатала? Наверняка это Зудов. Его я не смог сагитировать. Вот он, опасаясь, что я сообщу о его нежелании идти на защиту Родины, и поспешил опередить меня, негодяй. Ну ладно, делать нечего. Может, и обойдется: отстоимся где-нибудь в обозе на запасном пути, как тот броненосец из бравурной песни. Не забыть только захватить побольше теплых вещей, миску и ложку».

И тут Корин вспомнил о хранящемся в доме бриллианте: «Куда мне девать этот камушек? Оставить его в квартире нельзя. По всей Москве грабят опустевшие квартиры эвакуированных. Значит, надо брать бриллиант с собой. Опасно, но оставлять драгоценность в опустевшей квартире — наверняка ее лишиться. А что если захватить бриллиант вместе с коробкой “Монпансье”? Скажу, что это мой неприкосновенный запас. Пусть камушек лежит на дне под слоем леденцов. Авось уцелеем оба: и я, и бриллиант. А в случае беды камушком можно будет откупиться. Жизнь-то дороже».

Внезапно Корину пришло в голову, что в случае гибели никто о нем не будет жалеть. И убежденный холостяк впервые пожалел, что не удосужился раньше, до начала войны, создать семью.

И перед тем как покинуть уютную квартиру, Корин положил на дно вещевого мешка вместе с миской и ложкой жестяную коробку «Монпансье» с пригитавшимся до поры до времени бриллиантом.

В бой их соединение попало через неделю. С выданной накануне винтовкой-трехлинейкой с примкнутым штыком, Корин, зажмурившись от страха, побежал вместе со всеми вперед, не видя противника. Внезапно споткнувшись, упал ничком на землю. Оглянувшись, увидел, что зацепился о тело бежавшего впереди молодого бойца. Еще не поняв, что случилось, окликнул:

— Эй, вставай!

Увидев, что солдат погиб, он ощутил ужас, заставивший вжаться в землю и замереть. Через несколько минут мимо него назад побежали уцелевшие в атаке бойцы. Один из них, с густыми усами, заметив испуганный взгляд лежащего на земле Корина, резко схватил его за шиворот и поволок в тыл. Свалившись в окоп, с силой шлепнул Корина по лбу:

— Очнись, малохольный! Уцелел — и ладно, пальни пару раз в воздух. С полной обоймой после боя можно загреметь под трибунал: скажут, струсил. Ладно, давай сюда винтарь.

Пару раз выстрелив в воздух, усач представился: — Теплов Иван Николаевич, слесарь с ЗИСа. Был на финской. Обстрелян, а потому слушай меня, если хочешь уцелеть. Чу, вроде бы танки пошли. наших здесь нет. Бежать надо: с винтарем против тяжелой техники не попрешь. Давай за мной!

И Корин, пригнув голову к земле, побежал вслед за Тепловым, стараясь не потерять из виду своего опытного товарища по несчастью. Было непонятно, чем руководствовался Теплов, петляя среди провалов траншей и окопов, мечущихся и бегущих в разные стороны людей. Наконец им удалось забегать в небольшой перелесок. Гул танков и взрывы снарядов остались где-то сзади. Корин затравленно оглянулся вокруг. Рядом с ними в кустах, тяжело переводя дыхание, сидели и лежали с десятков бойцов. Все угрюмо молчали, стараясь отдышаться после панического, разрывающего сердце и легкие бега. Постепенно гул танков, удаляясь, начал затихать. Укрывшиеся от смерти бойцы начали постепенно приходить в себя. Уловив оживленное шевеление, внезапно вывернулся из-за куста на середину поляны молодой человек с кубиками в петлицах и срывающимся на фальцет голосом скомандовал:

— Бойцы, слушай мою команду! Всем проверить и привести в боевое состояние оружие. Будем пробиваться к своим. Пойдем прямо сейчас.

Теплов нехотя поднялся и не по уставу с нарочитой медленной ленцой посоветовал:

— Темнеть начинает. Куда ночью идти? Нарвемся на немцев — и пиши пропало. Давай до утра здесь пересидим. Осмотримся, а потом видно будет, куда выдвигаться.

— Кто таков? Почему приказ старшего по званию оспариваешь? Под трибунал захотел?

Ополченцы, не желая покидать казавшийся им надежным укрытием лесок, недовольно зашумели:

— Он правильно говорит. Куда в темноте идти без разбору? Давайте здесь переждем. Утро вечера мудренее.

Поняв, что остается в меньшинстве, лейтенант для сохранения своего авторитета приказал:

— Прежде чем двигаться, проведем разведку. Вот ты и пойдешь, раз умный такой.

Теплов охотно согласился:

— Пойду, раз надо. Только в разведку в одиночку не ходят. Вот этого с собою возьму.

И он ткнул в сторону Корина. Лейтенант кивнул:

— Ладно, осмотритесь вокруг на триста метров в глубину. Вернетесь и доложите.

Корину тоже не хотелось покидать перелесок, но он, подчиняясь воле более опытного товарища, направился вслед за ним. Выйдя под открытое, быстро темнеющее небо, он вновь почувствовал себя сла-

бым, крошечным и уязвимым. Повинуясь инстинкту, Теплов, отойдя шагов на двадцать, резко взял вправо от места, где прошла вражеская колонна. Минут двадцать передвигались перебежками. Внезапно Теплов резко пригнул к земле Корина: впереди на открытом пространстве виднелись неясные очертания невысоких холмов. Внимательно взглядевшись, Теплов облегченно вздохнул и шепотом пояснил:

— Это не танки. На стога соломы на колхозном поле вышли. В одном из них и заночуем.

— А разве не будем возвращаться к своим?

— Нет, конечно. Лейтенантик со страху нас послал «туда, сам не знаю куда». С таким нервным командиром пропадем ни за грош. Да и не найдем мы дороги назад: порядочно в темноте попетляли. Давай перебежками по очереди вон к тому ближайшему стогу. Сначала ты, а я прикрою.

Сухо щелкнул затвор, и Теплов грубо подтолкнул Корина в спину. Не смея ослушаться, тот рванул вперед и, добежав до мягкой соломы, с размаху плюхнулся сбоку, разрушая кем-то из крестьян заботливо сформированный стог. Выждав несколько секунд, вслед за ним прибежал и Теплов. Настороженно осмотревшись по сторонам, Теплов облегченно вздохнул и положил винтовку на колени. И тут внезапно из соседнего стога их окликнули:

— Эй, братья-славяне, закурить не найдется? А то жрать нечего и выпить хочется. А кухню подлюгиничальники как всегда не догадались подвезти.

И тут же свою просьбу невидимый собеседник сопроводил длинным отборным матом.

«Это он доказывает, что свой парень, русский, опасаясь получить пулю от испуганных и рассеянных по окрестным полям ополченцев», — догадался Корин. А Теплов охотно откликнулся:

— Давай сюда, земляки. Вместе голодать легче.

— А чего бы вам к нам не присоединиться? Мы тут уже часа два загораем. Обустроились помаленьку. Так что это вы у нас в гостях. Подгребайте к нам.

После некоторого раздумья Теплов поднялся и, держа винтовку наготове, направился к соседнему стогу сена. Корин поспешил следом. Их встретили двое — высокий, широкий в плечах блондин и худощавый чернявый парень с бледным, нервно подергивающимся лицом. Великан великодушно махнул рукой:

— Заходите, не стесняйтесь. Гостями будете, а бутылку поставите — хозяевами станете.

— Если бы было что выпить, мы бы на ваш призыв и не откликнулись.

— Знамо дело. Похоже, земляк, не первый год службу ломаешь?

— В финской кампании зацепило меня, и комиссовали вчистую. Слесарем на ЗИСе тружусь. А этот



со мною — юрист, из адвокатов. Вместе мыкаемся с самого утра.

— По военным меркам целую вечность. Вот и мы с Семеном Угловым вместе от смерти драпали. Он учитель литературы в школе. А я на границе с Польшей служил. Три года назад демобилизовался. Предлагали на сверхурочную остаться, да невеста в Туле ждала. И с ней не сложилось, и из армии ушел. Водителем грузовика в автохозяйстве на жизнь зарабатывал. Зовут меня Полухин Сергей. Вот и познакомились. Мы тут нору в стоге вырыли для тепла. Залезайте.

Теплов внимательно посмотрел на приветливо улыбающегося великана и, окончательно проникшись доверием, расслабленно прилег на мягкую солому.

— Твое предложение поставить магарыч и стать хозяином в силе?

— А что, и вправду есть?

— Я в финскую только спиртом и спасался. Знал, на что иду. И сейчас захватил на всякий случай флягу. Она моя старая подруга, не раз на выручку приходила. Много не дам. Только пить придется без закуски под «курятину»: есть немного махры.

— Насчет закуси будь спок. Есть небольшой запас.

Полухин достал из вещмешка завернутый в тряпочку небольшой кусок сала и, раскрыв перочинный ножик, аккуратно отрезал четыре тонких кусочка. Затем вынул завернутые в газетную бумагу два печенья и, разломив пополам, возложил на них по кусочку сала.

Теплов одобрительно кивнул:

— Закуска знатная! Не каждый раз приходится спирт печеньем со шпиком заедать.

После выпитой стопки Корин сильно опьянел и, впад в добродушное состояние, даже хотел достать и угостить своих новых товарищей леденцами. Но боязнь случайно показать лежащий среди конфет бриллиант его остановила. Вскоре разморенные усталостью и выпитым спиртным ополченцы уснули.

Первым утром поднялся Полухин. Разбудив товарищей, разделил остаток печенья и сала. От выпивки предложил отказаться.

— Идти придется долго и скрытно. Силы понадобятся, а пьяным далеко не уйдешь. Да и спирт еще может понадобиться.

Все безоговорочно подчинились сильному, уверенному в себе и не унывающему человеку.

Передвигаясь вслед за бывшим пограничником, бойцы с трудом преодолевали глинистую, намоченную от дождей пашню и, стараясь восстановить прерывистое дыхание, отдыхали в мелких перелесках во время кратких остановок. Во время очередного

рывка заметили крыши деревянных изб и залегли среди могил деревенского кладбища. Осторожный Теплов предложил не торопиться и не соваться в село, не выяснив, есть ли там немцы. Иногда до них с разных сторон доносилась стрельба, и Полухин сделал вывод:

— Похоже, нет здесь сплошной линии фронта. Легко нарваться на немцев, но, с другой стороны, и к своим можем, если повезет, выйти. Только средь бела дня скакать нам по полям негоже. Когда светло, будем отсиживаться, а по ночам к своим двигаться. Перед уходом в село заглянем. Хоть картошкой разживемся.

Теплов, привалившись для отдыха спиной к невысокой оградке, объявил:

— Еще хочу предупредить. Если удастся к своим выйти, о нашем походе говорите просто и кратко: шли и шли, пока к своим не попали. В финскую особисты все нервы подозрениями изматывали, если какое подразделение неизвестно где в снежной метели плутало. А то, что днем надо отдыхать, Полухин прав. Немцы — нация аккуратная: ночами спать предпочитают. Да и торопиться им некуда.

Все устало промолчали. Хотелось есть и пить. Внезапно Корин кивнул в сторону окружающих их могил и с неприкрытой завистью произнес:

— Эти под землей хорошо устроились, а нам здесь приходится мучиться.

Теплов внимательно взглянул на юриста: «А ведь этот молодой мужик не шутит, всерьез глупость брякнул. Туда всегда успеем. Надо поднять хлопцам настроение».

Достав из рюкзака флягу с остатками спирта, предложил:

— До темноты еще часа три загорать будем. Давайте добьем остатки. И поспим немного перед ночным марш-броском.

Полухин кивнул:

— Мысль здравая. Спирт — он та же глюкоза. Мне знакомая медсестра это часто разъясняла в часы сладостных свиданий. Жаль, закусить нечем.

И тут, повинувшись неожиданному порыву, Корин вытащил из вещмешка заветную коробку с надписью «Монпансье».

— Берег на крайний случай. Похоже, он наступил. Каждому по три леденца. Остальное будет НЗ.

— Вот это, земляк, угодил. Не так ты прост, как я погляжу.

Все трое смотрели заворуженно, как Корин с величайшей аккуратностью снял крышку и выдал каждому по три овальных полупрозрачных леденца.

Бывалый Теплов предложил:

— Этот вариант мне знаком. Кладешь сладости на язык и цедишь через них понемногу. Главное, не

проглотить нечаянно целиком конфетину. После того как спирт закончится, еще долго сладкой слюной себя баловать можно.

Все так и сделали. Прикрыв глаза, школьный учитель Углов с тоской подумал: «Это надо же, еще четыре месяца назад я собирался ехать в отпуск на юг. А теперь какие-то жалкие три леденца кажутся мне небывало вкусными. Я в прошлое время их и за еду бы не посчитал. Как странно: вокруг знакомое небо, деревья и поля. Но до чего же все кругом изменилось! И эта жестяная коробка с леденцами до боли напоминает домашний уют мирной жизни. Как же мы, дураки, ее не ценили! А сейчас я готов отдать все, лишь бы свершилось чудо: исчезли осенняя хмарь и это мрачное сельское кладбище, мы все разом оказались в том навсегда ушедшем времени. А как там было хорошо: дети, уроки, расписание, трель звонка на перемену. И мечта стать великим писателем. А что? Ведь мои заметки внештатного корреспондента в молодежной газете пользовались успехом у читателей и вызывали одобрение редактора. Конечно, эти лихие дни бегства от немцев дают мне нужные впечатления как будущему писателю. Если удастся выжить, то непременно опишу, как на старом деревенском кладбище мы пили спирт и заедали леденцами. Хотя о чем тут писать, когда, вместо того чтобы проявлять героизм, подобно дрожащим зайцам петляем по собственной земле рядом со столицей? Нет, похоже, Льва Толстого из меня не получится».

Горестные размышления Углова прервал внезапно возникший и все возрастающий рев моторов. К избам подкатили с десятков мотоциклов, и немецкие солдаты пошли обшаривать дворы и избы. Высокого роста офицер отдал похожую на прерывистый лай простуженной собаки команду, и шестеро солдат направились в сторону кладбища.

«Вылавливают окруженцев, сволочи. Похоже, мы крепко вляпались. Хорошо, если не убьют сразу, а возьмут в плен», — обреченно подумал Углов, а Корин суетливо нащупал в вещмешке круглую твердь коробки, где лежал бриллиант. Почему-то в его голову пришла глупая мысль выкупить свою жизнь в обмен на драгоценность: «О чем я, дурень, думаю! Они и так возьмут себе камушек без моего предложения. Так что же делать?»

И в этот момент Теплов принял за всех решение:

— Вот что, хлопцы, от вас, необстрелянных, толку мало. Берите ноги в руки — и бегом вон в ту сторону,

к виднеющемуся невдалеке лесочку. А мы попробуем охладить слегка пыл фрицев. Ты, Полухин, прикрой меня. Отступать будем по очереди, перебежками. Я начну. Ну что стоите? Бегом марш!

И уже, не обращая внимания на спутников, принялся деловито прилаживать винтовку, положив ствол на поперечную перекладину ограды. Плавню спустив курок, увидел, как один из вражеских солдат упал, и, удовлетворенно присвистнув, рванулся бежать в сторону, противоположную той, куда направились Углов и Корин. И тут же сбоку раздался выстрел прикрывавшего его Полухина. Со стороны немцев раздался болезненный вскрик. «Молодец, Карацупа. Неплохо их учили держать границу на замке. Может, с таким помощником и выпутаемся».

И, заняв новую удобную позицию, приготовился вновь выстрелить. Мимо, пригнувшись и петляя, пробежал Полухин. В воздухе над его головой просвистели пули. Бывший пограничник бросился на живот и проворно пополз. Затем, преодолев желание убраться от опасности подальше, остановился и, развернувшись, приготовился прикрывать своего товарища. Его так учили на границе, и он хорошо усвоил, что Родину надо защищать даже на небольшом участке возле малоприметного деревенского кладбища.

Метко стреляющие опытные воины сумели отвлечь внимание немцев. И Углов с Кориним успели добежать до опушки виднеющейся невдалеке небольшой рощи. И все же пущенная им вслед автоматная очередь настигла Корина. Пуля пробила спину и вышла через грудь, бросив бывшего юриста вперед. Почувствовавший толчок в спину от падающего тела, Углов обернулся и увидел лежащего лицом вверх однополчанина. Расплывшееся кровавое пятно, бледное лицо и плотно закрытые глаза не оставили у Углова сомнений: «Погиб юрист. Стрельба пограничника и Теплова удаляется все дальше. Надо мне выбираться самостоятельно».

Схватив вещмешок товарища, Углов высыпал содержимое на траву и, схватив единственно ценную в данной ситуации вещь — коробку леденцов, бросился сквозь кусты, стремясь удалиться как можно дальше от места, где принял смерть молодой человек, почти его ровесник. Взяв для утоления голода леденцы, Углов не подозревал, что стал обладателем драгоценного бриллианта.

Продолжение следует.

Владимир ЯКУШЕВ



День добрый и, надеюсь, бодрый! Давно являюсь почитателем Вашего замечательного издания. Сам я давно дружу с юмором, печатался и печатаюсь. Хочу предложить свои работы. Буду рад, если пригласят.

Мне пятьдесят шесть. За плечами Челябинский институт культуры (режиссура). Служба в армии. Был замредактора газеты «ЛЮКС» (любителям юмора, карикатуры и сатиры). Сотрудничаю со многими известными юмористическими и не только изданиями — «Аргументы недели», «Литературная газета», «Вокруг смеха», «Колесо смеха», «Чаян», «Нескучная газета», «Флирт» и др. Два моих сценария были экранизированы «Фитилем» и показаны по телеканалу «Россия».

АЛЬТЕРНАТИВА

Обычная квартира. В кресле перед телевизором, где демонстрируются известные эпизоды рукопашной схватки теледебатчиков Жириновского и Савельева, сидит мужчина лет пятидесяти в майке с надписью «ЛДПР» и ромбиком «Спартак».

— Дай ему! Врежь ему, Вольфович, так, чтобы знал наших!

В комнату входит дочь, убавляет звук телевизора и закрывает бюстом экран.

— Папуля, а я, между прочим, выхожу замуж!

Предок на минуту задумывается:

— Как времечко бежит: с этими суматошными перестройками и переделками и не заметил, как этот невзрачный еще вчера утенок превратился в красивую лебедь. Рано или поздно это должно было случиться. Образование получила, специальность престижную приобрела, приданое какое-никакое имеется, пора, как говорится, и гнездышко вить. Кто они?

— Почему они? Он! — протягивает дочь фотографию.

— И сколько ж вы знакомы?

— Полгода! Но кажется, будто всю вечность!

— Век скоростей!..

Отец вместе с фото отправляется в сортир, где накладывает строгое отцовское вето, и, вернувшись в любимое кресло, возвращает фото дочери:

— Согласия дать не могу, так как не вижу альтернативы. Выборы будут признаны недействительными!

Дочь округляет удивленно глаза:

— Чего не видишь?

— Аль-тер-на-ти-вы!

Дочь крутит указательным пальцем у виска:

— Вы что, все помешались?! Кругом только выбирают да переизбирают. Когда делом начнем заниматься? Не страна, а сплошной тотализатор! Совсем умом двинулись: уже ставки ставят на кандидатов в депутаты, как на лошадей. Я его люблю, понимаешь. Лю-блю!

Отец спокойно:

— Это не аргумент. Чувства, о которых ты упомянула, доченька, приходят и уходят, а последствия остаются, кому?.. Правильно, нам — родителям. Хватит нам ошибок твоей старшей сестры — двоих вон в по доле принесла. И обоих от разных кобелей, один похож на Киркорова, другой на Задорнова!

Дочь закусывает нижнюю губу, вскрикивая от отчаяния:

— Когда мама за тебя выходила...

Отец прерывает:

— Когда твоя мама за меня выходила, мы, между прочим, были знакомы не полгода, как вы, а пять лет. И у меня было два достойных конкурента: один кандидат наук, педагог по филологии, которого я дружелюбно

прозвал «педа-филом», а другой — кандидат в мастера спорта по боксу, с утра до вечера околачивал груши в спортзале, о чем можно судить по моему кривому носу. В мою пользу решил голос теши, то есть твоей бабушки, которой, говоря современным языком, мой бизнес-план будущего ее дочери среди прочих оказался более по душе, и я получил кредит доверия.

Дочь чуть не плача:

— Что же мне теперь делать?

Отец гладит ее по голове, успокаивая:

— Найти еще хотя бы одну достойную кандидатуру. Ты у меня видная, красивая! В здоровой конкуренции, в соперничестве претендентов на обладание руки избранницы рождается не только крепкая семья, но и желанные дети. А это, поверь мне, доченька, главное в жизни. У каждого из твоих избранников должна быть твердая финансово-моральная платформа, программа, из которой можно определить их деловые, политические и чисто человеческие качества. Хотелось бы видеть, кроме всего прочего, какое место в ней отводится мне, матери и бабушке. А уж потом на семейном совете открытым голосованием мы решим, кому из них отдать предпочтение. — Поднимает указательный палец кверху, по-философски: — Один жених хорошо, а два лучше!

г. Курган



Галка ГАЛКИНА



Я пришел работать на наш Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) в мае 1985 года и с тех пор своему заводу не изменяю... Сам станок — это как бы тело, а автоматчик — его душа, психика. Вокруг станков приходилось очень много кружиться, наклоняться. И так «шустрить» приходилось не только у станков. Я работал на «ляжке»... Работать приходилось всем. И головой, и руками, и глазами, и ногами...

*Александр Лежнин,
Ульяновская область, город Димитровград*

Галка ГАЛКИНА:

Александр, целиком и полностью доверяем Вашему рабочему чутью. Жалко, что Вы остановились на «ляжке» и не пошли дальше.

Потому как завод — не только производство, но и коллектив, а коллектив — это живые люди, юноши и девушки, молодежь, которая волей-неволей вынуждена вступать не только в производственные отношения. И тут все навыки работы на станке — ой как могут пригодиться. Недаром Вы, описывая работу на станке, говорите так, как будто бы бегаете вокруг какой-нибудь крутобедрой кладовщицы! Эх, даже дух захватывает, как подумаешь, до чего у нас бывают крутобедрыми кладовщицы и разные укладчицы! И потом эта вот — «ляжка»!

Вот в советские времена в литературе существовал такой жанр — «производственный роман». Не пора ли, не отказываясь от достижений советского прошлого, скрестить, так сказать, коня и трепетную лань? То есть производство и высокую эротику?

А что?

Глядишь, производительность труда, да и не только труда, пошла бы вверх. Тут, конечно, важно не переборщить. Не перепутать, как говорится, божий дар с яичницей. Но попробовать можно и нужно. Ведь в интимных отношениях, как и в производстве, важен не только конечный результат, но и сам процесс!



ФАЗА МЕСЯЦА:

**Хочу
об пол макартни!**



Хорошо-с!

- ☺ *Хорошо, что нет чумы!*
- ☺ *Хорошо, что нет тюрьмы!*
- ☺ *Хорошо, что нет Костромы!*
- ☺ *Когда хорошо, тогда неплохо!*
- ☺ *Хорошеет Москва, строится!*
- ☺ *Прихорошились пятиэтажки перед сносом!*
- ☺ *Хорошо жить, когда есть что пить!*
- ☺ *Хорошо на Хорошевском шоссе сосать сушку!*
- ☺ *Хорошо быть Пушкиным, но лучше Дантесом и остаться в живых!*
- ☺ *Хорошо быть президентом и скучать над документом!*
- ☺ *Хорошо сидеть в Кремле и летать на помеле!*
- ☺ *Хорошо сидеть на стуле, как Толстой навстречу Туле!*

Навстречу выбору!

- ☼ *Выбор у нас один — и тот же!*
- ☼ *Выбирай всегда с умом самый лучший гастроном!*
- ☼ *Подбери себе айфон, будет женщин миллион!*
- ☼ *Покажи жене айпэд, будет завтрак и обед!*
- ☼ *Покажи гостям андроид, и они тебя урюжат!*
- ☼ *Выбирай, не выбирай, попадаешь вечно в рай!*
- ☼ *Голосуй не голосуй — или все же голосуй?*
- ☼ *Голосуй не голосуй, а получишь колбасуй!*
- ☼ *Голосуй не голосуй, в урну суй и в колбу суй!*
- ☼ *Кто на выборы не ходит, тот бумагу переводит!*



© Фото Игоря МИХАЙЛОВА

**SMS'ка, отправленная КПРФ:
Чмоки-чмоки!!!**



ГАЗФЛОТ + «ЮНОСТЬ» = ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РОМАН!

ДИВЕРТИСМЕНТ

Помните, в свое время сияла картина Гелия Коржева-Чувелева «Поднимающий знамя»? Советский импрессионизм отдавал дань пролетарскому интернационализму.



Пролетариат! Куда он делся? А ведь был, кажется, еще вчера. Объединялся с пролетариями других стран, смотрел обветренным и белозубым лицом с обложки «Огонька», собирал урожай зерновых, спускался в шахту. И вдруг исчез!

Исчез не исчез, а одна наша знакомая вдруг заметила, что ее странно волнует мускулистый асфальтоукладчик, который словно сошел с плаката пятидесятилетней давности. Поэтому все же нельзя не признать могучую волю, физическую красоту и эмоциональный накал, когда речь заходит о Первомае, труде, а особенно о демонстрациях! Да и, по большому счету, когда люди собираются вместе, поют бодрые песни и шагают дружно в ряд, в этом ничего плохого нет. Весна, солнышко, улыбки! Колонны демонстрантов выходят на Красную площадь, бодрые и слащавые до щекотки голоса отовсюду — дикторы кричат благим матом речовки: «Мир, труд, май, ура, товарищи!»

Все же лучше, положи руку на сердце, когда человек человеку друг, товарищ и брат, нежели «Россия для русских» или какой-нибудь очередной шабаш «Наших» или «Ненаших».

В то светлое время, когда герой картины Гелия Коржева-Чувелева поднимал знамя, с ненавистью глядя на буржуев, а еще одни шедевр монументализма — скульптура «Рабочий и колхозница» — возвышался над северным входом ВДНХ, на экранах, в песнях и романах бал правил человек трудящийся. «Герой на-

шего времени», Женя Столетов, выполнял пятилетку в четыре года, боролся с «гасиловщиной», строил БАМ, покорял Енисей. Даже мышонки из мультика «Песенка мышонка» обретал статус положительного персонажа, когда гитара менял на мастерок:

Какой чудесный день!
Какой чудесный пень!
Какой чудесный я
И песенка моя!

Какой чудесный день! Ха-ха!
Работать мне не лень! Ха-ха!
Со мной мои друзья
И песенка моя!

Эстафету у советского мышонка перенимала и трудящаяся интеллигенция. В фильме «Девять дней одного года» пафос труда, на сей раз интеллигента, который к тому времени окончательно и бесповоротно перековался в ячейку общества, физиков и лириков с идеалами Ленина и коммунизма («Июльский дождь») настолько всемогуч и всеобъемлющ, что безвозвратно выплескивает похотливого старикашку Фрейда и его эротику из ванной.

Помянем физика-атомщика Гусева, который возглавляет научные изыскания, начатые его учителем Синцовым. Синцов в результате эксперимента получил смертельную дозу радиации. Облучен и Гусев. После ряда неудач Гусев обращается за помощью к Куликову, талантливому теоретику, другу, и эксперимент заканчивается успешно. Гусева играет блистательный Алексей Баталов, а Куликова — не менее блистательный Смоктуновский. И все бы ничего, но Гусев — молодой, он совсем недавно женился на красавице Леле (Татьяна Лаврова). И что же? Гусев совсем не обращает внимания на красавицу жену, всецело погруженный в работу. Мало того, Куликов, который должен ненавидеть Гусева за то, что тот увел у него девушку, Лелю, несмотря на это, помогает другу. И, прыгая от счастья, бежит по коридору вместе с Лелей в лабораторию, где Гусев расщепляет атом!



А это вам не какие-нибудь 20–30-е с их пафосной и монументальной героикой труда (именно тогда и была создана гениальная скульптура «Рабочий и колхозница»), а вполне оттепельные 60-е, когда во имя своей правоты не надо больше отправлять на тот свет тех, кто не прав.

Об этом остается теперь только вспоминать, с ностальгической грустью слушая песни «Не кочегары мы, не плотники», «Когда весна придет — не знаю», «Спят курганы темные»:

Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу жаркую,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой...

Причем, что самое любопытное, весь пафос труда, как дела хорошего и благородного, возник при социализме. До революции все было совсем не так. Вот, к примеру, слова известной песни «Дума ткача» Синегуба:

Мучит, терзает головушку бедную
Грохот машинных колес;
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез...

...Есть на плафонах станции метро «Маяковская» мозаичное панно Александра Дейнеки «Девушка с веслом». Так же высока и несбыточна теперь та эпоха, на смену которой нынче пришли «проклятые буржуины». И покуда эта новая культура (art nouveau) оформляется, самовыражается и заявляет о себе в разных жанрах, мы будем, оглянувшись назад, любоваться «Девушкой с веслом». Советской Венерой, незабвенный образ которой нам «строить и жить помогает»!

Ну так вот! Оказывается, человек труда никуда не исчез. Творческий коллектив журнала «Юность» в этом смог убедиться воочию, побывав с концертом на дружеской встрече в компании «Газфлот».

Газфлот создан в 1994 году для того, чтобы проводить геологоразведочные работы и осваивать газовые и нефтяные месторождения на континентальном шельфе Российской Федерации.

В этой компании — сплоченный трудовой коллектив, настоящие мужики, закалка характера которых прошла в условиях крайнего Севера, словом, в тех местах, где слабаки не работают.

«Наша компания, обладая собственным постоянно пополняющимся флотом, состоящим из специальных буровых установок и судов обеспечения, выполняет весь комплекс работ по геологоразведке и обустройству газовых и нефтяных месторождений на шельфе Российской Федерации», — отмечает заместитель начальника управления по работе с персоналом ООО «Газфлот» Виктор Гончаров.

Газфлотовцы гостеприимно распахнули свои двери творческому коллективу «Юности»!

На встрече звучала музыка!

Романс на стихи Игоря Северянина из знаменитого кинофильма «Бег» неподражимо исполнил народный артист России Валерий Золотухин. Недавно возглавивший театр на Таганке Валерий Сергеевич рассказал о положении дел в труппе, а также о дружбе с Владимиром Высоцким.

Долго не мог сойти со сцены композитор, заслуженный артист России Анатолий Шамардин.

О связях писателей с читателями поведал внимательной публике критик, литературовед, профессор, член редакционного совета «Юности» Лев Аннинский.

Прекрасно читала стихи студентка Литинститута и подающий надежды поэт Юлия Гиацинтова. А молодой и яркий прозаик Елизавета Трусевич рассказала о своей новой повести «Роман», опубликованной в № 7–8 «Юности». А еще блистали поэт, ответственный секретарь журнала «Юность» Ярослав Литвиненко, прозаик, заместитель главного редактора «Юности» Игорь Михайлов, мастер женского романа, директор по развитию журнала «Юность» Светлана Шипицина. В непривычной для себя роли конференсье выступал поэт и главный редактор журнала Валерий Дударев.

Словом, встреча удалась! На посюшок главные организаторы торжественно мероприятия заместитель начальника управления по работе с персоналом ООО «Газфлот» Виктор Гончаров и председатель профсоюзной организации ООО «Газфлот» Сергей Ситник напоили команду «Юности» крепким чаем.

Сотрудничество с Газфлотом, хочется верить, продолжится. И глядишь, через некоторое время на страницах нашего журнала появятся повести и романы, героями которых будут люди труда, газфлотовцы. По нашему мнению, время таких романов пришло!

